

83.3(2P)
3 - 80

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

И.Л.ЗОЛОТАРЕВ

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТУРГЕНЕВА
В ПЕРЕВОДАХ МЕРИМЕ**

г.Орел
2002

УДК 821.161.1(091)-4 Тургенев И.С.

ББК Ш5(2Рос) 5-4 Тургенев И.С.

3-802

Хрошевскому
Музыкальному отделу
Орловской библиотеки им. Бунина
июнь 2012
Иван

Рецензенты: Узилевский Г.Я. - доктор филологических наук, профессор.

Белик Н.В. - кандидат филологических наук, доцент.

Золотарев И.Л. - кандидат филологических наук. Произведения Тургенева в переводах Мериме: Учебно-методическое пособие. - Орел, ОГУ, 2002. - 268с.

В учебно-методическом пособии Золотарева И.Л. рассматривается творчество позднего Тургенева, в основном фантастические произведения, переведенные Мериме на французский язык. Основы теории перевода изучаются на базе переводов тургеневских оригиналов. Практические занятия приобщают к работе с подстрочником, дают возможность устанавливать уровень адекватности переводов, их эстетическую, концептуальную ценность. Спецкурс занимает определенное место в системе дисциплин по подготовке специалистов в условиях современной литературной коммуникации, развивает патриотические чувства.

Работа интересна студентам, школьникам, преподавателям вузов, гимназий, лицеев и школ, широкому кругу любителей литературы.

© Орловский государственный
университет, 2002г.

© Золотарев И.Л., 2002г.

ISBN 5-89991-00602

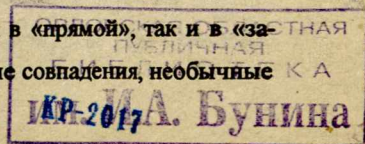
ВВЕДЕНИЕ

В литературе пореформенной России XIX века, после крушения просветительских надежд и кризиса просветительства, пробуждается интерес к фантастике как романтически усиленному средству познания действительности, поскольку разум и наука не смогли объяснить резко усложнившееся социальное и личное бытие, возросшую противоречивость человеческой личности. В это время определяется поиск сознательного и бессознательного в человеке, механизм давления на него эмпирической реальности и неведомых сил. Эстетическое освоение представлений и сверхэмпирического детерминизма, наличие неуправляемых таинственных явлений, сказывающихся на событиях и человеческих судьбах, обращали писателей к фантастике. Бессознательное, исследуемое средствами фантастики, давало возможность проникнуть в глубины человеческой психики, связать представления о ней с новейшими научными достижениями.

Именно с помощью фантастики, романтизируя свой художественный метод, писатели-реалисты нацеливают его на познание все более усложняющейся психики человека, расширяют и углубляют спектр реалистической изобразительности. Ими широко используются как давние традиции, идущие еще от античности, так и более современные достижения, принадлежащие романтикам различных литературных школ и направлений. Если просветители прошли мимо загадочного в жизни и природе человека, то романтики, напротив, видели мир таинственным, ирреальным, верили в предчувствия и предназначения. Они же впервые и обратились к отражению иррациональных проявлений психики человека.

Русская фантастика имела свои особенности: былинно-сказочный колорит, мифологический персонаж, народно-поэтическую идеальную картину и другое. И.С.Тургенев использует фантастику как в «прямой», так и в «завуалированной» форме: предзнаменования, странные совпадения, необычные

А 269019



события, источник которых до конца не раскрываем. В этом смысле Тургенев, по мнению исследователя Р.Н.Поддубной, стоит ближе к «поэтической правде» Ф.М.Достоевского, находившего наиболее полное отображение реалистического в фантастике «Пиковой дамы» А.С.Пушкина, где фантастика растворена в самой действительности.

Именно фантастическое и становится объективом внимания Тургенева и Мериме, особенно позднего периода их творчества, в переводах Мериме так называемых тургеневских «таинственных повестей». В литературоведении и поныне периодически вспыхивает интерес к содержанию и творческому методу «таинственных повестей» русского писателя («Призраки», «Собака», «Сны», «Клара Милич (После смерти)», фантастических произведений французского новеллиста («Видение Карла XI», «Венера Ильльская», «Джуман», «Локис»), а также занимающей особое место «Голубой комнаты» Мериме.

Особо следует сказать и о «Странной истории» Тургенева, которую некоторые ученые не включают в число фантастических. Однако вместе с такими «таинственными повестями» (кроме «Жида (Еврея)» и «Петушков»), как «Призраки» и «Собака», Мериме перевел и ее.

Итак, Мериме обращается к следующим произведениям русского писателя: повесть «Призраки», рассказ «Собака», повесть «Странная история», рассказ «Жид (Еврей)», повесть «Петушков». С помощью фантастики оба писателя выявляют соотношение сознания и подсознания, неизведанные тайны реальной жизни. Уже тогда, в 60-70 годы XIX, внимание философов, представителей естественных наук привлекают непознанные стороны бытия. Тогда и появляются сторонники спиритизма и месмеризма. Например, зоолог А.Уоллес, химик В.Крук проводят спиритические опыты, гипнотические сеансы. В России спиритизмом увлекается зоолог Н.П.Вагнер, химик А.М.Бутлеров и другие.

Внимание Тургенева к «таинственному» было постоянно на протяжении почти всех сознательных творческих лет. «Таинственное» в тургеневских

повестях выступает как несомненная реальность. Однако таинственные силы в фантастических произведениях писателя (например, «Призраки», «Сон», «Клара Милич (После смерти)»), не подлежащие опытному познанию и определению с помощью разума, требуют совершенно иных подходов, в том числе и самых невероятных, с точки зрения здравого смысла.

Изображая подсознание человека, Мериме вместе с Тургеневым принимает существование «таинственных» сил. Оба писателя проникают в таинственные глубины психики, используя идейно-художественные достижения романтизма и, прежде всего, фантастику. Мериме, воспитанный на принципах французской материалистической философии, выступает, как и Тургенев, противником спиритизма и месмеризма. Поскольку рациональное и эмпирическое сознание не может овладеть тайнами Неведомого, писатели для его выражения и обращаются к фантастике, используя усиленные романтические средства изображения. Тургенев и Мериме, безусловно, воспринимают художественный детерминизм в сфере переживаний и действий героев, в то же время учитывая существование иррационального. Однако если Тургенев признает объективность Неведомого в человеке и в природе, то Мериме находит его лишь в сфере подсознания.

Стихия романтического, выраженная фантастикой, пронизывая «таинственные повести» Тургенева и фантастические новеллы Мериме, придает их образность ту самую двуплановость, которая выражается в сочетании последовательного детерминизма в отображении состояний и действий героев с утверждением их чуткости у иррациональным силам, проявляющимся свободно. Романтическое начало у Тургенева характеризуется интересом к «темным», мятежным стихиям страсти, существующим в качестве «таинственного» объективно. А, в представлении Мериме, иррациональное начало заключено только в самом человеке - в его страстях, бессознательной психике. В то же время изображение «таинственного» у него сочетается с реалиями бытия, с учетом новейших естественно-научных достижений.

Историзм художественного мышления писателей проявляется не только в умении исследовать человека в его связях со средой, но и, главным образом, в глубоком постижении объективной диалектики истории, отраженной в судьбах людей. Реализм у писателей своеобразный, характеризуемый романтическим типом творчества. В «таинственных повестях» Тургенева и фантастических новеллах Мериме проявляется именно такой тип творчества.

Своеобразие романтического начала видится учеными в преобладании субъективного пафоса, который связан с отвлеченным пониманием исторического процесса, с заострением общечеловеческого содержания в личности героя, с пониманием внутреннего мира человека как индивидуальности, располагающей полной духовной свободой.

В.Г.Белинский считает, что романтизм напрасно полагали в форме, а не в содержании, «сущность романтизма заключается в его идее». Романтизм для Белинского - «это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и созерцаний, мир небесных идеалов. Почва романтизма не история, не жизнь действительная, не природа и не внешний мир, а таинственная лаборатория груди, где незримо начинаются (...) вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинстве любви, блаженства и страдания».

Романтики проявляют обостренное внимание к внутреннему миру человека. По мнению Гегеля, «подлинным содержанием романтизма служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой - духовная субъективность как постижение своей самостоятельности и свободы». Интерес к духовному миру личности сочетается с освобождением ее от социально-исторических связей, абсолютизацией ее внутренней свободы. Исследование соотношенности реалистического и романтического в литературе обращает к такому высказыванию Белинского: «Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отно-

шения к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей полноте и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела - на идеальную и реальную. Разделяя поэзию на «идеальную» и «реальную», Белинский говорит о двух типа творчества, которые находятся в ином эстетическом ряду, чем романтизм и реализм как творческие методы, сложившиеся конкретно исторически. Исследователь Л.И.Тимофеев развивает мысль великого критика о «воспроизводящем» и «пересоздающем» началах об их неразрывных связях и бесконечно разнообразных соотношениях в историко-литературном процессе. «В принципе всякое воссоздание действительности в произведениях искусства несет и ее пересоздание. И, наоборот, всякое пересоздание связано с тем или иным воспроизведением действительности, без которого не может быть осуществлено образное отражение действительности». Другими словами, Тимофеев утверждает единство объективного и субъективного содержания в искусстве, изобразительной и преобразовательной функции художественного творчества.

Субъективный момент в художественном отражении действительности понимается как «романтический» тип творчества, а объективное воспроизведение жизни трактуется как тип творчества «реалистический». Тимофеев утверждает, что всякое «пересоздание» действительности, связанное с субъективностью писателя, носит романтический характер, а «воссоздание» связано с реалистическим типом творчества. Поскольку любой тип художественного мышления представляет диалектическое единство «воссоздающего» и «пересоздающего» начал с преобладанием в романтическом искусстве - объективного, а в романтическом - субъективного, то всякое художественное произведение является своеобразным синтезом реалистических и романтических тенденций. Не случайно Горький, выступая как критик, замечает, что в творчестве каждого крупного художника переплетаются между собой, создавая единый сплав, романтические и реалистические элементы. В работе «О том, как я учился писать» им сказано: «В крупных художниках реализм и

романтизм всегда как будто соединены». Говоря об «идеальной» и «реальной» поэзии, Белинский утверждает, что, по мере развития, они все «чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два, до тех пор, пока в наше время не составили одного целого».

Многие ученые пытались определить художественный метод фантастических произведений Тургенева и Мериме. Так, А.Б.Муратов подчеркивает сложность творческого метода Тургенева: «Здесь и вступает в свои права тот лиризм, та поэтика непосредственно-эмоционального, которую можно назвать романтической». Г.Б.Курляндская видит в реалистическом методе «таинственных повестей» романтические тенденции, помогающие изобразить «темные», мятежные иррациональные силы в природе и человеке. По ее мнению, связь Тургенева-реалиста с романтическим искусством сказалась в интересе к иррациональным силам, которые представлялись ему роковыми. И.В. Карташова в статье «Гоголь и романтизм» пишет: «Возникает конфликт идеала и действительности, который начинает вырисовываться для романтиков в своих социальных структурах. В этих условиях романтическая личность, некогда воспринимавшая мир, открытая ему, ощущает себя безгранично трагически одинокой».

Такие исследователи, как Ю.Виппер, В.Дынник, С.Д.Артамонов, подтверждают интерес Мериме к романтизму. Эти ученые определяют художественный метод фантастических новелл французского писателя как реалистический, отмечая в то же время романтический тип творчества в его некоторых произведениях. Такую же позицию занимают и французские исследователи Феликс Шамбон, Ив Бонфуа. Однако Ю.Данилин и Л.Б.Гедемин полагают, что на французские новеллы Мериме сильно повлиял декаданс, поскольку в героях проявляется порочная натура, исключаются духовные ценности. Наоборот, французский критик Л.Пти-де-Жюльвилль в «Истории французской литературы в XIX веке» пишет о Мериме следующее: «Его воображение похоже на воображение реалиста, ничего не сочиняющего, ничего

не прибавляющего к природе, но сохраняющего от виденных им предметов точный и живой образ».

Также Цветан Тодоров в монографии «Литература во Франции в 1968г.» приходит к мысли о реалистическом характере фантастики Мериме. На наш взгляд, «сверхъестественные элементы» в «Венере Илльской», то есть фантастика, свидетельствуют о наличии сильной романтической тенденции в реализме новеллы, связанной с романтическим типом мышления. В статье «И.С.Тургенев и Проспер Мериме» М.К.Клеман усматривает в творчестве обоих писателей преобладание традиционно реалистического принципа воспроизведения жизни.

Проблема соотносительности реалистического и романтического начал у Тургенева и Мериме до сих пор вызывает многочисленные споры. Несмотря на некоторые расхождения, исследователи сходятся в главном: «Романтическая субъективность реалистических произведений порождается, прежде всего, идейно-эстетической позицией писателя и предметом изображения, то есть резко выраженным интересом к иррациональной сфере жизни, определенным решением эстетического идеала» (Г.Б.Курляндская).

В монографии «И.С.Тургенев и романтизм» П.И.Гражис выделяет мысль о том, что реалисты создают «образные представления» по законам самой жизни, а романтики - по законам идейно-эмоционального мира субъекта. Исследователь Ю.Г.Нигматуллина глубоко и своеобразно объясняет романтические тенденции в реалистических произведениях XIX- начала XX века. По ее мнению, структурные элементы эстетического идеала - «антропологического», «социального», «просветительского» обусловлены как самим содержанием, так и формой их выражения. В антропологическом эстетическом идеале проявляется стремление отыскать объективные критерии прекрасного в природе человека, выражающие своеобразное отчуждение социальной, общественной сущности человека от его «натуры», в связи с чем и порождается романтическое начало в реалистическом искусстве.

Поиск прекрасного в мире «вечной» природы, в натуре человека вынуждают художника вырваться за пределы быта, освободиться от плена конкретного исторического времени, придать идеалу универсальный общечеловеческий характер. Антропологизм в эстетике писателя приводит к усилению пересоздающего начала в художественном мышлении, зачастую оказывается основой романтического типа творчества. За просветительским принципом эстетического идеала стоит «позитизация духовной жизни человека», абсолютизация которой и порождает в реализме романтические тенденции.

Веру Тургенева в «таинственные» явления исследователь Л.В. Пумпянский объясняет исторически сложившейся ситуацией в 50-60 годы XIX века, когда «явления, с одной стороны, признаются сверхъестественным, а с другой, - признаются не только его наличием, но и доступность опытному познанию и даже экспериментированию (...) Таинственное перестает быть фантастикой, становится оккультной эмпирией и уже как таковая входит в литературу».

Г.А.Бялый видит у Тургенева увеличение естественнонаучным эмпиризмом, фетишизацию сил природы в духе позитивистских воззрений. Г.Б. Курляндская, напротив, полагает, что «вряд ли можно согласиться с определением позиции Тургенева в так называемых «таинственных повестях» как позиции вульгарного буржуазного естественнонаучного позитивизма и даже страха перед агрессивностью метаболического мира». Вряд ли Тургенев был связан с «трезвыми эмпириками (...) «Таинственное» в его повестях выступает фантастикой, а не оккультной эмпирией».

Мы не согласны с теми исследователями, которые сближают Тургенева с позитивистским воззрением. В теоретическом плане Тургенев считает себя материалистом. «Я преимущественно реалист, - читаем мы в его письме М.А.Милотиной от 22 февраля (6 марта) 1875 года, - и более всего интересуюсь живою правдой физиономии: ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты не верю». Мериме в своей статье «Иван Тургенев», в частности, пишет: «С большим искусством живописует он фи-

зическую и моральную сторону явления, создавая реальные картины действительности, а не фантастические эскизы». И далее: «Беспристрастие и любовь к истине - вот главная черта творчества г. Тургенева».

Исследователь С.Д.Артамонов считает также и Мериме «приверженцем материалистической философии», который смеется «над речевыми изысками романтической прозы, держась строгой правды». Однако, по мнению ученого, Мериме сознает, что для постижения более углубленной, усложняющейся природы человека этого недостаточно. Большое значение писатель придает «культу энергии», которая понимается им как «напряженная жизненная воля», держащая человека в постоянной деятельной активности.

В изображении инобытия, самого человека Тургенев и Мериме не исключают, а наоборот, предполагают необходимость обращения к романтизации изобразительных средств, поскольку прежних, реалистических возможностей уже не хватает. Подлинный романтизм, согласно А.Блоку, является не просто «отражением действительности», а скорее стремлением уловить «новую связь личности с миром». Иными словами, говоря о соотношении реализма и романтизма, можно сказать, что реализм - это действительность, реальности сущего, «платформа» бытия, а романтизм - это чувство, энергия, «двигатель», который толкает «платформу» вперед в выражении Неведомого, ирреального, иррационального.

По словам А.И.Батюто, Тургенев уже с раннего периода своего творчества отдает дань «элементам романтизма». В нем как бы сливаются в единый поток «реальное» и «идеальное», отмеченные Белинским. И если к концу жизни романтическое у Тургенева укрепляется, то отсутствие его, по словам того же Батюто, «сам Тургенев не прощает никому», воспринимая это как отсутствие поэзии, самого духа творчества.

Итак, исследуя творчество Тургенева и Мериме, одни ученые находят их фантастические произведения реалистическими, другие - усматривают в реализме писателей романтические тенденции в большей или меньшей степени. Сама проблема соотношения реалистического и романтического в фан-

тастике обоих писателей, несмотря на усилия многих ученых, остается до конца не решенной. Однако, с помощью сравнительно-типологического анализа, пользуясь историко-функциональным методом исследования, мы приходим к выводу, что «таинственные повести» Тургенева и фантастические новеллы Мериме являются реалистическими, сильно обогащенными романтической тенденцией, порой весьма приближенными к романтизму.

С точки зрения общего отношения художников к фантастике и исследуются переводы Мериме тургеневских «таинственных повестей», а рассмотрение близости и индивидуальности художественной позиции обоих писателей дает возможность установить степень адекватности переводов, тургеневских произведений, осуществленных Мериме.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Фантастическое в творчестве Тургенева и Мериме.

Романы, в которых И.С.Тургенев испытывал общественно-практические возможности своих героев, подготовили уход писателя в гармоническое царство духа, в мир фантастики. И это, несомненно, роднит его с П.Мериме. Ю.В.Виппер пишет: «Проспер Мериме в начале своего творческого пути, как уже отмечалось, примыкал к романтическому движению. Влияние романтической эстетики продолжало сказываться в произведениях писателя, оно ощутимо во всем его творческом наследии».

Романтическое начало у обоих писателей проявляется в формах психологического анализа, в особом интересе к естественным состояниям персонажей, когда герои получают возможность выразить свою сущность в природной и социальной среде. В тургеневских «таинственных повестях», в фантастических новеллах Мериме имеются и такие общие свойства, как интерес к иррациональным силам в природе и человеке, обогащение реальной обстановки романтической стихией. Существенные различия у писателей и, прежде всего, их философского отношения к иррациональному приводит к пониманию того, что ирреальное у Тургенева существует как вне человека, так и в нем самом. У Мериме же иррациональное находится в человеке, в его подсознании, воздействуя на его состояние и поступки.

Изменение подхода Тургенева к художественному постижению человека, перенос внимания с общественно-исторических аспектов на внутреннюю, духовную жизнь индивидуума позволяет говорить о «фантастике» автора «таинственных повестей» как о закономерном эволюционном явлении.

И.С.Тургенев в письмах А.П.Философой от 18(30) августа 1874 года и С.К.Брюлловой от 4(16) января 1877 года, называя свой рассказ «Стук...стук...стук!» студией русского самоубийства, писал во втором из этих писем: «Всем известно изречение: поэт мыслит образами, это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и су-

дья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот какое жалкое слово!), а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр той же самой народной общественной жизнью — вы кричите: стой!»

Однако «студийность», то есть экспериментаторский характер фантастических произведений Тургенева, не означает резкой перемены в литературной позиции писателя. Романтический тип творчества, проявившийся уже в раннем периоде, органично вел Тургенева к восприятию этого «смутного, психологически сложного, даже болезненного» в состоянии человека, через которое на него и оказывает воздействие Неведомое, существующее объективно.

Исследуя иррациональное и сверхъестественное, Тургенев и Мериме в своих творческих поисках обогащают реализм своими новациями. Во французском литературоведении существует мнение, что поздние новеллы Мериме являются психологическим экспериментом. Ф.Шамбон интерпретирует, в частности, «Локис» именно как такого рода эксперимент. В.Дынник считает, что по силе изобразительности ирреального Мериме не достигает уровня Э.По и Э.-Т.-А.Гофмана.

Если в нашем литературоведении вопрос о природе фантастики в произведениях Мериме остается открытым, то французскими исследователями этот вопрос изучен полнее. Об этом писали Цветан Тодоров («Сверхъестественное рождается из языка»), Феликс Шамбон («Заметки о Проспере Мериме») и другие. Романтические черты «таинственных повестей» Тургенева и фантастических новелл Мериме видят воочию недобрые потусторонние силы («Сон», «Призраки» Тургенева, «Видение Карла XI», «Локис» Мериме) и сами являются жертвами тех роковых сил. Фантастика проявляется как адекватный способ воспроизведения неизвестного, иррационального в психике человека, фатального в его судьбе.

Соотношение реалистического и романтического у обоих писателей живо и подвижно. Эволюция Мериме, как и Тургенева, такова, что в его поздних новеллах более ярко проявляется романтический тип творчества. Хотя и в них существует правдоподобное объяснение невероятных событий. Фантастика используется писателем-реалистом как сильное романтическое средство изображения, особенно при создании новелл «Видение Карла XI», «Венера Илльская», «Джуман», «Локис».

Ю.Виппер утверждает, что уже «первоначально эстетические пристрастия Мериме носили исключительно романтический характер». По мере эволюции писателя романтические тенденции усиливаются, не вытесняя реализм в таких новеллах, как «Переулок госпожи Лукреции», «Видение Карла XI», «Джуман». А в новеллах «Венера Илльская», «Локис» фантастика достигает своего апогея. Однако она не переступает черты, за которой начинается романтизм как творческий художественный метод, а остается на грани реализма, в составе второго плана этих двухплановых произведений. Поведение героев тут, по здравой логике, почти невероятно, однако психологически допустимо. Природная космическая жизнь иррациональна, но поступки и переживания индивидуума в ней мотивированны. Писатель сильно увлечен романтически эмоциональным восприятием действительности, однако не настолько, чтобы оторваться и забыть о «трезвом» реализме.

Глубокое познание сближает Тургенева и Мериме в их движении к новому. Внешним, реальным проявлением глубинных, растущих внутренних чувств соответствуют уже такие романтические черты, как сильные страсти, контрасты, экзотический колорит. Однако, приобретая обновленное лицо, реализм писателей все реже выдерживает испытание, оставаясь в собственно реалистических пределах.

Некоторые исследователи творчества Мериме видят в его новелле «Локис» усиление декадентских мотивов, входивших тогда в моду, «возрастание модернистских тенденций» (Ю.В.Виппер, Л.П.Гедемин, Ю.Данилин). Думается, исследователи подходят к творчеству Мериме несколько односто-

ронне. Мериме, как и Тургенев, творчески сложно, но художественно оправдано строит свои взаимоотношения с миром непознанного, проникая при этом с помощью такого романтического элемента, как фантастика, в недра человеческой психики, подводя индивидуум к познанию мироздательских законов.

Общественно художественная позиция русского писателя близка Мериме как представителю того же творческого направления. В ту эпоху великих исторических потрясений Мериме, как и Тургенева, глубоко интересуется неустойчивое, взволнованное психологическое состояние индивидуума. Герои Мериме попадают в необычную ситуацию, изображаются наиболее яркие, характерные моменты жизни, что позволяет сложно и многостороннее вскрывать истоки, психологические свойства. Интерес к национальному колориту в раскрытии психологии героев сохраняется у Мериме и при переводе тургеневских повестей, выражающих, говоря словами Тургенева, «русскую душу», «русскую суть».

В поздний период Мериме глубоко интересуется проблемой психологических аномалий, подсознания и проявления характера в экстремальных условиях. Однако писатель верит в духовную свободу человека и его добрую волю. Настойчивое стремление Мериме к художественному совершенствованию, максимальная лаконичность, ясность повествования, четкость построения сюжета, его напряженное, динамичное развитие приносят писателю славу как мастеру в жанре новеллы. А смелые, неожиданные развязки в романтическом духе раскрывают характерное через единичные, исключительные случаи, вероятные при таких же допустимых неординарных обстоятельствах. Используя ряд приемов старых французских мастеров, компактный, динамичный сюжет рассказа писателей эпохи Возрождения, а также писателей более позднего времени (Скарон, Лафонтен, Дидро), Мериме обновляет жанр новеллы, наполняя его новым содержанием. Изображение отношений между людьми у него сложно, но объективно. Описание обстановки реалистично, но в то же время ощутимо присутствие инобытия. Характеристики

людей точны, сжаты, однако романтизировано эмоциональны, порой находят на грани романтизма как способа изображения.

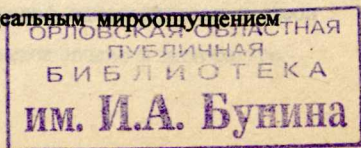
Отбирая самое характерное, Мериме старается убедить читателя в достоверности события или явления. Этому принципу писатель остается верен до конца своего творчества. Вводя психологический анализ в свои фантастические новеллы, Мериме делает это так, что невероятный факт может совершиться на глазах потрясенного читателя, допустившего существование в мире сил, которые невозможно понять рассудком. И видения, призраки, роковая предначертанность событий – приметы необъясненной, таинственной стороны бытия, самой стихии иррационального в некоторых поздних новеллах Мериме свидетельствуют о приближении к романтизму, к его инобытийной фантастике. Однако, оставаясь на грани реализма, фантастика в таких произведениях Мериме, как «Видение Карла XI», «Венера Илльская», «Локис», представлена еще и на уровне преданий, легенд, фольклора. Писатель и тут как бы отходит от прямолинейного толкования необъяснимых феноменов. Однако его позиция как автора выявляется самой постановкой проблемы, выражением таинственных сил в фантастической форме.

Фантастика служила предметом изображения не только для романтиков, писатели-реалисты также использовали фантастику в своих целях. Но только романтики сделали фантастику главным объектом художественного изображения и философского осмысления. Возникают вопросы: с какой целью вводится фантастика в реалистические произведения, как она мотивируется? В чем отличие фантастики, используемой романтиками, какова эстетическая природы фантастики у тех и других?

Немотивированная фантастика в реализме является одним из сильнейших романтических средств изображения. Образуя второй план в двухплановом произведении, она носит как бы вспомогательный служебный характер, подчеркивая существование первого – бытового, реального плана и косвенным образом через него участвуя в постижении действительности. Фантастика же в романтизме, являясь абстрактным, идеальным мироощущением

А 269010

17



художника, занимает главенствующее положение. Эстетика фантастики романтиков – это эстетика духовного, безграничного, инобытийного. Немотивированная фантастика реалистов исповедует романтический тип творчества в пределах реализма, а фантастика «чистых» романтиков всегда не мотивированна, лишь указывая на инобытие. Не участвуя в познании, а лишь изображая, фантастика романтиков базируется на другом, нереалистическом методе изображения. Хотя зачастую и трудно установить непреходимую грань между реализмом и романтизмом как художественными методами.

В 70-е годы XIX века у Тургенева формируется концепция фантастического, которая определяет принципы отбора и осмысления жизненного материала, способы изображения человека, особенности его психологической организации и функции снов, законы типизации. Эту точку зрения высказывают такие исследователи, как В.Н.Захаров, В.Д.Днепров и другие. М.М.Бахтин пишет о фантастике, вытекающей из снов: «Центральная часть произведения (имеется ввиду «Сон смешного человека» Достоевского) – рассказ о сонном видении. Здесь дается замечательная характеристика, так сказать, композиционного своеобразия сновидений: «Совершалось все так, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце».

По мнению А.Б.Муратова, одной из наиболее трудных и важных для писателя художественных моментов оказывается возможность уловить «мгн между бодрствованием и сном», те мгновения, когда границы яви сливаются с границами снов, что позволяет говорить о странных соотношениях реального и ирреального. Согласно высказыванию того же исследователя, фантастика рождается художественными средствами из речи героев, из самой жизни, является продуктом жизненных реалий.

Как переводчик фантастических произведений позднего Тургенева Мериме отмечает особый интерес русского писателя к «тайнописи души». Точно так же и в творчестве самого Мериме явна романтическая устремленность к исследованию формы подсознательного. Стремясь интриговать за-

гадкой «таинственного», Мериме, как и Тургенев, изображает взаимодействие внутреннего мира человека с инобытийными, потусторонними силами.

Своеобразным ключом к пониманию романтического начала в реализме обоих писателей является высказывание А.Блока в его статье «О романтизме». По его мнению, подлинный романтизм – это «новый способ переживания жизни», «следствие глубокого перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, потрясаясь связью с ним». Главными признаками романтического начала А.Блок признает, во-первых, стремление писателя выявить новую связь человека со средой, иными словами, показать изменение внутреннего мира человека в зависимости от вечно меняющейся природной космической жизни. Во-вторых, выразить преобладание живого чувства над холодным рассудком, способного «удесятерить» человеческие силы. Понимание Блоком романтизма как «удесятеренной», обновленной чувствами литературно-художественной позиции писателя дает возможность полнее и глубже осознавать обращение Тургенева и Мериме к теме «человек и природа», такую ее трактовку, в основу которой кладется проблема связи человека с иррациональными космическими силами. Эта идея «романтизации» выражается у писателей часто именно в виде фантастики (тургеневские «Призраки», «Сон», «Клара Милич (После смерти)» и «Венера Ильская», «Джуман», «Локис» Мериме, где стихия «мятежного», сверхъестественного выступает наиболее активно).

Фантастика как романтическое начало у Тургенева носит еще более сложный характер, поскольку таинственные силы находятся как в самом человеке, в его подсознании, так и вне его, в природе. Ибо у Мериме фантастическое выражено только в психике героев (хотя в «Венере Ильской» связано и с инобытием). Однако и тут, и в «Локисе», находясь на грани, фантастическое, думается, все же не выражает мирозерцания, как это бывает у романтиков, у реалистов это связано все-таки с романтическими типом творчества.

А тип творчества зависит от психологического склада личности. На переломе эпох усиливается личностное, романтическое начало в литературе.

Как творческое направление отдавая приоритет духовному, оно возвеличивает человеческие ценности. Для Тургенева характерно обращение именно к таким ценностям, эстетическим принципам, которые были созданы романтиками, однако тип творчества у него романтический в пределах реализма.

Как и у Мериме, «социальная среда» у Тургенева не раскрывает всей глубины человеческого существования, она лишь внешнее проявление «всеобщей жизни», человек у Тургенева, стремящийся постичь Неведомое, оказывается существом трагическим. В этой связи идеи о «жизни всеобщей», входящие органически в тургеневскую художественную концепцию, очень близки философским представлениям романтиков.

Заметим, что и у Тургенева, и у Мериме понятие «действительности» расширяется до вселенских масштабов. Однако изображаемое не теряет от этого своей реальной природы. Человека возможно объяснить лишь в узких пределах общества, частного существования, за которым ощущается неизвестное, неумолимая сила природных законов. Эти законы предопределяют судьбу человека. Тургенев и Мериме в своих поздних фантастических произведениях указывают на это, выражая эмоциональное отношение к изображаемому, применяя, кроме фантастики, и другие романтические средства, такие, как лиризм и символику. Об этом пишут исследователи творчества Тургенева И.Ф. Анненский, А.И. Батюто, П.И. Граjis и другие.

Исследователь творчества Мериме С.Д. Артамонов отмечает, что в фантастических новеллах французского писателя есть нечто от прозы романтиков. Именно романтики вносили в свои произведения стихию иррациональности – видения и привидения, роковую предначертанность событий, свидетельства о том, что в мире есть вещи, недоступные нашему разумению. «Мериме также использует в своих новеллах подобные мотивы, но сводит все, в конце концов, к строгой реальности».

Драматизм фантастического, воплощенный в самом сюжетном содержании и стилистических особенностях, служит основным жанровым признаком, отделяющим новеллу Мериме от более спокойного, уравновешенного

рассказа Тургенева, хотя русской фантастике в целом была свойственна «сюжетная дерзость», свободное владение пространственно-временными формами. Если у Тургенева фантастика тяготеет к исследованию психики человека, то у Мериме фантастика ставит порой чисто художественные задачи. Однако у обоих художников фантастика служит выявлению у героев необычных, странных человеческих качеств, через которые они познают мир внутренний и мир внешний.

И Тургенев, и Мериме в период своей работы как над самими «таинственными повестями», так и над их переводами, безусловно, были знакомы с идеями Гегеля, Шеллинга, Гельвеция, Шопенгауэра. Шеллинг основывал свою философию на тождестве духа и материи, считая искусство высшей формой деятельности человека. Гегель же усматривал в каждом процессе развития искусства три периода, считая творчество лишь первым периодом в становлении индивидуальности. Шопенгауэр во всеобщей картине мира представлял элемент загадочности, а за ней и тайну человеческой психики.

Проблемы, поднятые Тургеневым и Мериме в поздний период творчества, и поныне вызывают несомненный интерес философов, исследователей литературы, принадлежащих к различным школам и направлениям. Ю.Виппер, интересуясь вопросами психологии и физиологии человека в фантастических произведениях Мериме, приходит к выводу о том, что Мериме – новеллист «значительно углубил в литературе изображение внутреннего мира человека. Психологический анализ в новеллах Мериме неотделим от раскрытия тех общественных причин, которыми порождены переживания героев. И в этом направлении Мериме осуществил примечательные, имевшие значительный историко-литературный отзвук открытия».

И, хотя, как отмечает В.Дынник, у Мериме налицо несомненные качества художника, Тургенев еще и как мыслитель иного масштаба втягивает Мериме в свою орбиту. Огромный, многомерный мир русского писателя во время его работы над «таинственными повестями», безусловно, воздействует на Мериме не только как на оригинального художника слова, но, естествен-

но, еще и как на переводчика тургеневских повестей. Вера русского писателя в могущество разума, в природную сущность человека, в неисчерпаемые возможности реализма становятся у Мериме доминантой, составной частью нравственного идеала.

В драматизме тургеневских «таинственных повестей» Мериме улавливает отголоски собственного отношения к действительности, того, что и сам он выражает в своих новеллах. И сверхъестественные тайны, и их психологическое объяснение у Тургенева импонируют Мериме – переводчику. Это сближает писателей не только как писателей-реалистов, но еще и как писателей – новаторов, раздвигающих рамки реального своим романтическим видением, введением фантастики как одного из самых романтических средств в реалистическое отображение действительности, ставящих реализм на самую грань соприкосновения с романтизмом как с художественным методом.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Проблемы художественного перевода.

Тесные личные и литературные контакты, установившиеся между И.С. Тургеневым и П.Мериме, длятся до 1870 года. основой для их сближения, с одной стороны, являются интересы Мериме, с другой - Тургенев строит отношения с французским писателем для укрепления своих литературных позиций. В результате такого общения и осуществляются переводы Мериме «таинственных» - фантастических и других поздних произведений Тургенева («Петушков», «Жид» («Еврей»), «Призраки», «Собака», «Странная история»).

С какой же адекватностью переведены «таинственные» повести и другие произведения Тургенева, а следовательно, как передана переводчиком атмосфера «таинственного», фантастического в тургеневских произведениях? Как выражается взаимодействие художественных манер обоих писателей, в чем состоит индивидуальность Мериме как переводчика именно «таинственных повестей» Тургенева?

Еще в 40-е годы XIX века французский новеллист занимается переводами А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя. Постоянное общение с русскими, чтение книг русских авторов, наличие компетентных консультантов, советчиков поддерживают у Мериме довольно высокий уровень владения языком. Большое значение при этом имеет то, что он, по словам З.И.Кирнозе, работает над переводами вместе с Тургеневым. Кстати, совместно ими переведена прозой поэтическая поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» под названием «Новичок».

Духовная творческая близость обоих писателей дает возможность Мериме как переводчику выразить глубокий, «таинственный», фантастический смысл тургеневских текстов. Сопоставляя оригинал с переводом, мы, естественно, оцениваем и осмысливаем художественный язык с точки зрения норм и правил общенародного языка, его живых «ответвлений». При этом необходимо обратить внимание на то, что в способах речевого отбора, использовании литературного языка представителями различных обществен-

ных групп отражается их социальная характеристика, находят выражение социальные характеры. Как отмечает В.В.Виноградов, «в каждой более или менее социальной среде в связи с общественным бытием и материальной культурой складывается свой вкус, своеобразный речевой стиль. Для писателя эта словесность социальной среды, выражающая ее стремление, вкусы, отношение к жизни и свойственная этой среде манера словесного изложения, является источником речевого воспроизведения разных характеристических типов».

Безусловно, Тургенев и Мериме исходят из правил и норм своего общенародного общеупотребительного языка – русского и французского. Оба писателя кладут к основу своего творчества требование соответствия нормам литературного языка. И Виноградов заключает: «Общественное понимание языка художественной речи в контексте современного ему общенародного, общенационального языка сопровождается оценкой стилистических «находок», удачных «открытий» писателя, соответствующих законам развития этого языка». Так, язык художественной литературы, соотносясь с общенародным, опирается на систему изобразительных средств этого общенародного, общенационального языка. Его законы, в качестве обратной связи, воздействуя на писателя, определяют характер его творчества, образный строй, специфические особенности каждого произведения.

Рассмотрим проблемы художественного перевода, носящие концептуальный характер. Безусловно, индивидуальный стиль писателя обусловлен и национально, и исторически, он связан с его мировоззрением, эстетикой, с эстетикой литературной школы, эпохи. Переводчик учитывает все это в своей работе с автором оригинала. В переводной литературе может быть установлено несколько основных случаев соотношения между подлинником и переводом.

Во-первых, происходит сглаживание, обезличивание текста в угоду так называемой литературной «норме» переводного языка.

Во-вторых, формально точно воспроизводятся отдельные элементы подлинника, вопреки требованиям переводного языка.

В-третьих, допускается искажение своеобразия подлинника в результате произвольного толкования, произвольной замены одних особенностей другими.

В-четвертых, как наилучший результат – полноценная передача индивидуального своеобразия подлинника с учетом его существенных особенностей и требований переводного языка.

Нарушение индивидуального своеобразия, точное следование подлиннику приводит к искажению национальной и исторической окраски текста. Своеобразие языка перевода воссоздается на основе системы, существующей в подлиннике. Она передается отбором языковых средств как характерных, существенных, так и подчиненных. Специфичность вопроса обусловлена тем, что именно художественная литература отражает в образах действительность, связанную с жизнью народа, язык которого и дает возможность сотрудничать писателю и переводчику.

Перевод являясь средством межлитературных связей, оказывает содействие налаживанию контактов между национальными литературами. Переводы обычно делаются с языка оригинала, в других случаях прибегают к языкам-посредникам. Существует деление переводов на поэтические и прозаические, при этом выделяется различие между собственно переводом, адаптацией и переработкой. Прежде всего, нас интересует качество перевода, его максимальная верность оригиналу.

В теории перевода считается, что воссоздание на своем языке литературного произведения, написанного на другом языке, всегда есть акт творчества. Появление перевода представляет в той или иной степени обогащение собственной литературы. Литературное произведение возникает в орбите другого языка, неотрывно от него. Уже само появление произведений другой литературы на языке данной страны вводит их в орбиту литературы этой страны. Переводчик создает иноязычный текст на языке этой страны. Пере-

водчик создает иноязычный текст на родном языке. При этом каждое переводное произведение выполняет не только познавательные функции, в нем заложен потенциал воздействия на читателя – эстетического, эмоционального, интеллектуального. В качестве обратной связи существует потенциал читательского восприятия.

История художественного перевода выделяет такие его виды, как буквальный (дословный), вольный (свободный), и собственно (верный, точный, адекватный, полноценный) перевод. Сторонники буквального перевода стремятся заменить каждое слово подлинника соответствующим словом своего родного языка. При этом, механически передавая элементы переводимого произведения, они нарушают целостность предложения, искажая его смысл, контекст.

Принципу буквального перевода противопоставлен принцип свободного (вольного) перевода. Однако и его сторонники передают в основном лишь содержание переводимого, нет полноценного художественного текста, равноценного первоисточнику. Не случайно свободный перевод, эволюционируя, создает такие разновидности «перевода», как адаптация, литературная переработка, пересказ, изложение, смысловой перевод и другие, которые рассматриваются наукой как «неперевод».

Совершенствуясь, перевод создал так называемый «адекватный перевод». Современная теория и практика художественного перевода определяют понятие «адекватного перевода» не просто как синтез буквального и вольного перевода, а как сохранение и воспроизведение всего языкового строя оригинала – психологического, тематического, идейного, эмоционального, стилистического, ритмико-интонационного.

На уровне такого сопоставления перевода с подлинником можно говорить о создании единства содержания и формы, осуществленного в переводе. Объективное художественно-научное осмысление, перевыражение подлинника на языке перевода и приводит к адекватности перевода. Исходя из творческого отношения переводчика к переводимому тексту, и предьяв-

ляются такие требования к переводчику как постижение подлинника, интерпретация подлинника, его перевыражение.

Если произведение является художественным отражением действительности (то есть воплощением действительности в художественных образах), а перевод – отражением этой воссозданной художественной действительности, то переведенное произведение представляет собой полноценный, адекватный перевод в единстве его формы и содержания. Следовательно, как литература условна по отношению к реальной действительности, так и перевод условен по отношению к действительности оригинала.

Таким образом, художественный перевод – это вид творчества, при котором оригинал является для переводчика тем же, чем для оригинального творчества является реальная, «живая» действительность. Исходя из таких принципов перевода, мы и рассматриваем перевод тургеневских «таинственных повестей», осуществленный Мериме, с точки зрения отображения их «таинственности», фантастичности.

Рассмотрим проблемы перевода Мериме конкретнее, а именно, как перевода тургеневской фантастики.

Комплексное, системное изучение творчества Тургенева и Мериме предполагает, прежде всего, анализ текста, синтезирование его синтаксического, лексико-семантического, фонетического планов. При таком функциональном подходе Мериме опирается на научные принципы перевода, одновременно демонстрируя возврат к таким традициям, когда «переводчик – действительно соперник создателя оригинала», то есть переводчик выявляет как собственную личность, так и личность автора переводимого текста.

При анализе важно обратить внимание на то, что оба писателя при всем их индивидуально-творческом своеобразии принадлежат к одной школе реализма, обогащенного романтической стихией, в том числе фантастикой. Подтверждением этому служит тот факт, что, анализируя «таинственные повести» своего русского коллеги, Мериме отмечает в них непредвзятость, правдивость. Вот что пишет по этому поводу сам Мериме в статье «Иван

Тургенев»: «Беспристрастность и любовь к истине – вот главная черта творчества г. Тургенева».

В каждом тургеневском персонаже для переводчика имеют значение приметы времени, быта, что позволяет говорить о реальности картин действительности. Мериме понимает, что Тургенев не грешит против истины, характеризуя персонажи с их недостатками, смешными сторонами. Человек у Тургенева меньше всего выразитель какой-либо одной идеи или страсти, герои его сложны, разносторонни, что свидетельствует о тонкости русского писателя как аналитика человеческой души. В то же время в фантастике Тургенев выражает «таинственные» силы жизни, иррациональную свободу героев.

По мнению Мериме, Тургенев блестящий мастер не только «психологической драмы», но и талантливый живописец. «Вся блестящая фантазия «Призраков» является как бы рамкой для ряда разнообразных пейзажей». При этом Мериме даже сомневается, можно ли на французском языке передать всю прелесть тургеневских описаний природы, так как «сжатость и богатство русского языка затрудняют даже самых искусных переводчиков» (там же).

«Блестящая фантазия» поздних произведений Тургенева, их мелодичность, ритмичность текста, его видимая простота внушают уважение переводчику. Беспристрастная объективность авторского слова в изображении фантастического. Рассказчик у Тургенева – человек из круга писателя. Отсюда стиль переводов Мериме более сжат, динамичен, соответствует индивидуальности переводчика. Французский коллега находит у русского писателя излишними, «второстепенными» отдельные подробности, выделяя черты, необходимые для полного впечатления фантастического в картинах природы, персонажей, в событиях. По его мнению, эти подробности заменяют широту, из-за незначительного из виду теряются центральные фигуры, ослабляется значение пейзажа, замедляется действие.

В соотношении реалистического и романтического Тургенев, в сравнении с Мериме, более умерен. В поздний период романтические тенденции в творчестве Тургенева усиливаются, однако писатель не выходит за пределы, когда начинается «готика» с ее фантастикой тайны и страха. Так же и Мериме, испытывая влияние романтической эстетики, признавая в своих поздних произведениях объективное существование Неведомого, сохраняет реалистическую манеру письма. В частности, для придания происходящим событиям большей достоверности Мериме, как и Тургенев, вводит в новеллы рассказчика. Как характерная черта этого рассказчика, персонажа, а также описания местности используется реалистическая деталь. Через деталь социальная принадлежность рассказчика проявляется как один из существенных признаков реализма. Образ рассказчика в «таинственных повестях» Тургенева устраивает Мериме, реальность рассказчика подтверждает правдивость событий в произведении. В таком случае объективность изображаемого Тургеневым не разрушает творческий союз обоих писателей. Наоборот, их реализм становится более сложным, многозначным, обогащенным романтической тенденцией, оттеняющим фантастику как эффективное познавательное и изобразительное средство. При этом фантастика, имея большее или меньшее усиление романтизмом, носит реалистический или романтический характер.

Реальный мир у обоих писателей вступает в сложное взаимодействие с миром таинственным, миром человеческой души. Объективность такой сложной реальной действительности, раскрываемая у Тургенева в образе рассказчика, находит свое выражение в переводах Мериме.

В «Призраках» Тургенев, по словам В.Н.Тихомирова, «не только обращается к решению общечеловеческих философских проблем, но и, что еще более важно, философская мысль здесь является структурообразующим фактором, подчеркивающим движение сюжета и группировку образов». Мериме, переводя эту повесть Тургенева, другие поздние его произведения, для подкрепления достоверности сообщает мысли автора через посредника — пове-

вователя, в таком случае автор существует самостоятельно, не растворяясь в персонаже, в социальной среде.

Так поздний Мериме, разделяя художественную позицию позднего Тургенева как писателя-реалиста с нарастанием в его творчестве романтического начала, с включением фантастики, сохраняет в своих переводах «таинственных повестей» тургеневские изобразительные средства. К числу таких средств, безусловно, относится сказ, когда слово персонажа и слово рассказчика доминируют в диалоге как слово одного героя. Такая манера у Мериме как слово от имени рассказчика и от имени автора свидетельствует об адекватности выражения его точки зрения как писателя и переводчика. Но самому автору произведений «Венера Илльская», «Переулоч госпожи Лукреции», «Локис» свойственна также стилизация. В этих произведениях стилизация создает загадочность, которую нетрудно увидеть у Мериме в новеллах 30-40 годов.

В арсенале художественных средств Мериме есть также авторская ирония («Венера Илльская». «Локис»). Заметна она и в тургеневском рассказе «Сон». Однако стремление самого переводчика к социальным обобщениям, к созданию характеров, несомненно, склоняет его к теме «человек и общество» больше, чем к теме «человек и природа». Все эти средства, применяемые переводчиком, служат раскрытию замыслов автора изобразить действительность как сложное сочетание реального и ирреального, дает возможность с большей степенью адекватности перевести текст с оригинала.

Рассмотрим вопрос об адекватности перевода Мериме фантастического в поздних произведениях Тургенева.

Слово, фраза в поздних произведениях русского писателя, как и идентичные им категории в переводах Мериме, являются теми «камешками», из которых складываются художественный, в данном случае — «таинственный», фантастический мир обоих писателей. Слово у Тургенева, как отмечает Г.Б. Курляндская, «точно и полностью соответствует фразе». «Эпитеты, сравне-

ния, метафоры в стиле Тургенева отличаются качеством точности, правдивости».

Тургенев придает большое значение эпитету, сравнению, метафоре как важнейшим из средств поэтической речи. Эту мысль подкрепляет сказанное по аналогии исследователем в области перевода В.Е.Багно о поэте Гарсиа Лорка как о художнике слова, отражающем вещественный мир: «В этом критики склонны иногда видеть эмблематический аксессуар, или символ. Между тем поэтическая сила стихов Гарсиа Лорки как раз в том и состоит, что он сдвигает идеальное и реальное в единый поэтический образ».

В отличие от Тургенева, Мериме концентрирует внимание не на мелодичности текста, а на его доминанте, то есть наиболее характерной черте. Отсутствие лирического пейзажа, пейзажных красот, несколько суховатый рассказ – все это присуще Мериме как прозаику, так и переводчику. В частности, его сравнения менее ярки, чем у Тургенева, более односторонни, что происходит из-за его пристрастия к характерной детали, стремления к большей монотонности текста. Те же тургеневские определения приобретают у него иную окраску, придавая предложению более односторонний, стремительный характер.

Итак, находя описания природных красот у Тургенева несколько затянутыми, Мериме выделяет в своих переводах характерные признаки, приводя повествование в движение. Удаление второстепенных деталей подчинено задаче сделать произведение более компактным, динамичным.

По степени изменения тургеневского текста переводы Мериме можно разделить на три группы. Первая группа – тургеневский текст наиболее изменен. Переводчик допускает даже купюры, замену отдельных тургеневских слов и выражений своими собственными. Эту группу перевода составляют такие тургеневские повести как «Призраки», «Петушков», «Странная история», фантастической здесь является повесть «Призраки». Повесть «Петушков» при переводе изменена значительно более других. Тургеневским эпитетам, метафорам Мериме находит замену с целью улучшить восприятие тек-

ста французским читателем, дать ему понятия, существующие в его быту и сознании.

Во вторую группу входят такие произведения Тургенева, где оригинал воспроизводится переводчиком с небольшими изменениями, перевод содержит наименьшее количество трансформаций. Примером может служить рассказ «Собака», также являющийся фантастическим произведением. При переводе в нем допущены некоторые отклонения: яркая образность иногда заменяется нейтральной лексикой, эмоциональное состояние героя передается его характерными признаками, в частности, мышление дворовых слуг переделано в мышление человека вообще. Однако подобные отклонения не изменяют главного: оригинал и перевод идентичны по сути, оба писателя демонстрируют творческую близость в самом подходе к фантастике.

И, наконец, третья группа – «нулевая», когда перевод содержит наименьшее количество трансформаций. Например, батальные сцены, сцены свиданий в рассказе «Жид» (Еврей) даны в переводе Мериме слово в слово, ничем не отличаясь от тургеневского текста. Следует заметить, что границы между группами в силу специфики перевода чисто условны, нечетки.

Таким образом, обладая большим художественным, духовно-психологическим жизненным потенциалом, Тургенев при создании своих поздних фантастических повестей внедряется в глубины человеческой психики, в тайны подсознания, в стихию непознанного, вырабатывая собственные модели параллельных миров. А Мериме, проникаясь тургеневскими и собственными эстетико-нравственными идеалами, разделяя ценности русского писателя, осуществляет перевод его «таинственных повестей» на французский язык.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Неумолимые законы вечности в переводе Мериме тургеневских «Призраков».

Теория перевода устанавливает понятие переводческой нормы, на основе которой производится оценка качества перевода. При этом важно представлять себя цель своей деятельности и пути достижения этой цели. Конечный результат предполагает создание системы соответствий между двумя языками – оригинала и переводного текста. В этой системе находятся приемы и методы перевода, умение выбрать нужное соответствие и применить наиболее эффективный прием в каждом конкретном случае, в условиях текста. Высокое качество перевода, тем более художественного, требует умения, сопоставляя текст перевода с оригиналом, оценивать языковую, лингвистическую ситуацию, избегать возможных ошибок, внося при этом необходимые коррективы. Совокупность таких требований, предъявляемых к качеству нового, создаваемого текста, и определяет норму перевода.

Понятие нормы перевода включает требования нормативного характера в виде принципов и правил перевода, важнейшим из которых является принцип адекватности, то есть обеспечения при переводе максимального уровня эквивалентности текста оригинала переводному тексту.

Нам предстоит выяснить, насколько адекватно Мериме перевел тургеневские произведения, а именно, «Призраки», «Собака», «Жид (Еврей)», «Петушков», «Странная история». Как и какими лингвистическими средствами французский писатель обеспечивает создание «таинственной», фантастической атмосферы в переводимой им повести «Призраки», улавливает и передает особенности индивидуально-творческой манеры своего русского коллеги?

Обратимся к подлиннику – к тургеневской повести, которая носит романтический характер. Истоки фантастики и романтичности такие ученые, как А.И.Батюто, Г.А.Бялый, Г.Б.Курляндская, А.Б.Муратов и другие, усматривают в немецких легендах о Шварцвальде, в произведениях английских

предромантиков, американских, русских романтиков Э.По, В.П.Одоевского, А.Ф. Вельтмана, а также Н.В.Гоголя. В повести Тургенева это полеты Эллис над Землей и ужасные картины грозных сил природы, смена режимов и лишь потом свободный полет журавлей. Автор подводит к пессимистической мысли о фатализме, неизбежности смерти, безмерной власти слепых сил природы. Погоня же за счастьем, иллюзорна и эфемерна. В этом произведении улавливается мысль о жестокости бытия, беззащитности и ничтожности человека перед неумолимыми законами вечности. И, хотя Тургенев считает, что в человеке есть такие качества, которые помогают ему противостоять мировому Злу, автор видит проблему обновления мира разрешимой лишь в «отдаленном будущем».

Лирический герой «Призраков», совершая полеты над Землей, наделен невероятными, фантастическими возможностями. Привлечение образа его спутницы Эллис, совершающей эти полеты вместе с ним, становится средством романтического изображения. Повествователь выражает авторскую волю, хотя имеет и определенную самостоятельность, раскрывая собственную точку зрения героев на мир, нередко существенно отличающуюся от авторской. Соприкасаясь со стихией таинственного, Тургенев соединяет это таинственное с безусловно реальным или уравновешенным началом, отрезвляющим и возвращающим к реальности.

В рассказе-фантазии есть сюжет, который с помощью введенного в него рассказчика (повествователя) до известной степени вуалирует непосредственную связь изображаемого с фигурой самого автора и как следствие позволяет автору говорить откровеннее о том, что лишь на последней глубине может быть отнесено к нему, а «до этого соотносится с тем, кому отдано «Я» рассказа», - пишет исследователь В.Н.Топоров в книге «Странный Тургенев».

Внося оттенок условности, неподлинности, рассказчик обозначает Эллис различными именами. При этом он перебирает многие обозначения стоящих за ней призрачных, таинственных сил («странное существо», «пре-

лестная женщина», «ночная гостья»), не исчерпывающих ее сути. «Я ждал, не произнесет ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной и все глядела на меня своим мертвенно-пристальным взглядом. Мне стало опять жутко». Сам вид Эллис внушает мысль о призрачности, нематериальности бытия, о неминувости смерти, о чем Тургенев говорит на склоне лет в своем письме Фету, проводя мысль о том, что философские идеи Шопенгауэра требуют серьезного внимания.

В.Н.Топоров далее пишет об этом следующее: «Впрочем, будь спутник Эллис внимательнее, он еще ранее имел бы основание задумываться о природе – не смерть ли она или кратчайший путь к смерти. Во всяком случае символика былого в сочетании с женским в русской традиции прочно связывается со смертью, а Эллис – белая».

Посмотрим же, как тургеневские идеи и достижения реализуются в переводе Мериме. Естественно, во всех случаях однозначные отношения между разноязычными единицами установить невозможно. Зачастую в процессе перевода исходный текст так или иначе необходимо трансформировать с целью сохранить специфику перевода, выражаемое им значение и тем самым получить в языке – приемнике его полноценный, содержательный эквивалент. Подобного рода перестройка какого-либо элемента исходного текста, осуществляемая в процессе перевода, называется переводческой трансформацией. Конкретные причины трансформации многообразны: это и различия в семантическом объеме слова, несовпадение признаков, положенных в основу номинации, лакуны. Это и расхождения в грамматической структуре языков, выражающиеся в разной организации материала, это и специфика употребления той или иной языковой единицы и т.д. Так, например, в лексике нередки случаи, когда единица одного языка соотнесена с несколькими номинативными единицами другого. В грамматике часты случаи асимметрии в соотношении разноязычных знаков; нет полного параллелизма и в стилистических системах. Кроме того, процесс перевода, независимо от уровня, на котором он реализуется, должен учитывать прагматический фактор, т.е. ори-

ентироваться на коммуникативно значимую информацию, содержащуюся в тексте.

Учет прагматического фактора важен еще в одном отношении. Та иерархия языковых ценностей, при которой на первом месте по значимости стоит перевод лексических значений, на втором – стилистических, на третьем – грамматических верна лишь в самом общем виде. Точнее – она относится к тексту, который, действительно, представляет собой амальгаму лексических, стилистических и грамматических ценностей. Но текст как средство коммуникации всегда содержит определенное сообщение, и это сообщение может быть закодировано не только в лексических, но и в грамматических и стилистических ценностях. Иными словами, в реальных высказываниях указанная выше иерархия может нарушаться, и коммуникативно-значимыми, т.е. адекватно передающими, прагматические установки отправителя речи могут оказаться не лексические, а грамматические и стилистические значения. Подобные изменения иерархии языковых ценностей также является одной из причин межязыковых трансформаций. В случаях, когда они обусловлены системно, их появление вызывается необходимостью обозначить в переводе прагматические установки автора оригинала.

Следовательно, трансформированию могут быть подвержены лексические или грамматические значения слов и словоформ, а также стилистические значения языковых единиц. В соответствии с этим трансформации подразделяются на лексические, грамматические и стилистические. Объект первых – лексическая семантика языковых единиц, вторые – предусматривают изменения на уровне морфологии или синтаксиса, третьи – диктуются установленными для языка приемника стилистическими нормативами. При этом следует добавить, что «чистые» типы перечисленных трансформаций встречаются не столь уж часто, в практике гораздо более распространены смешанные, гораздо более распространены смешанные преобразования.

Важной особенностью трансформацией, независимо от их природы, является степень их узуральности (привычности). В одних случаях эквива-

лентность между разноязыковыми лексемами, морфологическими категориями, синтаксическими конструкциями или стилистическими значимостями может быть зафиксирована в словарях, справочниках; в других — она отыскивается в самом контексте и на основе его. Отсюда эквивалентность может быть устоявшейся, традиционной или же ситуативной, контекстной. В соответствии с этим трансформации элементов исходного текста могут быть системно обусловленными, узуальными, или зависящими от контекста, индивидуальными, творческими. Можно сказать, резкой границы между ними нет.

Из всего этого следует, что системно обусловленные трансформации ставят переводчика в жесткие рамки меязыковых системных отношений. Степень творческой свободы здесь минимальна, часто сведена к нулю. Напротив, индивидуальные, не узуальные трансформации создают условия для проявления в полной мере творческих способностей переводчика. Видимо, не будет преувеличением сказать, что качество перевода в немалой степени связано с тем, насколько удачно выполнены эти незузальные трансформации. Именно они в полной мере передают прагматический аспект текста.

Узуальная трансформация — это трансформация в соответствии с системой языка оригинала.

Смысловые согласования — это перевод не на базе словарных соответствий, а в связи с контекстом.

Адаптация — переводческий прием, состоящий в замене неизвестного — известным, непривычного — привычным.

Амплификация — прием, когда аббревиатура (сокращенное название) заменяется полностью.

Антонимический перевод заключается в замене отрицательного высказывания утвердительным.

Конкретизация — прием, состоящий в замене общеродового понятия частным, видовым.

Экспликация — введение в текст дополнительной информации, то есть того, что в оригинале ясно и без того.

Итак, рассмотрим все эти теоретические положения на конкретном тексте перевода Мериме, а именно, на примерах из фантастической повести «Призраки» И.С.Тургенева.

Лексические трансформации.

- | | |
|--|---|
| 1) Легкий страх щипнул меня за сердце. | Le coeur me battait un peu. |
| Смысловое согласование. | |
| 2) Прокричал петух. | — un coq chanta. |
| — Узуальная трансформация. Адаптация. | |
| 3) Вот до чего можно довести себя. | — Me voilà bien! |
| Мне чудилось. | — Je m'étonnais. |
| Согласование. | |
| 4) Слегка округляется сверху. | Il s'élève. — Адаптация. |
| Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стоит белая женщина. | Debout devant moi, transparente comme un brouillard, se dresse une figure blanche de femme. |
| Амплификация — расширение, добавление. | |
| 5) День прошел кое-как. | —Le jour tarda bien à se faire. |
| Антонимический перевод. | |
| 6) Сердце билось во мне, как будто ждало чего-то. | Mon coeur battait dans l'attente de quelque événement. |
| Конкретизация. | |
| 7) Явственный шепот. | —Une petite voix, faible, mais distincte. |
| — Индивидуально окказиональная экспликация. | |
| 8) Моя старуха вошла в кабинет. | —Ma femme de chambre entrait — экспликация. |

«Старуха» - vieille – было бы непонятно для французского читателя, и переводчик дает точный эквивалент.

9) Я не мог выдержать более.

– Je me levai brusquement.

Прием антонимического перевода.

10) ... но жизни еще сохранилось в нем на несколько столетий.

...l'arbre avait encore de la vie pour plusieurs siècles.

Это системная, узуальная трансформация (у кого-то что-то было – соответствует личной форме глагола «avoir»).

11) На одном из пальцев блистало кольцо. У тебя тела нет.

Elle avait un petit anneau d'or. Tu n'as pas de corps.

12) Кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась?

Apprends-moi qui tu es. As-tu vécu sur la terre? D'où viens – tu?

13) Страшная высота – hauteur prodigieuse,

могло бы быть и другое слово (terrible).

Мериме берет слово более насыщенное, многогранное, в нем больше оттенков (индивидуальная замена).

14) Мне дурно на этой высоте.

– Je me trouve mal à mon aise à cette hauteur.

«Стожары» - la Grande ourse - созвездие.

Применяются узуальные эквиваленты. Хотя Мериме здесь не точен. Большая Медведица есть и в русском также. А Стожары – это другое созвездие. Используется прием экспликации, так как Большая Медведица известна всем. Фоновое изменение неизвестное заменено известным.

15) кря, кря – couin, couin

– это звукоподражание, норма каждого языка (речь об утках).

16) С нерусским лицом

– n'avait rien du type russe.

И опять лицо показалось мне знакомым – ses traits ne m'étaient pas inconnus.

Примеры антонимического перевода.

- 17) Ответа не было. — elle ne répondait pas.

Во французском языке предпочтительнее, когда имеется выраженный субъект.

- 18) Ты, может быть, осужденная, N'es — tu pas une reprouvée? N'es
преступная душа? — tu pas une âme en peine?

Антонимический перевод.

- 19) Незлые пиявки так берутся. — L'attouchement d'une sangsue qui
ne mord pas encore.

Антонимический перевод.

- 20) Там теперь день. — Il y fait jour.

Нормативные эквиваленты.

- 21) Шум не прекращался. — Il redoublait.

Антонимический перевод.

- 22) Словно, почуял нас — Sans doute il nous avait sentis.

Предположение — уверенность — индивидуальный вариант.

- 23) У Тургенева стонать — у Мериме s'écrier.

Не надо мне Рима, грубого, грозного Рима... Прочь, прочь отсюда.
Ote-moi de Rome, de cette brutale et terrible Rome. Partons.

Антонимическая конструкция.

- 24) Мне — меня. Замена безличной — на скорее пассивную форму.

Малодушный — coeur faible.

- 25) Прочь! — бешено шепнула она. — Partons! dit-ella brusquement.

И в то же мгновение мне все кругом стало ясно. — Et en même temps
tous les objets autour de moi m'apparurent distinctement.

Элемент конкретизации.

- 26) Мы в России? — Ne sommes — nous pas en Rus-
sie?

Этот прием част в переводе.

Утвердительная — отрицательная форма.

27) Ты можешь быть свидетелем. — Tu peux assister.

(индивидуальная стилистическая экспликация).

28) «Сарынь на кичку» - татарский призыв, боевой клич, переводчик его оставляет (непереводимая лексика), но дает сноску и объясняет смысл.

Pas de quartier. — Не жалея.

29) Бей, вешай, топи, режь. любо, Tue-le, pends-le, à l'eau! brûle! à
любо, так, не жалея! l'ouvrage! à l'ouvrage, pas de
quartier (милость).

Передан смысл, но не все сохранено, что-то опущено, видим местоимения после глаголов, это системные вещи.

30) «любо» - трудно передать, Мериме опускает. А l'ouvrage добавляет.

Экспликация; это нормально для бурлаков.

31) Фролка! Где ты, пес? Зажигай со Frolka, où es-tu, chien? Du feu
всех концов — да в топоры их, бело partout! Allons! Un coup de hache
ручек! à ces mains blanches qu'on m'en
✓ fasse de la chair ^à pâte!

Наблюдаем добавление придаточного предложения, это и амплификация и экспликация, чтобы донести точнее информацию.

32) Притом такое быстрое передви- D'ailleurs des courses si rapides
жение не может быть вредным. doivent faire du mal.

Так я размышлял с самим собой, — но Je méditai longtemps mais à 10
в десятом часу вечера я уже стоял пе- heures du soir j'étais auprès du
ред старым дубом. vieux chêne.

В последнем примере «с самим собой» заменено на наречие «долго», которое, будучи ограничителем, диктует замену прошедшего времени несовершенного вида на форму прошедшего законченного (во французском языке). «В десятом часу» заменено на «десять часов», «стоял» - на «был», все

эти изменения окказиональные, индивидуальные, не нарушающие главного смысла содержания текста.

33) В воздухе пахло дождем.

L'air sentait la pluie. Это трансформация системного характера.

34) Мне стало грустно.

— J'étais triste.

Мериме, переводя фрагмент о Париже, совершенно сознательно опускает предложение, где дается нелестная характеристика Наполеона I и Наполеона III. Это присутствие цензора не раз встречается в переводах сенатора Мериме.

35) «От парижских опер» Мериме заменяет словом «от оперетт», а слово «остроты» словом «политессы» (politesses).

36) Воздух струится мягко и легко.

— L'air est vif et léger.

В переводе, случается, исчезает лирика, как например, в последней фразе «струится мягко» заменяется на «est vif», отчего предложение становится динамичнее, ритмичнее даже при изменении лексических единиц. То же и в таких примерах.

Слуша-а-ай! Garde à vous!

Все остало^{сь} позади — nous laissâmes tout loin en arrière.

Грамматические, стилистические, фоновые трансформации.

1) Мне привиделся необыкновенный сон.

— J'avais des rêves étranges.

Вот опять раздается звук.

— Encore le même bruit!

Слегка округляется сверху.

— Il s'élève.

Редукция.

На меня пахнуло холодом.

Je me sens comme transi de froid.

...свет луны белеется длинной чертой
на полу.

...il n'y a plus qu'un blanc rayon
de la lune s'allongeant sur le par-
quet.

Замены и добавления (личная форма заменена на безличную).

2) Длинная черта.

— заменяется на *participe priesent*

Настала ночь.

— Enfin la nuit vint — добавление.

Сердце билось во мне, как будто
ждало чего-то (лексическая транс-
формация).

Mon coeur battait dans l'attente de
quelque événement. Конкретиза-
ция.

Я лег и повернулся лицом к стене.

Le me couchai le visage tourné vers
la muraille (замена).

3) В синтаксическом плане частым изменением является сокращение
длины тургеневских предложений, когда из одного переводчик делает два
или несколько предложений.

Например.

За ужином я выпил почти целую бу-
тылку вина, вышел было на крыльцо,
но вернулся и бросился в постель.
Кровь тяжело колыхалась во мне. У
Тургенева два предложения — У Ме-
рима три, переделана их структура.

A souper, je bus presque toute une
bouteille de vin. Un instant je sortis
sur le perron, mais je rentrai.
Presque aussitôt et me jetai sur mon
lit, mon poulx battait avec force.

4) Приду! — Me voici!

И лексические, и грамматические изменения (части речи заменены,
лексика тоже).

«Уж не прислали ли тебя, чтобы на-
помнить?» — подумал я.

«On t'envoie sans doute, pensai-je,
pour que je n'oublie pas le rendez-
vous».

Во-первых, вопросительное предложение стало повествовательным, условное наклонение в первой части предложения заменено индикативом, а во второй части появился «субжонктив» (сослагательное наклонение). Все трансформации здесь индивидуальные, то есть не системные, не обязательные. При переводе можно было бы сохранить то, что есть в оригинале. Но переводчик выбирает свою модель этой фразы, для него важна ситуативная соотнесенность, содержательная сторона, ее информация.

5) Полетим лучше к Риму.

—Nous ferions mieux d'aller a Rome.

Это соответствие системное. Пожелание – это, как правило, выражено через «conditionnel» (условное наклонение).

Индивидуальные, окказиональные соответствия.

- Приду, - отвечаю я с невольным ужасом. Призрак тихо качнулся вперед, смешался весь, легко волнуясь, как дым, и луна опять мирно забелела на гладком полу.

- J'irai! répondis-je, non sans effroi. Le fantome parut faire un mouvement vers mon lit. Il chancela... Sa forme devint confuse et troublée, comme une vapeur. Au bout d'un instant, il n'y avait plus que le blanc reflet de la lune sur le parquet poli.

В этом отрывке множество преобразований.

Приду – пойду – лексическая замена,
с невольным ужасом – non sans effroi – антонимический перевод,
вперед – vers mon lit – конкретизация.

Глагольные формы заменены прилагательными
(волнуясь – troublée, деепричастие – причастие).

Личная форма (луна забелела)

– il n'y avait plus que le blanc reflet de la lune.

Целое заменено на частное:

луна – le blanc reflet de la lune,

гладкий пол – le parquet poli.

В этом отрывке, как видим, налицо индивидуальные, окказиональные переводческие соответствия.

Авторские индивидуальные изменения в переводах Мериме часты.

Например, далее.

- 7) Кровь тяжело колыхалась во мне. – Mon poulx battait avec force.
8) Куда ты несешь меня? – простонал – Où m'emportes-tu? - m'écraiai-je.
я.

Это изменение индивидуальное, окказиональное, передающее скорее смысл, чем состояние героя.

- 9) Я пропал, я во власти сатаны. – Le suis au pouvoir du demon.

У Мериме видим только вторую часть.

- 10) Я выпрямился и открыл глаза.

У Мериме - добавление целого предложения. Peu à peu l'étourdissement de dissipa; je me redressai et j'ouvris les yeux.

Это амплификация, которую переводчик использует, чтобы показать переход из одного состояния в другое.

«Милый» переводится «ami», не найдя более точного эквивалента.

Итак, при анализе переводческих трансформаций тургеневских «Призраков», мы наблюдаем следующее. Мериме, выстраивая переводческие соответствия, использует все виды трансформаций – лексические, грамматические, стилистические, фоновые, применяя в комплексе многообразные приемы (адаптация, амплификация, конкретизация, экспликация). Чтобы передать все нюансы богатой тургеневской прозы, переводчик изменяет текст, приспособляя его к восприятию французского читателя. Преобладание инди-

видуальных, окказиональных трансформаций является следствием индивидуально-творческой манеры Мериме как переводчика. Однако «таинственную», романтическую атмосферу тургеневских «Призраков» Мериме передает адекватно.

Вот что по поводу «Призраков» пишет современный исследователь Франсуаза Фламан в своей статье «Муза - вампир» (Тургенев.-Турин: Тысяча и одна ночь, 1994. —С.53-57): «Как философская повесть, «Призраки» — это картины метафизики Шопенгауэра, где в конце 50-х годов Тургенев нашел высшее оправдание своему космическому пессимизму, возрастающему у него с годами. В «Призраках» этот космический пессимизм опирается на большой жизненный опыт писателя» (С.54-55). «Призрак Эллис представляется фантастическим видением любовницы — вампира, аллегорией странной музы художника, следствием его буйной творческой фантазии» (С.57).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Природа бессознательного («Собака» Тургенева).

Обращаясь к непознанному, Тургенев в своих «таинственных повестях» выражает воздействие природных иррациональных сил на психику человека, оказавшегося на пороге Неведомого. По мнению С.Е.Шаталова, человек склонен квалифицировать происходящее с ним «за пределами естественного, реального бытия». Ученый считает, что в повестях Тургенева 60-70-х годов XIX века довольно отчетливо обнаруживается сдвиг в понимании человеческой психики: он теперь не исключает иррациональное из круга вопросов, подлежащих художественному исследованию. Так, в рассказе «Собака» Порфирию Капитонычу слышится, что в его комнате, под кроватью, скребется животное. Г.А.Бялый полагает, что в рассказе поставлена проблема гипноза. Ничего мистического нет, как писал об этом Мережковский. Автор показывает в своем рассказе суеверия и их влияние на человека. Сверхъестественное начинается с того, что рассказчик знакомится с раскольником Прохорычем. Тогда герой и испытывает на себе влияние «таинственных» сил. Ничем не примечательная «магическая» сила сразу же подавляет волю главного персонажа. Писатель затрагивает тему героя и толпы, популярную в то время в России среди народovolьцев и интеллигенции. Старик Прохорыч изображается с учетом социальных и биологических идей, использованных Михайловским, Тарда и другими общественными деятелями и учеными. Такова точка зрения Бялого на проблему «таинственного» в рассказе «Собака».

Похожую мысль высказывает и Л.Н.Осьмакова. По мысли исследователя, писателю - важно показать весь ужас ничтожной жизни. Герои «таинственных повестей»-люди именно «ничтожной жизни», Они лишены темперамента героев тургеневских романов, общественные нужды не интересуют их. В «таинственных повестях» мало тех, кто бы сколько-нибудь возвышался над уровнем обывденного сознания. Они находятся во власти сил, угнетающих их психику и разрушающих здоровья. Хотя автор дает слово именно таким пер-

сонажам и героям. Его герои и персонажи, рассказывающие о таинственных силах, которые влияют на их судьбу, способны поверить в рок. Психологические, психические и психофизиологические особенности, вера в «таинственное» определяют их поступки. Это «таинственное» имеет у Тургенева качество психического феномена, его можно изобразить с помощью определенных художественных средств. Именно эта сфера «таинственного» и становится объектом исследования Тургенева. Писатель постоянно подчеркивает взаимосвязь таинственного и психического, выстраивая повествование и применяя систему изобразительно-выразительных средств. Поэтому он и сомневается в публикации рассказа «Собака», о чем сказано было им в письме Анненкову (И.С.Тургенев. –Соч. –Т.IX. –С.499-500).

Социальные реалии в фантастических произведениях писателя служат дополнением к бытовому, реальному, плану, участвуя в создании только бытового плана, «видимого» тургеневским героям. Нужно сказать, что такое сочетание реального и внутреннего, даже виртуального мира характерно для всех «таинственных повестей» Тургенева, включая рассказ «Собака».

По нашей мысли, двоемирие становится характерным признаком таких произведений писателя. Если шорох под кроватью Прохорыча можно объяснить слуховой галлюцинацией, то подчинение своей воли воле раскольника подводит к мысли о реальном существовании «таинственных» сил.

С точки зрения Р.Н.Поддубной, писатель оставляет возможность «загадочных» явлений за будущим, когда, по ее мнению, наука представит доказательства такой возможности. Но в том-то и дело, что, согласно Тургеневу, Неведомое, существуя объективно, не подлежит разумному, рациональному познанию, «загадочные» явления никогда не могут быть объяснены. Вызов, брошенный Тургеневым своей фантастикой, опровергает догмы рационализма. Фантастика писателя совершенно изменяет представления о человеке и его природе, его сознании и бессознательном в их сложном, противоречивом взаимодействии, не укладывающемся в прежние привычные нормы.

Тургенев не равнодушен к «таинственному» в человеке, к глубинным процессам в его психике, не поддающимся реальному объяснению, однако порой даже существенно изменяющим поведение личности. Фантастическое в рассказе окрашивает реалистическую природу художественного метода в романтические тона, создает новый этап в развитии культуры, литературной традиции, когда, переосмысляясь, фантастика отображает уже новую эстетическую сущность, предвещая иные, обновленные формы и функции условности в литературе. Связывая фантастику с психологизмом и усилением воображения, с взаимопроникновением воображаемого и действительного, Тургенев воплощает свою эстетику фантастического в устойчивых символах, существующих не только в самих себе, но еще и во внутреннем мире человека.

Эту тенденцию взаимопроникновения и улавливает исследователь А.Н.Иезуитов. Выступая на Международной Тургеневской конференции, посвященной 180-летию писателя, ученый называет эту тенденцию «философией взаимодействия», когда естественное и сверхъестественное в самом человеке необъяснимы с точки зрения материалистической философии. Они могут быть объяснены как взаимодействие материального и духовного. Субъективное начало одухотворяет материальное и одновременно испытывает его воздействие, являясь отображением взаимовлияния духовного и материального в самом человеке. По мнению А.Н.Иезуитова, в своих фантастических произведениях Тургенев изображает новых героев нового времени с точки зрения именно такого взаимопроникновения материального и духовного начал. В этом случае исследователь выступает как «чистый» реалист, не беря в расчет существование Неведомого.

На той же Международной Тургеневской конференции исследователь Л.Д.Бугаева в своем докладе «Модальная перспектива поздних повестей Тургенева» говорит следующее: «Когда мир произведения сигнализирует о двойственности или неоднозначности своего референциального статуса – реальность и ирреальность – и, как следствие, о двойственности или неодно-

значности существования в воображаемом мире произведения, становится необходимым подход, отличный от подхода, принятого по отношению и текстам, основанным исключительно на реалистических или исключительно на фантастических мотивировках». Так, устанавливается равноправие двух миров – реального и ирреального, временное превалирование одного мира над другим, являясь своего рода повторением (деформацией) отдельных моментов реального мира, ирреальный мир в повестях Тургенева, таким образом, выступает в качестве симулятора, в одно и то же время отрицающего реальность и утверждающего ее на новом витке повторения».

Мериме как переводчик ищет и находит адекват, внося некоторые изменения, передавая тургеневскую образность и в основном сохраняя текст оригинала. В фантастическом рассказе «Собака» рассказчик Порфирий Капитоныч живо воспроизводит невероятную ситуацию, которая ему примерещилась. Легкость тургеневской фразы, которая сама по себе не является громоздкой книжной конструкцией, общеизвестна. Однако Мериме продолжает работу над ней, делает ее удобной для восприятия французского читателя, в том числе и для понимания фантастического, заложенного в этом тургеневском рассказе.

Слитность тургеневской интонации Мериме заменяет эмоциональным подъемом, усилением значения смысла слова или выражения, стоящих после отточия, вводится логическое выделение. Такая интонация для французского читателя вполне естественна, при этом фраза дробится на части, синтагмы, не затрудняя постижения текста. Многоточие, графически обозначающие паузы, не вносят в синтаксис Тургенева каких-либо перебоев. Фраза от этого не делается растянутой, в ней нет синтаксических впадин, оговорок, скучных повторов. Однако Мериме недостаточно передать настроение героя или персонажа. И он, естественно, соответственно законам своего языка, раскрывает внутреннюю суть тургеневской фразы, ту ее основу, которая характеризует героя или персонажа, а следовательно, и особенности фантастического произведения, связь героев с природными, иррациональными силами.

Важно отметить, что рассказчик у Тургенева резко отличается от рассказчика, говорящего языком человека определенной профессии. Так, Вл. Фишер пишет: «Нуждаясь в фиксации рассказчика, Тургенев, с другой стороны, не желает стеснять себя манерой рассказчика» (Вл. Фишер. Повесть и роман у Тургенева//Творчество Тургенева. –М., 1920.-С.5). Аналогичную мысль высказывает М.М.Бахтин: «Вводя рассказчика, Тургенев в большинстве случаев вовсе не стилизует чужой индивидуальной и социальной манеры рассказывания. Например, рассказ в «Андрее Колосове» - рассказ интеллигентного литературного человека тургеневского круга. Так рассказал бы и он сам (...) Поэтому он избрал рассказчика из своего социального круга. Такой рассказчик неизбежно должен был говорить языком литературным» (М.М.Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. –М., 1972. –С.328).

Иного мнения придерживается В.В.Виноградов: «Было бы ошибочно думать, что здесь сказ служит исключительно внестилистическим целям». То, что сейчас является литературной нормой, в эпоху Тургенева было «новой формой сказового художественного построения», которая противостояла «высокой фразеологии сентиментально-романтического повествовательного стиля» (Виноградов В.В. О языке художественной прозы. –М., 1980. –С.51).

Эту точку зрения разделяет исследователь В.И.Чернышев, считая, что благодаря изложению от первого лица, из языка выпадает все условное, искусственно-книжное; рассказ приобретает форму и стиль разговора: упор делается на простую домашнюю интимную речь автора» И ученый добавляет: «Основа его языка литературная, несмотря на расположение к просторечию и провинциализму» (Чернышев В.И. Избранные труды. –М., 1970. –Т.2. –С.223). Как мы видим, В.И.Чернышев солидарен с теми же учеными, которые относят рассказчика тургеневских произведений к социальному кругу самого автора и в то же время разделяет мнение тех, кто определяет рассказчика, как вполне самостоятельное лицо.

А.П.Чудаков, подобно М.М.Бахтину, характеризует рассказчика как персонажа в отведенных ему рамках. Его мысли, речь, жесты говорят скорее

о поведении рассказчика, свидетельствуют о писателе, который хочет продемонстрировать свою позицию. Возможность изобразить все, что увидел рассказчик, и дать ему авторскую оценку, на наш взгляд, очень дорога писателю.

Важно отметить, что между грамматическими системами французского и русского языков существует немало расхождений, которые в процессе перевода требуют определенных преобразований грамматических ценностей исходного языка с целью обеспечить функциональную точность перевода.

Из конкретных причин грамматических трансформаций отметим две основные: это отсутствие формального грамматического соответствия в одном из языков и различие в сфере употребления того или иного грамматического элемента. Каждый из этих факторов может стать причиной грамматических преобразований. Основная особенность грамматического аспекта перевода состоит в жестко детерминированных отношениях между системами языка - источника и языка-приемника, которые предписывают вполне однозначное решение в большинстве случаев той или иной конкретной переводческой задачи. Следовательно, трансформации грамматических переводов в процессе перевода являются системно обусловленными. Их общим свойством является то, что выбор соответствующей грамматической единицы в языке - приемнике совершается автоматически и какие-либо отклонения от системы языка исключены.

В то же время жесткая детерминированность допускает вариативность отступления от однозначных отношений, объясняемых синонимичными средствами выражения, расхождением в структуре грамматических систем, наличием лакун в одной из них, предпочтительным использованием одного элемента в ущерб другому, взаимодействием элементов разных уровней и т.д. Все трансформации сведены к замене, перестановке, добавлению, опущению. Замена затрагивает как морфологию, так и синтаксис. В морфологии заменяются формы слова и части речи. Синтаксические трансформации подразумевают замену одной конструкции другой. Перестановки - второй вид грамматических трансформаций, которые сводятся к изменению членов

предложения. Добавления – это грамматическая трансформация, при которой в переводном тексте появляются лексические элементы, раскрывающие то, что в оригинале выражено грамматически. Такой прием необходим при переводе абстрактных существительных во множественном числе, когда эта форма в русском языке существует. Во-вторых, добавления необходимы вследствие различий в нормативных установках двух языков.

Опущение – прием, прямо противоположный добавлению, семантически избыточные единицы опускаются в процессе перевода.

Исходя из этих положений и проанализируем перевод Мериме рассказа «Собака» И.С.Тургенева.

Грамматические трансформации (синтаксис).

1) Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в действитель- ную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен иг- рать здравый рассудок?	Mais si vous admettez le surnaturel, si- vous admettez son intervention dans les choses de la vie réelle, alors, permettez moi de vous le demander, quel sera le rôle de la saine raison?
--	---

В данном случае, как уже встречалось ранее, переводчик делает замену безличной конструкции личной, когда в предложении подлежащее выражено личной формой местоимения «вы», а инфинитив заменен личной формой глагола в настоящем времени, что предпочтительнее для системы французского языка. Также к ряду системных изменений относится и употребление местоимения «le» - permettez – moi de vous le demander. В этой фразе есть и морфологические замены: настоящее время в русском варианте меняется на будущее во французском, что влечет за собой изменение подлежащего, слово «роль» из дополнения переходит в подлежащее. В лексическом плане наблюдается опущение слова «возможность», хотя тут же переводчик вносит добавление. Вместо «в действительную жизнь» он дает «dans les choses de la vie

réelle», пытаясь при помощи конкретизации сказать об уникальности описываемого случая.

Даже один данный пример показывает целый комплекс преобразований, к которым прибегает переводчик, передавая смысл одной фразы из трех строчек.

2) Не меньше преобразований мы видим и в следующей фразе.

Антон Степаныч состоял в чине статского советника, служил в каком-то мудреном департаменте и, говоря с расстановкой, туго и басом, пользовался всеобщим уважением.

Anton Stepanytch avait le grade de conseiller ministeriel, dans je ne sais quel département, et comme il possédait une voix de basse sonore, et qu'il parlait en ponctuant ses phrases, il s'était attiré la considération générale.

В начале предложения идет системное преобразование «состоял в чине» - «avait le grade», далее тут же видим индивидуальный вариант: «в каком-то» заменено на «je ne sais quel». Затем деепричастие заменяется придаточным причины, что влечет за собой и лексические трансформации «говоря туго и басом» «-il possédait une voix de basse sonore». Неличная форма деепричастия заменяется личной формой глагола с приглагольным местоимением в роли подлежащего. «Говоря с расстановкой» заменяется придаточным дополнительным «qu'il parlait en ponctuant ses phrases». И далее глагол прошедшего времени несовершенного вида заменяется плюсквамперфектом, выражающим результативность действия - «s'était attiré». Если бы делать обратный перевод, то, наверное, мы бы перевели эту форму, как «снискал уважение». Благодаря этой форме переводчик подчеркивает заслуги персонажа и как результат его настоящее состояние.

3) Ему незадолго перед тем, по выражению его завистников, «влепили станислашку».

On venait de lui infliger la croix de Saint - Stanislas, comme disaient ses envieux.

И снова видим, что преобразования носят комплексный характер: в синтаксисе, морфологии, лексике, и это естественно.

Русское наречие «незадолго» передается специальной формой *Passé immédiat*, выражающей непосредственное предшествование. Для «станислашки» Мериме дает объяснение – крест Святого Станислава, чтобы было ясно, что речь идет о награде. А далее «по выражению» заменяется придаточным предложением, и это индивидуальная замена. Можно было бы дать вариант «selon», но переводчик любит работать с синтаксисом.

4) Взоры всех находившихся в комнате с любопытством и недоумением обратились на него – и воцарилось молчание. *Tous les regards se tournèrent vers lui, et il y eut un moment de silence.*

Перевод этой фразы – пример трансформаций, присущих системе языка.

Как правило, в подобных случаях употребляется глагол «*etre*» в *passé simple*. Индивидуальность переводчика состоит в том, что он опускает значительную часть первого предложения «находившихся в комнате с любопытством и недоумением», считая эту информацию избыточной. Тогда как в нижеследующем примере он, напротив, дает дополнительную информацию, вводя элементы, которых нет в оригинале.

5) Он некогда служил в гусарах, проигрался, вышел в отставку и поселился в деревне. *Il avait servi quelque temps dans les hussards, avait perdu son argent au jeu, demandé sa retraite et s'était remis à planter ses choux dans son village.*

В вышеприведенном примере речь идет больше об амплификации на уровне лексики. «Проигрался» - добавляется во французском тексте «*son argent an jeu*», «поселился в деревне» - «*s'était remis à planter ses choux*» - принялся разводить (сажать) капусту. Хотя этот овощ не был тогда характерен

для русской деревни, это чисто индивидуальная трансформация, переводчик акцентирует деталь, привлекая внимание, показывая, чем можно заниматься, потратив деньги.

6) Однако принял я в те поры муки! - Seulement j'en eus endurer pour lors.

Существительное «мука» передано глаголом «endurer». Индивидуальный эквивалент.

7) Помеха, значит!

— Cela me gênait!

Используется тот же прием, что и в предыдущем примере. Глагол заменяет имя существительное «Не твоего полета» - Cela te passe. В русском – существительные, во французском – глаголы.

8) Иногда зайца подшибешь.

— Il me levait un lièvre (Le chien).

Фраза изменена, изменен субъект, форма предложений, морфологический состав.

9) След простыл.

— Ni vu, ni connu.

Устойчивый эквивалент в русском и французском, каждый со своей лексикой и формой.

Теперь стилистические трансформации при переводе П.Мериме того же рассказа «Собака» И.С.Тургенева.

1) Ты, значит, после этого оглашенный человек!

Tu es un homme maudit, damné!

У Тургенева – разговорный стиль, в переводе употреблено «высокий» и вместо одного два слова для усиления смысла.

2) ...я-таки его опять публиков на сотню наказал.

- ...car je le refis encore d'une centaine de roubles.

В переводе более нейтральная лексика.

3) Захочет он тебе поспособствовать - твоё счастье; не захочет - так тому и быть

- s'il veut te secourir, tant mieux pour toi: s'il ne veut pas, il n'ya rien à faire.

4) Окрашенная лексика заменяется нейтральной, конец русского предложения заменен узуальным эквивалентом.

5) К стилю отнесем и некоторые неточности, которые встретишь в переводе.

Ложись-ка теперь спать, с батюшкой со Христом.

- Allons! tâche de dormir avec le Pere et avec le Christ.

У Тургенева это один человек, Мериме делает два (это не так, здесь тонкость употребления в русском языке ускользнула от переводчика).

6) Утро, знаешь, вечера мудренее.

- Demain, tu sais, est plus sage qu'aujourd'hui.

Мериме не соотносит эту фразу с пословицей и дает не готовый эквивалент, а просто свой индивидуальный перевод.

Ухмыляетесь - Cela vous fait rire.

Будет вам та собака на потребу - Le chien pourra vous être utile.

А услуга та неоплатная - Les services - là ne se payent pas.

Жара начинала сваливать - L'étais fou. la grande ardeur commençait à baisser.

Стилистически окрашенная лексика становится нейтральной.

Лексические трансформации.

1) Выскочил в люди - Etait devenu un personnage.

Приколотить шулера - rosser un grec.

Понравилась фраза - Qui tenait à sa phrase.

Индивидуальный вариант, можно было и по-другому.

- 2) Развязно пододвинувшись к середине комнаты. – Passant au milieu de la chambre.

Опускается «развязно», как не добавляющее ничего важного к основной информации.

- 3) Ни в одном, как говорится, глаза. – Je marchais bien droit.

Опять-таки это индивидуальный эквивалент, совсем другой образ, но совершенно адекватный.

- 4) Думаю – крыса? – Des souris?

«Крыса» заменяется на «мышь», образ более подходящий для французского менталитета.

- 5) Ко мне собака под кровать затесалась. – Il y a un chien caché sous le lit.

Здесь «затесалась» заменено на нейтральный «спряталась».

- 6) Что ты зубы-то скалишь? – Qu'as-tu à te mordre les lèvres?

Здесь эквивалент не передает полностью значения русского глагола.

- Собака взяла да и шмыгнула в переднюю. – Le chien aura passé et filé par l'antichambre.

Во всех этих примерах стиль тургеневской лексики сниженного плана (скалить, затесаться, шмыгнуть) передается у Мериме нейтральной лексикой.

- 7) Уж не воображаешь ли ты, что я пьян? – Crois-tu par hasard, que j'aie bu?

Наблюдается лексическая и грамматическая трансформация.

Пьян – глагол boire – пить; в придаточном во французском языке, согласно правилу, употребляется сослагательное наклонение.

Грамматические трансформации (морфология).

- 1) Утверждаю. – Je vous le garantis.
2) «Какой я философ, это еще неизвестно, - промолвил он с угрю-
- Philosophe! – s'écria-t-il en faisant remuer ses moustaches d'une façon

мым подергиваньем усов, - но вас
бы я охотно взял в науку».

menaçante, ca n'est pas prouvé. Mais
j'en donne des leçons de philosophie,
moi.

Наблюдаются изменения в синтаксисе, появляется номинативные предложения. Вторая часть предложения – в результате перестановки – оказывается в другом месте, но сохранена. Прилагательное «угрюмый» заменено на «угрожающий», условное наклонение – изъявительным. И как результат предположительность становится реальностью, но акценты смещаются. И вместо «я взял бы вас в науку» имеем ни к кому не обращенное «я даю уроки философии».

3) Следующий пример, где наблюдаем трансформации морфологического (индивидуального) и синтаксического (узусального) характера.

Но господин статский советник переловил свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножкой и только!

— M. le conseiller ministériel changea son sourire dédaigneux en un sourire d'indifférence, il bailla, remua un pied, et ce fut tout.

Прилагательное «равнодушный» имеет эквивалентом существительное в роли прилагательного, это индивидуальный вариант. А слово «только» имеет в переводе эквивалентом отдельное предложение, что можно считать узусальным преобразованием, соответствующим норме французского языка.

И в переводе Мериме рассказа «Собака» Тургенева просматривается большое количество трансформаций индивидуального характера. В грамматических трансформациях проявляется большой интерес к синтаксическим преобразованиям. Стилистически окрашенная лексика, как правило, при переводе нейтрализуется. Рассказ Тургенева в переводе Мериме делается легче воспринимаемым французским читателем.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Романтизация перевода Мериме тургеневского произведения «Жид (Еврей)»

Рассказ «Жид (Еврей)» не характеризуется принципом двоемирия, как другие, фантастические произведения И.С.Тургенева. Однако и оно содержит в себе элементы романтической эстетики. Реалистическая манера в описании предметов быта, создание портретов включает в себя романтические приемы изображения. Автор прибегает к высокому стилю, применяет высокую фразеологию. Рассказ ведется от лица рассказчика – участника наполеоновских войн, битвы под Данцигом в 1813 году. Теперь уже офицер в отставке, он (тогда еще юный корнет) вспоминает, как полюбил красивую дочь одного еврея, а тот использовал его любовь для сбора сведений об армии. Полковник приказал повесить шпиона, что и было выполнено. Однако корнет вместе со всеми другими военными был обвинен в жестокости.

Во всех произведениях Тургенева повествование героя снабжено авторским комментарием, что для писателя характерно. В этом рассказе автор ставит проблему пробуждения национального самосознания. Уже с первых страниц рассказчик говорит о том, что вышло у него с любовной интрижкой. И мы видим, как постепенно недалекий, ограниченный светский человек предстает человеком сострадающим ближнему. А ведь сначала этот офицер – позер, фразер, самодовольный вояка. Обычно в авторском описании указывается социальное положение героя, его происхождение. Так и тут повествование ведется от третьего лица и носит субъективный характер, снабженные авторскими замечаниями, а рассказчик отличается от рассказчика в других произведениях Тургенева. Автор не отождествляет себя со своим самодовольным героем. Рассказчик в «Жиде (Еврее)» явно не из круга писателя. Мнение автора и рассказчика не тождественны. Так вместо единой повествовательной формы, привычной для Тургенева, создается множественность точек зрения. Объективизация стиля позволяет читателю активно участвовать в творческом процессе, сопереживая или не соглашаясь с автором. Ассоциа-

тивно-образная система, создаваемая писателем, укрепляет сотворчество читателя с писателем. В 40-50 годах XIX века она станет главнейшим признаком объективной творческой манеры художников слова.

Исследователи отмечают различные стороны писательского таланта И.С.Тургенева. В.М.Жирмунский подчеркивает романтичность тургеневского пейзажа (Задачи поэтики//Теория литературы: Поэтика. Стилистика. —Л., 1977. —С.47). Г.Б.Курляндская проводит мысль о гармонической сложности стиля писателя: «Гармонически прекрасная проза Тургенева явилась сложным синтезом художественных достижений Пушкина и поэтов-романтиков. Прежде всего, он использовал принцип эмоционально окрашенного, поэтически звучащего слова. Но при этом, будучи верным учеником Пушкина, он сохранил полное соответствие слова и образа, при котором сопоставляемые явления имеют реальные призраки сходства. Эпитеты, сравнения, метафоры отличаются количеством точности и правдивости, потому что они создаются с учетом непосредственной связи переносного значения с прямым» (Курляндская Г.Б. Художественный метод Тургенева-романиста. —Тула, 1972. —С.132).

А.П.Чудаков делает вывод, что конкретность, свойственная писателям-реалистам характерна и для Тургенева. «В прозе она началась с Гоголя и натуральной школы» (Чудаков А.П. О поэтике Тургенева-прозаика// И.С.Тургенев в современном мире. —М.: Наука, 1978, —С.253). Что же касается Тургенева, то он «отличается существенно не только от предшествующей литературной традиции, но и от современной» (там же).

А.Григорьев отмечает в реализме Тургенева синтез реалистических и романтических элементов, метод, в котором сохранился «поэтический элемент <...> пушкинского и лермонтовского времени»... (Григорьев А. Литературная критика. —М., 1967. —С.427-428).

Н.Страхов видит также соединение «напряженного, безмерно чуткого и раздражительного идеализма» и «реальных картин» (Страхов Н. Критические статьи об И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом. 4-е изд. —Киев, 1901.—С.130).

С.И.Раздевич подмечает у Тургенева субъективный «идеалистический символизм» и «элементы реального бытия».

П.Г.Пустовойт выделяет «романтическое начало», которое, «возникнув в ранних произведениях Тургенева, не исчезало из его творчества до последних дней жизни писателя» (Пустовойт П.Г. И.Тургенев – художник слова. –МГУ, 1987. –С.63.) Особенно проявляет себя романтика, становясь основой лиризма Тургенева при изображении романтических героев романтического фона, романтической тематики.

Г.А.Бялый также оттеняет мысль о стремлении писателя наделить всеми возможностями поэтической речи свою прозу - «гармонически упорядоченную, лирическую, соединяющую в себе точность логической мысли» (Пустовойт П.Г. Тургенев и русский реализм. –Л.: Советский писатель. 1962. –С.244). А.Б.Муратов акцентирует внимание на сложности художественного метода Тургенева: «Здесь и вступает в свои права тот лиризм, та поэтика непосредственно-эмоционального, которую можно назвать романтической. Она <...> придает повествовательной манере Тургенева ту субъективность, которая делает ее, условно говоря, «романтическим реализмом» (Муратов А.Б. Тургенев-новелист. -ЛГУ. 1985. –С.72).

Согласно мнению П.И.Гражиса, реалисты создают «образные представления» по законам самой жизни, а романтики – по законам идейно-эмоционального мира субъекта. Изображая романтические, субъективные состояния личности, писатель-реалист испытывает необходимость использования «элементов романтического образного отражения» в «реалистических произведениях» (Гражис П.И. О сочетании реалистического и романтического в образном отражении// Тургенев и романтизм. –Казань: Изд-во Казанского университета, 1966. –С.23, С.31).

Оригинально и глубоко романтические тенденции в реалистических произведениях XIX- начала XX века объясняет исследователь Ю.Г. Нигматуллина. Структурные элементы эстетического идеала – «антропологического», «социального», «просветительского», по ее мнению, обусловлены и са-

ним содержанием, и формой их выражения. В антропологическом эстетическом идеале проявляется стремление отыскать объективные критерии прекрасного в природе человека, выражающие своеобразное отчуждение социальной, общественной сущности человека от его «натуры», в связи с чем и порождается романтическое начало в реалистическом искусстве (Нигматуллина Ю.Г. Национальное своеобразие эстетического идеала. – Казань, Изд-во Казанского университета, 1970. –С.28).

Ученый Аднан Селим говорит об обращении Тургенева к универсальным законам бытия, что весьма симптоматично, как для писателя-романтика, так и для писателя реалиста: «Имеются все основания определить творческий метод Тургенева <...> как воплощение диалектики конкретно исторического и вечного» (Селим Аднан. О творческом методе Тургенева //И.С.Тургенев в современном мире. –М.: Наука, 1987. –С.237). Жизнь в творчестве Тургенева, по мнению исследователя, в постоянном движении благодаря тому, что писатель умеет возводить единичный факт человеческого бытия в степень философского обобщения, измерить правду конфликтующих сторон мерой вечности.

Высказывания ученых, характеризующих творческую личность Тургенева, помогают переводчикам делать переводы произведений более адекватными. При этом факторы лексического и грамматического порядка, лежащие в основе стилистических преобразований, ориентированы на сохранение стилистической структуры исходного текста.

Наиболее общим приемом стилистических преобразований является модуляция. Смысл модуляции заключается либо в смене образа в процессе перевода, либо в преобразовании, учитывающем различия в разных языковых системах. Свободные модуляции, не учитываемые словарем, используются наиболее часто, компенсируя невозможность буквального перевода. Свободные модуляции используются и тогда, когда в языке-приемнике в соответствующем лексико-семантическом поле нет приемлемого эквивалента. В таком случае перевод на уровне слов заменяется переводом на уровне тек-

ста, учитывающего ситуацию и сводящегося, в конечном счете, к ситуативному переводу.

Модуляции исходного текста всегда ориентированы на современника перевода, использование языковых средств должно соответствовать той системе стилистических и социальных ценностей, которая принята в данном обществе. Это ярко проявляется при сравнении разновременных переводов одного и того же текста. Не следует забывать, что стилистические и окказиональные трансформации совершенно различны по своему характеру. Окказиональные, или индивидуальные трансформации свойственны только переводчику. Здесь наиболее видны пристрастия, вкусы переводчика. Благодаря окказиональным трансформациям переводчика, ставящие перед собой сверхзадачи, имеют возможность больше проявить себя именно в индивидуальной манере. Обычно прагматическая «сверхзадача» обуславливается факторами, не имеющими прямого отношения к тексту оригинала: стремлением переводчика оказать желательное воздействие на перевод, отношением переводчика к содержащимся в тексте идеям или к творческой манере автора, заинтересованностью к какой-то части содержания подлинника. Стремясь выполнить прагматическую «сверхзадачу», переводчик может отказываться от достижения максимальной эквивалентности, довольствоваться неполным или выборочным переводом, добиваться воздействия на читателя, не совпадающего с намерениями источника.

Существование прагматической сверхзадачи определяет оценку перевода, поэтому перевод оценивается не только по степени точности, верности оригиналу, но и по реализации выполненных задач. Степень этого соответствия называется прагматической ценностью перевода. Перевод может быть адекватным при наличии прагматической ценности даже при значительных отклонениях равнозначности переводу.

Прагматическая сверхзадача может быть связана со стремлением отразить в переводе те черты оригинала, которые могут оказаться не переданными при эквивалентной передаче исходного сообщения. Это формально-

структурные особенности исходного языка, культурно-этнографические элементы, не играющие функциональной роли. Обычно подобная установка приводит к нарушению нормы переводного языка, вследствие буквального воспроизведения чуждых ему особенностей исходного языка.

К иным результатам приводит стремление дать упрощенный перевод в соответствии с прагматической задачей, если не заботиться о воспроизведении эмоционально-стилистических и ассоциативно-образных аспектов, какие мы наблюдаем в оригинале. Такая задача возникает, когда переводчик стремится поскорее познакомить читателя с переводом. Следует разграничить три варианта перевода: поверхностно черновой (образный), рабочий и официальный (готовый к публикации). Переводы первой категории выполняются на уровне указания на ситуацию, на содержание оригинала, допуская отклонение от литературной нормы. Переводы второй категории передают полностью предметно-логическое содержание оригинала, соблюдая нормы переводного языка. Но они могут быть не вполне адекватными, прибегая к пояснениям для восполнения потерь информации. И, наконец, переводы третьей группы воспроизводят все элементы содержания оригинала, включая и его прагматический потенциал. Такие переводы создают равноценную замену оригиналу на переводном языке.

Особым видом прагматической сверхзадачи является модернизация оригинала. Время и место перевода может сильно отличаться от времени и места оригинала. Нередко перевод имеет дело с оригиналом, созданным в иную историческую эпоху, в том числе и на его родном языке, изменившемся за этот период до такой степени, что его прежнее состояние представляет как бы иной язык. Перевод текста, отдаленного по времени, ставит перед переводчиком ряд дополнительных проблем. Если оригинал не современный, то и язык оригинала должен учитывать это при употреблении архаизмов. Однако переводчик должен избегать выражений, не употребляемых в современной речи. В таком случае модернизация включает в себя элементы стилизации. Переводчик может выполнить уже другую задачу, не связанную с более и

менее точным воспроизведением оригинала, выполняя, например, пропагандистскую, просветительную и другие задачи. Однако профессиональный переводчик избегает тенденциозности, искажающей перевод. Здесь-то и выполняется задача, сверхзадача, проявляется чувство меры при их выполнении. Такие отказы от точности нередки в практике перевода. Так П.Мериме в переводе пьесы Гоголя «Ревизор» заменил слово ^огороде «чем больше сносят» словами «чем больше строят», опасаясь, что сохранение варианта оригинала может быть истолковано как намек на деятельность императрицы, по воле которой в то время сносилось много домов для устройства Больших бульваров Парижа (Комиссаров В.Н. Теория перевода. –М.: Высшая школа, 1990. – С.226). Или же В.Курочкин и другие переводчики переименовывают переводы песен Беранже, чтобы вложить в перевод политическую сатиру на порядки в тогдашней царской России. Или, наоборот, из-за цензурных соображений применялись купюры, то есть изъятия из текста.

Рассмотрим же, как теоретические положения реализуются на практике при переводе Мериме тургеневского рассказа «Жид (Еврей)». Какие при этом наблюдаются трансформации?

Грамматические трансформации, синтаксические.

1) Мы любили и уважали Николая Ильича за его доброту, здравый смысл и снисходительность к нашей братье молодежи.

– Nous aimions et respections Nikolai Ilitch pour sa bonté, son rare bon sens, et l'indulgence avec laquelle il nous traitait, nous autres jeunes gens.

Переводчик прибегает к синтаксическим изменениям, вводя придаточное относительное, а также заменяя собирательное «братье молодежи» более конкретным «nous autres jeunes gens».

2) Он был высокого роста, плечист и дороден; его смуглое лицо, «одно из славных русских лиц», прямодушный, умный взгляд,

C'était un homme robuste, de haute taille, dux épaules carrés; il avait «une de ces belles figures russes», comme dit Lermontof, le teint hâlé, le regard franc,

кроткая улыбка, мужественный и
звучный голос- все в нем нрави-
лось и привлекало.

intelligent, un sourire plein de bonhomie,
la voix mâle et sonore; en un mot, tout
plaisait et attirait dans cette personne.

В этой фразе видим много перестановок. Автор меняет местами характеристики персонажа, создавая свой ритм фразы. Ссылка Мериме на Лермонтова вводится в перевод через кавычки. прилагательное «кроткая» передается словосочетанием «plein de bonhomie», «мужественный» голос - через существительное в роли прилагательного «male».

Лексические трансформации.

1) Она старалась вырвать три курицы и утку. И дальше у Тургенева: «курицы кудахтали, утка крякала».

- Elle s'efforçait d'arracher ... un cochon de lait et trois poules... «Les poules et le petit cochon criaient à qui mieux mieux».

Переводчик вообще изменяет часть текста, вводит «молочного поросенка», вероятно, это, по его мнению, больше соответствует французским реалиям.

2) Но теперь дело стало гласно и не могло миновать «сведения начальства».

Mais nous n'étions pas seuls, et je ne pouvais me dispenser d'en faire mon rapport à nos officiers supérieurs.

Здесь разница лексико-стилистическая. В русском языке лексика и манера подачи более специфические, тогда как в переводе ситуация выражена просто и нейтрально. Есть изменения и в актуальном членении предложения. Так «дело стало гласно» становится «мы были не одни», «дело не могло миновать сведения начальства» становится «я не мог не сделать доклад начальству».

3) Страшная, предсмертная тоска.

- L'anxiété qui précède la mort.

У самого Тургенева «смертная тоска» подается как «предсмертная». Мериме часто заменяет прилагательное другой конструкцией, словосочетанием, которое, будучи эквивалентным, использует другие части речи.

4) Закон повелевает – La loi est formelle.

Другим в пример – Qu'il serve d'exemple.

Сослагательное наклонение ярче выражает волю, приказ.

5) Малый был я здоровый, кровь с молоком. J'avais la santé et la vigueur de mon âge.

Думал потешиться – je pensais tuer mon temps.

Фразеологизмы представляют сложность для переводчика, и он находит для них индивидуальные эквиваленты. Окрашенная лексика при этом, как правило, нейтрализуется.

6) От нечего делать пустился я играть. – Le desoeuvrement me jeta dans le jeu.

В предложении заменяется подлежащее, изменяется порядок слов, но экспрессивность остается.

7) Я бросил ему червонец. – Je lui jetai un ducat.

Слово «червонец» передано словом «ducat», обозначающее нерусскую – западноевропейскую, венецианскую денежную единицу.

8) Судорожно зарыдала. – Elle se mit à sangloter convulsivement.

Она плакала навзрыд. – Elle pleurait toujours.

Мериме не передает состояние, заменяет все это нейтральной лексикой. «Плакала в три ручья» – дается только один вариант «Elle pleurait toujours».

9) По ночам спал я довольно плохо. – Mon sommeil était agité.

Во французском варианте опущено «по ночам», подлежащее вместо «я» становится «мой сон» - «mon sommeil».

10) На ней лица не было. – Ses traits étaient décomposés.

Безличное предложение в русском языке приобретает другую структуру. Французский язык с его прямым порядком слов, с подлежащим на первом месте диктует трансформации подобного рода.

11) Авось, мы упроеим его. – Il se laissera peut-être attendre.

На первом месте во французском варианте оказывается не «мы», а «он» – тот, кого надо упроеить.

12) «Да его пока повесят», - про- – Mais on l'aura pendu avant notre re-
стонала она. tour, me dit-elle en gémissant.

Употребление будущего предшествующего в подобных контекстах является регулярным, т.е. системным.

«Простонала она» выражено более сложной структурой с употреблением дееспричастия, чтобы отделить то, что она сказала от того, как она это сделала.

✓ 13) Побежала стремглав в поле. – Se précipita du côté de la plaine.

Здесь есть потеря в передаче русского значения, но ситуация выражена, правда, несколько ослаблен художественный нюанс, но не смысловой.

✓ 14) Голова ее закинулась назад, Elle jeta la tête en arrière et tomba in-
она упала на землю. ... Ее унесли. animée. On l'emporta.

«Голова закинулась» затем у Блока, Ахматовой и других уточняется на знаковое «запрокинулась».

«Закинула голову» - регулярно переводчик заменяет безличную конструкцию («закинулась») на личную («она закинула») и «упала на землю» заменено на «inanimée» - «безжизненный, бездыханный». Переводчику важнее передать состояние персонажа, Мериме находит нужный адекват.

- 15) Бедняк замирал от страха. – Le pauvre diable se mourait réellement de peur.

Точнее было бы «со страху».

Грамматические трансформации (синтаксические, морфологические).

- 1) Дней пять или шесть, господа, – Pendant cinq à six jours, la juive ne
я все думал о моей жидовке. me sortit pas de la tête.

Фраза перестроена с использованием свободных и обязательных явлений. Так временное ограничение «пять-шесть» – приводит к употреблению *Passé simple*, тогда как в русском нормой является употребление глагола прошедшего времени несовершенного вида. Но то, что подлежащее «я» заменяется на «la juive» и соответственно фраза перестраивается, – свободный выбор переводчика.

- 2) Но, к несчастью Гиршеля, генерал исполнение долга ставил выше сострадания. Mais malheureusement pour Hirschel, le général, quand le règlement parlait, faisait taire la compassion.

И снова Мериме меняет синтаксис, вводя придаточное времени, употребляет каузативную конструкцию – *faire taire*, во фразе становится больше глаголов, она приобретает динамичность, даже ритмичность.

- 3) «Сообразно законам повесить еврея, – проговорил он протяжно и с видом человека, принужденного скрепя сердце принести свои лучшие чувства в жертву неумолимому долгу, – повесить!» – «Que l'on pend, ce juif, conformément aux ordonnances militaires, dit-il avec lenteur, qu'on le pend!»

Здесь переводчик делает купюру, он опускает часть текста «принужденного скрепя сердце», оставляя основную информацию. Морфологические

изменения выражаются в замене инфинитива «повесить»» сослагательным наклонением «пусть повесят», акцентируя, что этим занимаются те, кому это положено.

При переводе тургеневского рассказа «Жид (Еврей)», как и в других случаях, Мериме следует законам и правилам перевода, соблюдая системные отношения между языками. Стилистические трансформации – это такие системные изменения, которые приняты в обществе, в соответствии с нормами, в переводном языке, касающиеся научного, публицистического, делового стилей. Оказиональные же трансформации – это художественные изменения, указывающие на личность переводчика, о чем было сказано выше. И в этом рассказе «Жид (Еврей)» наблюдается преобладание okazjiональных, то есть личностных трансформаций. Регулярны замены русских безличных и неопределенно-личных предложений личными предложениями, что соответствует нормам французского языка. Прослеживается тенденция переводить прилагательные словосочетаниями, содержащими существительные и другие части речи. В синтаксическом плане Мериме по-прежнему допускает купюры, делает предложения более динамичными, ритмичными. Окрашенная лексика переводится более нейтральной. Иными словами, Мериме в переводе проявляет себя и как реалист, и в то же время как романтически настроенная личность, действующая не только «по законам самой жизни», но и «по законам идейно-эмоционального мира субъекта» (П.И.Гражис).

ГЛАВА ШЕСТАЯ. К вопросу об особенностях стилистики перевода Мериме рассказа «Петушков».

Рассмотрим личностные особенности в стилистике перевода Проспера Мериме рассказа «Петушков» И.С.Тургенева. Однако вначале обратим внимание на творческую манеру самого автора оригинала. «Петушков» написан в том же 1847 году, что и «Жид (Еврей)». Писатель изображает своего героя как лицо реальное, конкретно-историческое и в то же время испытывающее воздействие невидимых сил природы, подчиненное законам «необходимости». Он наделен приметами быта, то есть эпохи, страны, своего круга или класса. Но бытовое, реальное у Тургенева, не вмещающаяся в земные пределы, восходит к изображению всего мироздания, делая произведение двуплановым. Такая черта — признак сложного метода писателя: приметы времени указывают на реализм автора, а отображение природной жизни свидетельствует о романтической направленности творческого метода. По мысли Г.А.Бялого, рассказ у Тургенева о человеке, об отдельном эпизоде его жизни почти всегда превращается в рассказ о его «судьбе», исторической и внеисторической (Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. —М.—Л.: Советский писатель, 1962.—С.239).

Романтический пафос в рамках Тургенева порождается особенностями мировоззрения писателя, его эстетического идеала. Личность понимается им как носительница первозданной духовности. Романтики рассматривали духовную сущность человека в ее стремлении к абсолюту, к гармоническому слиянию с целым. В таком случае активность личности понималась ими как пересоздание мира. Поиски прекрасного в человеке, который, благодаря своей свободной сущности «вечной» и «неизменной», способен возвыситься над конкретно-историческими условиями и одухотворить жизнь, близки Тургеневу. Настроенный романтически, писатель переосмысливает первоначала жизни, противопоставляя духовную значимость человека буздуховной, «слепой» природе.

А.И.Батюто замечает: «Эта скоротечная, в форме романа, летопись неизбежно грешила бы известным эмпиризмом, не обладай Тургенев, даже при его огромном изобразительном таланте и человеколюбии, глубоко философским мышлением, неизменно включавший как обычные социальные и психологические явления своей эпохи в вечный поток мировой жизни» (Батюто А.И. Тургенев - романист. -Л., 1972. -С.95).

В.М.Маркович находит у Тургенева, как и вообще у русских писателей XIX века, проблему «изучения соотношения элементами реалистического изображения с другими элементами реалистического изображения действительности» (Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. -Л.: ЛГУ, 1982. -С.61).

Эту гносеологическую мысль, вполне возможно отнести и к рассказу «Петушков». «Натура» воспринималась романтиками не просто как природная совокупность, а как глубоко духовная организация. Понимание человека как сущности, способной к внутреннем преодолению мирового зла, было источником романтических черт в реализме Тургенева. Абсолютное внутреннее «я» - это высший критерий человека с его стремлениями к «идеальным» движениям. Поэтому художественный метод и стиль писателя определяются взаимосвязью социально-исторического плана с вселенским космическим планом. Соотнесенность конкретно-исторического начала с вневременным проявляется в двух формах. Во-первых, в романтическом возвышении над преходящим, в слиянии с гармонически прекрасным как сущностью всего мироздания, когда мечтатель и созерцатель выступают со своим богатым духовным миром как победители. Во-вторых, эта соотнесенность человека и природы как мирового целого проявляет себя в настроениях мировой скорби. Человек осознает в себе абсолютно высшую духовность, осознавая, что он противостоит самой природе. Таким образом, романтические тенденции связаны с мироощущением не только на основе гармонии, но и на мировой скорби из-за одиночества человека. Герои Тургенева видят смысл жизни в ее

восприятию как вечного, нравственно прекрасного вопреки кратковременности бытия.

Так, герой рассказа «Петушков», поручик, влюбляется в мещанку Василису - дочь продавщицы хлебных изделий, у которой денщик покупает для своего хозяина булки. Петушков - человек, который до того никогда и ни с кем еще не говорил о любви. Он просто не способен на признание, даже переселясь к Василисе на жительство. Василиса же только смеется над ним, над его «немотой». Заметим, что Петушков малообразован, небогат, рос сиротой. В конце концов, Василиса находит себе «пару» - такого мещанина, как и сама.

Изображение героев в рассказе реалистично. Портреты и речевые характеристики - это признаки людей из определенной социальной среды, занимающих в обществе конкретное место. Их речь информирует нас о происхождении героев. Слово «поразобравшись» говорит о слуге Онисиме как о «природном петербуржце». Детали в рассказе свидетельствуют скорее о наблюдателе, чем о самом предмете. Внешний мир существует для Тургенева не как самодовлеющая сфера, воплощенная в рассказе безотносительно, а как комплекс явлений, соотносимых с автором или рассказчиком. Всякое описание у Тургенева направлено на объект наблюдения. Например, диалект Онисима - это деталь, характерная и для рассказчика, и особенно для автора (Чудаков А.П. О поэтике Тургенева - прозаика// И.С.Тургенев в современном мире. -М.: Наука, 1987. -С.256).

Вещный мир у Тургенева изображен не в индивидуализированном психологическом восприятии героев, а с точки зрения автора. Состояние природы созвучно настроению персонажей. Господствующее авторское начало в мировидении писателя проявляется особенно хорошо при фиксации красок изображаемой действительности. Однако автор не растворяется в картинах бытия, в эстетизме визуальной реальности, демонстрируя отстраненность своей позиции при описании героев, их времени и места жительства.

Изображение быта в рассказе «Петушков» реалистично. Автор-рассказчик пассивен как участник событий. Однако активен как наблюдатель; он смотрит, слушает, комментирует. Рассказчик - «визионер» (А.П.Чудаков), разглядывающий мир в любом художественном произведении Тургенева. Объективная действительность для него - повод к рефлексии и медитации. Медитация же реализуется в образах, в творчестве писателя. Характерная особенность Тургенева в целом состоит в том, что его манера представляет психический поток, прерываемый авторскими комментариями, в отличие от потока сознания Джойса и Пруста.

Тургеневский психологизм соотносится с реакцией рассказчика и автора. Субъект - герой или автор стоит в центре внимания. И потому мы различаем голос писателя, его образную речь в толпе героев. Тургенев видит мир, прежде всего, как художник и стремится запечатлеть его эстетическую и общественную ценность, которую он ощущает в каждом своем произведении, в том числе и в рассказе «Петушков». Писатель изображает в нем человека, сначала весьма заурядного - не богатого ни имуществом, ни духовно. Однако затем любовь возвышает его, усиливая личностные качества. Благодаря своим душевным нравственным началам герой получает возможность избежать пагубного влияния уродливого бытового мира, почувствовать прелесть жизни. Любовь дает ему ощущение гармоничной связи с этой жизнью, ее полноты. Но Василиса обманывает Петушкова, смеется над его чувствами. А непосредственный начальник его майор - самодур и деспот, накричав на героя рассказа, узнав о хандре влюбленного Петушкова.

Как видим, стиль рассказа реалистичен, лексика конкретна. Речь героев, их описание выдержаны в духе натуральной школы, но само чувство одиночества, трагичности бытия из-за несчастной любви роднит Тургенева с романтиками. Налицо космический пессимизм, который наблюдается и в других произведениях писателя.

Ирреальные силы приносят тургеневским героям зло и в то же время помогают побороть это зло, которое губит их. Принцип двоемирия у писате-

ля амбивалентен. Герои же Мериме подавляются этими иррациональными силами, рок делает их несчастными, как, впрочем, и тургеневских персонажей. Мериме хорошо понимает русского коллегу. Двуплановость изображения сближает обоих писателей, настраивает Мериме в переводе на адекватность. В рассказе есть реалии, заслуживающие особого разговора. Это фоновые знания, образующие частично то, что называют массовой культурой. Иными словами, это сведения, известные всем членам национальной общности. А также общечеловеческие знания, связанные с культурой, географическими, социальными и другими аспектами. Значимость подобного рода знаний при переводе очевидна. Практически любое повествование разворачивается в условиях материальной или духовной жизни общества, и потому учет фоновых знаний является непрямым фактором адекватности перевода.

Не менее важна и такая особенность перевода, как релевантность, то есть способность различать лингвистические единицы. Это важно при «сталкивании» двух языков, двух культур, когда выявляются их общие и различные черты.

Разграничение национальных и интернациональных элементов в фоновых знаниях позволяет рассматривать этот вопрос в лингвистической плоскости, с использованием одного из ключевых понятий современного языкознания - понятия пресуппозиции (предшествующей позиции). Когда информация носит интернациональный характер, общность пресуппозиций наблюдается как в языке - источнике, так и в языке - приемнике. Эта общность при переводе с одного языка на другой обеспечивает адекватное понимание текста. Идентичность предварительной информации делает излишним дополнительное объяснение смысла переводимого текста. Эта формула общеизвестна. Ситуация усложняется, когда речь заходит о событиях сугубо национальных. В таком случае у разноязыких коммуникантов отсутствует общий фон пресуппозиций. Высказывание понятно лишь носителю языка-источника. Отсутствие наличия общих фоновых знаний вызывает при переводе необходимость дополнительной информации, раскрывающей в языке-

приемнике именно то, что в оригиналах относится к области пресуппозиций. Эквивалентность перевода достигается только при условии филологического его обеспечения, именно филологическая эрудиция переводчика призвана играть решающую роль. Способы обеспечения филологической информации могут быть разными: это и введение дополнительных, пояснительных сведений, отсутствующих в оригинале, и подстрочные замечания, и различного рода комментарии. Все эти способы имеют одну цель: раскрыть, сделать очевидной информацию, без которой понимание иноязычного текста не может быть полным.

К фоновым знаниям относятся также сведения, связанные с географическими, социальными и другими особенностями жизни народа. При этом под такими особенностями подразумеваются не только уникальные явления, но и общие для жизни народов, языки которых взаимодействуют. Сведения о материальной стороне общественного бытия носят национальный характер, к ним применимы соображения, относящиеся к национальной информации, создающей подтекст и требующей введения в текст перевода дополнительных разъяснений.

Различия в организации жизни того и другого общества, могут влиять на характер межсистемных языковых отношений. Специфика жизни народов, выявляемая в процессе сопоставления языков, может быть настолько стабильной, что обусловленная этим специфика межъязыковых отношений становится постоянной. Например, многоэтажные здания существуют и у нас, и во Франции. И это типично для двух стран - факт незыблем и общеизвестен, принадлежит к типично фоновым знаниям. Комплекс типичных и специфических факторов и представляет собой фоновую информацию, без учета которой перевод был бы неточным. Правда, доля филологических поисков тут невелика, поскольку такая специфика реальности доступна всем членам национального и даже межнациональной общности, независимо от уровня образованности.

Межъязыковые различия фиксируются словарем. Но при переводе это не снимает вопроса о важности учета фоновой информации.

Специфика в наименовании некоторых объектов реального мира ведет к тому, что из них образуется особый пласт. Различие же, обусловленные неодинаковой сегментацией (делением речевого потока на лексические единицы) объективной действительности языком - источником и языком-приемником, относятся к национальным фоновым знаниям. Это связано также с различной мотивацией некоторых социальных явлений. К фоновой информации относятся случаи употребления имен собственных в переносном смысле, такие выражения сугубо национальны. Замена в них, к примеру, собственного имени необходима для правильного истолкования. Следовательно, эти необычные соответствия в плане межсистемных отношений являются строго регулируемые, они по-своему системны. Информация, передаваемая ими, приобретает значимость именно при сопоставлении двух культур, в широком смысле двух цивилизаций. Ее знание является обязательным условием адекватности, полноценности перевода.

Наконец, основными знаниями считаются сведения, касающиеся реальных предметов действительности и в то же время выступающие как их некий символ. При этом денотативная (содержательная) информация смыкается с аллюзивной (подтекстовой). Сливаясь, оба значения приобретают знаковость как символ родины. И уже таковой смысловой комплекс подлежит передаче тем или иным способом с исходного языка на переводной.

Итак, продолжим анализ переводов тургеневских произведений, в данном случае рассказа «Петушков», с точки зрения как личностных, так и узусальных, системных трансформаций, осуществленных П.Мериме при переводе этого двухпланового произведения И.С.Тургенева.

Стилистические трансформации.

1) Он происходил от бедных родителей, пяти лет остался круг-

Fils de pauvres parents, il était resté orphelin à l'âge de cinq ans/ Tombé

лым сиротой и попал на руки к опекуну. Имущества у него по милости опекуна, не оказалось никакого; он перебивался пополам с грехом (с грехом пополам - выражение, в котором Тургенев переставляет слова).

entre les mains d'un tuteur et complètement dépouillé par celui-ci de son mince héritage, il dut aviser tant bien que mal aux moyens de soutenir son existence.

В этом отрывке доминируют индивидуальные трансформации. Переводчик перекраивает содержание фраз, часть первой фразы (попал на руки к опекуну) оказывается во второй, русская идиома «круглый сирота» передается как просто «сирота». Убираются все безличные конструкции («не оказалось») на личные. Предложения строятся по модели: подлежащее - глагол (сказуемое) - дополнение, что свойственно французскому языку. Отсюда «перебивался» имеет эквивалентом «он должен был думать о средствах существования». Образное «с грехом пополам» передается нейтральным «кое-как» - *tant bien que mal*.

2) Роста он был среднего, несколько сутуловат; лицо имел худое и покрытое веснушками, впрочем, довольно приятное, волосы темно-русые, глаза серые, взгляд робкий, частые морщины покрывали его низкий лоб.

C'était un homme de taille moyenne et vouûté; il avait la figure maigre et couverte de taches de rousseur, les traits du reste assez réguliers, les cheveux bruns, les yeux gris, le regard timide, le front bas et tout ridé.

Здесь наблюдаем комплекс изменений, к которым прибегает Мериме. Он опускает некоторые вещи, например, «слегка сутуловат» у него просто «сутулый», «волосы темно-русые» - просто «темные», «частые морщины покрывали его низкий лоб» становится «низкий, весь в морщинах лоб!».

Все это индивидуальные эквиваленты, которые выбирает переводчик, считая, что смысл от этого не пострадает («темно-русые» или «темные волосы» - для французского читателя совершенно не важно). Меняя предложение «частые морщины покрывали его низкий лоб» на «le front bas et tout ride», он делает это предложение более динамичным, ритмичным, получая из него одну синтагму или даже ритмическую группу.

Грамматические и лексические трансформации.

- | | |
|---|--|
| 1) За людьми, осужденными судьбой на жизнь однообразную и невеселую, часто <u>водятся разные привычки и потребности</u> . | Les hommes condamnés par le sort à une existence monotone et solitaire ont ordinairement des manies. |
|---|--|

Снова предложение становится из безличного личным с французским прямым порядком слов, с подлежащим на первом месте, а «разные привычки и потребности» выражено одним словом «мании», которое по экспрессивности и яркости превосходит оригинал.

- | | |
|--|---|
| 2) Петушков по утрам, за чаем, любил кушать свежую белую булку. Без этого <u>лакомства</u> он жить не мог. | Pétouchkof aimait à manger tous les matins, à son déjeuner, une boulka blanche et sortant du four, cette délicatesse lui était devenue indispensable. |
|--|---|

Сравним эти тексты.

У Тургенева - два предложения, Мериме делает одно. В последнем из них актанты (участники) меняются местами «без этого лакомства он жить не мог» - «это лакомство ему стало необходимым». Настоящее время глагола у Тургенева заменено на плюквамперфект у переводчика, что скорее подчеркивает результат, а в оригинале это состояние. Интересно, что переводчик не дает перевода, оставляя русское слово «булка», конечно, написанное по-французски. А русская реалья «за чаем» находит свой эквивалент в «à son

dejeuner», хотя точнее было бы «а son petit déjeuner», просто «dejeuner» - это «обед».

3) Булки все поразобравшись, - ответил ему Онисим, природный петербуржец, странной игрою случая занесенный в самую глушь южной России.

Toutes les boulka sont distribuées, lui répondit Onicime, franc Petersbourgeois qu'un étrange caprice du sort avait jeté au fin fond de la Russie.

Русское слово «булка» не имеет во французском языке множественного числа. «Поразобравшись» не нашло точного эквивалента. «Distribuer» - это раздавать, распределять, а в тексте все булки были раскуплены. «Коренной» тоже не имеет точного эквивалента, это слово означает происхождение. «Origine» - откуда этот человек, а не какой он - franc - прямодушный, сердечный; «Южная» - опущено.

Рассмотрим диалог булочницы и Петушкова.

4) - Булку пожалуйста, - с приятностью сказал Петушков.

- Je voudrais avoir une boulka, lui dit Pétouchkof d'un air aimable.

- Вышли булки, - пропищала толстая баба.

- Il n'y en a plus, -répondit la grosse femme d'une voix piailleuse.

- У вас нет булок?

- Vous n'avez pas de boulka?

- Нетути.

- Pas une.

- Как же это? Помилуйте.

- C'est singulier! Permettez.

Я у вас каждый день беру булку и плачу аккуратно.

Je vous prends une boulka tous les jours et je vous paye exactement.

Баба молча смотрела на него.

La boulangère le regarda sans dire mot.

- Возьмите крендель, - сказала она, наконец, зевая. - Или паплюху.

«Prenez un craquelin ou une papluka, - finit-elle par lui répondre en baillant et en faisant un signe de croix sur la bouche.»

- Не хочу, - сказал Петушков и даже обиделся.

- Как угодно, - пробормотала баба
и захлопнула форточку.

В переводе диалог между персонажами сглажен. «Вышли булки», «нетути» теряют свою разговорную окрашенность, а принадлежность этой лексики людям определенного сословия не выражена. В последнем предложении вместо «захлопнула форточку» находим «en faisant un signe de croix sur la bouche», т.е. «перекрестившись», что даже не понятно, потому что булочница закрыла свое окошко без сожаления, извинений, а крестное знамение выражало бы именно это. В таком случае в переводе снова сказывается менталитет француза, который знал своих французских коммерсантов, но не их русских собратьев, которые не привыкли церемониться с клиентами, тем паче с обычными.

5) Ступайте себе, господин, ступайте.

Allez-vous en, monsieur, passez votre chemin.

В оригинале повторяется два раза одна и та же форма, один глагол, а в переводе ему соответствует («лучше») вторая часть, тогда как первый глагол имеет оттенок («прогнать»), которого нет в речи персонажа, она просто просит его пойти к себе.

Приведем еще пример эпистолярного стиля, где соблюдены все правила этого жанра и в оригинале, и в переводе.

6) Милостливая государыня - Василиса Тимофеевна! Будучи от природы человек необидчивый, как же бы мог я вам причинить неприятность... А впрочем, покорнейше прошу вас на меня не гневаться. Я человек чувствительный и всякую ласку весьма

Chere mademoiselle Vassilissa Timofeievna, Etant de ma nature un homme inoffensif, comment aurais-je pu vouloir vous occasionner quelques désagréments? ... Ensuite je vous prie instamment de me pardonner. Je suis un homme sensible et me sens toujours très-touche et très-reconnaissant, et

чувствую и благодарен. Впрочем,
с моим почтением пребываю Ваш
покорнейший слуга Иван Петуш-
ков.

très-sensible.

Au reste, je suis avec respect, Votre
très-devoué serviteur. Ivan Pétouchkof.

И в оригинале, и в переводе, как видим, это особый стиль, со своими оборотами, лексикой, манерой обращения и т.д.

Но есть в каждом языке и нюансы. Там, где в русском - восклицательный знак, во французском - запятая; где в русском - превосходная степень, во французском аналитическом - это не суффикс («покорнейший»), а слово, заменяющее его («tres» - «очень»). Тургенев в письме Петушкова специально вставляет ошибки в глаголе «чувствую», показывая его образовательный уровень. Мериме, конечно, не мог этого заметить и никак не реагирует на это.

Таким образом, и в переводе рассказа «Петушков» Тургенева продолжена та же тенденция. А именно, Мериме приспособливает текст своего русского коллеги к восприятию французского читателя, осуществляя как личные, так узуальные, системные трансформации. Он заменяет безличные конструкции на личные, строя предложения по французской модели, когда соблюдается прямой порядок слов, то есть сначала идет группа подлежащего, затем группа сказуемого. Национально окрашенной, специфичной лексике приходит на смену умеренная, нейтральная, более привычная для восприятия перевода во Франции, характерная для французского языка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Гипнотизм в «Странной истории» в переводческом контексте Мериме.

В повести «Странная история» И.С.Тургенева идея двоемирия выражается в наличии иррациональных, инобытийных сил, сочетанием их с бытовым планом, на эмпирическом уровне. Двуплановость этого произведения - яркий пример отображения реалий жизни, когда воздействие рока на судьбу невозможно представить никакими другими рациональными средствами изображения, кроме как романтико-фантастическими.

Ученые отмечают неослабимый интерес Тургенева, особенно в его позднем творчестве, к таким романтически усиленным изобразительным возможностям в реализме, как фантастика.

Исследователь Ю.В.Лебедев пишет: «Рассматривая сквозь временное и конечное коренные вопросы человеческого бытия, Тургенев невольно укрупняет характеры героев и выводит проблематику произведений за пределы узкого временного круга» (Лебедев Ю.В. Преходящее и вечное в художественном миросозерцании И.С.Тургенева //И.С.Тургенев: мировоззрение и творчество, проблема изучения. Межвузовский сборник научных трудов. - Орел, 1991. -С.5).

В то же время Г.Б.Курляндская отмечает следующее: «Герои-персонажи в произведениях Тургенева определяются не только социально-историческими причинами и естественными влечениями, но также действием «тайных сил жизни», внеисторических, таинственных стихий, которые иногда пробиваются наружу» (Курляндская Г.Б. - Эстетический мир И.С.Тургенева. -Орел. 1994. -С.51).

По мнению Г.А.Бялого, в «Странной истории» проблема гипноза поставлена с еще большей остротой, чем в рассказе «Собака»: «Прежде всего сила подчинения, о которой идет речь (...), приобретает черты какой-то жуткой неотразимости» (Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. -М.-Л.: Советский писатель, 1962. -С.215).

А.Б.Муратов также выделяет в этой повести проблему гипноза, изображая картины бытия с помощью такого сильного романтического средства, как фантастика (Муратов А.Б. Тургенев - новеллист. -Л.: ЛГУ, 1985. -С.80).

Таким образом, «Странная история» считается фантастическим произведением. Инобытийные силы влияют на рассказчика, если не напрямую, к примеру, вызывая призрак умершего слуги, то через Василия, проводящего гипнотические сеансы. Именно мещанин Василий, пропуская через себя опосредованно ирреальные силы, оказывается их проводником. Они вторгаются в жизнь людей, например, Софи Б. роковым образом.

Писатель углубляет тему взаимодействия человека и ирреального мира. Герои Тургенева обусловлены не только законами бытия, но и Вселенной. Обращает на себя внимание, такая тонкость, что обнаружение иррациональных, инобытийных сил происходит не сразу там, где их ждут традиционно, в момент применения Василием гипнотического сеанса с рассказчиком. Присутствие злых, роковых сил выражается в их воздействии через Василия, сделавшегося юродивым. Проводя гипнотические сеансы, он уже является проводником таких сил в данном двухплановом произведении Тургенева.

Вначале Тургенев вроде бы нагнетает в этой повести атмосферу романтических тайн и ужасов. Далее писателем создается видимость эмпирического, научного объяснения гипноза и телепатии. Факты телепатии между юродивым и рассказчиком, юродивым и Софией переходят из психофизиологической в социальную область. Василий - мрачный фанатик-сектант, он вводит в транс дочь дворянина, которая жаждет самоотвержения, ищет наставника, того, кто бы мог показать ей пример самопожертвования. Таинственная сила юродивого Василия подчиняет Софию, подавляя в ней волю. Такова коллизия повести, близкая по духу современникам Тургенева.

Жизнь молодой, духовно одаренной девушки уходит на служение юродивому. Кажется, грубость Василия абсурдна, но для Софи, для выбранного ею пути, согласно ее моральным и психологическим побуждениям, это возвышенно, необходимо, другого пути для людей ее типа нет. Такой выбор,

приобретая актуальность, ассоциируется с социальными вопросами. Тургеневу было известно, что многие молодые дворянки были участницами революционного движения в России (например, «нечаевское дело» А.Д. Дементьева, арестованная в 1869 году). Таковы параллели тургеневской повести с «магнетизмом» общественной жизни.

Современнику было ясно, какие тургеневские девушки имелись ввиду, какой «тайной» силе они подчинялись, за какими наставниками шли, в частности, Софи - героиня «Странной истории». Проблема самопожертвования, в конце концов, решается автором, исходя из бытовых реалий. Подчинение одной воли другой обусловлено жадой подвига. Сострадание ближнему, желание сделать жизнь людей счастливее, свободной сочетается с проблемой счастья и долга, характерной для писателя. Реальное изображение Софи, гостиницы, уездного городка, самого дворянства, матери Василия, слуг с их речью, составляющей социальные характеристики, - все это входит в бытовой план как единое целое, сложенное из этих основополагающих единиц. Объяснения жадой подвига, самопожертвования биологически естественны. Гипноз же Василия, вызывающий души умерших, - эта разработка одной и той же темы - власти над человеком ирреальных, инобытийных сил. Эти силы приобретают в тургеневских «таинственных повестях» разные отличия. Эллис - вампир управляет волей рассказчика. Старик-раскольник рассеивает страхи Порфория Капитоныча, мещанин Василий вызывает душу умершего, и умерший отец приводит своего сына на берег моря. И все это совершается благодаря генетической памяти, заложенной в поколениях. Любовь как светлое чувство и в то же время как грозная сила просветляет героев и одновременно разрушает надежды, в результате человек оказывается жалким, несчастным и одиноким («Жид (Еврей)», «Петушков»). В «Странной истории» человек предстает как физическое существо и в то же время как носитель абсолютного начала. Не случайно Аратов признает родство души живой и умершей Клары Милич. Трансцендентные силы, воплощенные в девушке, возвышают Аратова над дисгармоничным миром. И он гибнет, не вы-

держав давления свыше, хотя писатель и приводит затем объяснение на эмпирическом уровне, что герой умер якобы из-за нервного потрясения. Принцип двоемирия реализуется в двухплановом способе изображения героев и в «Странной истории», и в «Кларе Милич (После смерти)». Нам представляется, Тургенев и Мериме стремятся отобразить существование ирреальных сил более сложно, с применением таких сильных романтических средств, как фантастика. Использование фантастики предвосхищает существование иррациональных сил. Налицо не увлечение естественнонаучным эмпиризмом, а изображение быта, выступающего в двухплановом состоянии с ирреальным миром. «Таинственное» у Тургенева в переводе Мериме выступает не эмпирическим мистицизмом, а фантастикой, как романтическим средством в реалистическом способе изображения.

При этом, как мы видим, стиль Тургенева плавный, без резких линий. Психологическое состояние героя отличается тонким переливом всевозможных красок, сложным переходом эмоций, сводится к выявлению основного идеально-психологического качества в его разнообразных проявлениях. С точки зрения синтаксиса, тургеневский текст пластичен, воспринимается как единое целое. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения входят в комплекс, читаемый легко, как большая единая фраза. Мериме же разбивает тургеневский текст на ряд самостоятельных простых предложений. В таком случае можно говорить уже не о единстве фразы, как у Тургенева, а о единстве абзаца.

Принципы ясности и простоты ложатся в основу тургеневской прозы. Писатель использует определения, делая их реальными, емкими.

Мериме делит тургеневское предложение на простые, что характерно для его творческой манеры, типично для французского языка. Однако простота и лаконичность тургеневской прозы в переводе сохранены. Равновесие глаголов и определений создают динамику, которая не диссонирует. Иными словами, Мериме при переводе Тургенева пользуется достижениями, приоб-

ретенными в процессе перевода произведений Пушкина, Гоголя, закрепляя и развивая достигнутое.

В своей эстетике Тургенев исходит из занятой им этической позиции, ценя в человеке «донкихотскую преданность идеалу». Он требует «осознанного идейно-нравственного отношения к жизни, холодность и бесстрастия для него равнозначны посредственности» (Курляндская Г.Б. Художественный метод Тургенева-романиста. -Тула: Приокское издательство. 1972. - С.54).

Писатель стремится показать итоги духовного становления, мучительных раздумий, на которые, как мы знаем, воздействуют не только законы общества, но и непостижимые мирозданческие, вселенские законы. Такое внутреннее содержание тургеневских героев находит свое отражение в синтаксисе. Смысл и природа психологических активов в переводе сохранены. Мериме использует различные виды трансформаций, обширные фоновые знания, выполняя стоящие перед ним задачи. Например, Мериме сокращает описание Итальянского бульвара в Париже с упоминанием расстрелов народа Наполеоном I и Наполеоном III по цензурным соображениям и согласно принципу «теории черты». Смысл которой заключен в сокращении тургеневского текста для придания ему большего динамизма (повесть «Призраки»).

Однако Мериме как переводчик не допускает в «Странной истории» искажения оригинала, исходя из правильного понимания творческих принципов автора этого оригинала, включая принцип двоemiрия. Перевод Мериме адекватен, художественно полноценен, еще и из-за больших фоновых знаний, технических сведений у переводчика, что позволяет ему делать правильный выбор языковых соответствий. Рассмотрим трансформации, произведенные Мериме при переводе «Странной истории» Тургенева. Как видим, Мериме избежал проблем в связи с возможной модернизацией оригинала при переводе. Архаизмы также не искажают тургеневский текст. Переводчик соблюдает литературную норму. Злободневность содержания обеспечена еще и стилем переводчика, который, разделяет творческие принципы автора оригинала

нала, изображает трансцендентный мир на эмпирическом уровне, сохраняя романтико-фантастический колорит.

Наконец, перевод повести общедоступен, о чем свидетельствуют правомерные замены специфических русских речений нейтральной французской лексикой, по мнению переводчика, эквивалентной оригиналу. Важно отметить, что русский и французские языки - из одной индоевропейской семьи. Однако корневое происхождение народов, безусловно, разное. Группы народов различны. Обладая различным менталитетом, языковые системы не могут быть полностью эквивалентны. Это и создает дополнительные трудности в переводе, в выборе языковых соответствий. Абсолютно точных их порой просто нет. Следовательно, надо использовать другие возможности. Фоновые знания, учитывая различные языковые особенности и менталитеты, являются необходимым фактором полноценного, адекватного перевода. И это хорошо демонстрирует нам такое творческое содружество в переводе, которое мы наблюдаем у И.С.Тургенева и П.Мериме.

Итак, рассматривая «Странную историю» Тургенева в переводе Мериме, используем при сравнении оригинала и перевода метод сплошного анализа текста, выявляя при этом все виды трансформаций, к которым прибегает переводчик, передавая содержание оригинала на французский язык.

Сразу же, на первой странице, с первых фраз мы видим синтаксические преобразования. Например.

... обязанности службы заставили
меня прожить несколько дней в
губернском городе.

...les devoirs de mon service
m'amenèrent au chef - lieu du gou-
vernement de T., ou je dus passer
quelques jours.

Глагол «заставили» в русском варианте заменен на более нейтральный «amener», а мысль о долженствовании выражена модальным глаголом «devoir», который появляется в придаточном относительном предложении, которого нет в оригинале. Мериме по-своему обращается с синтаксисом ориги-

нала, изменяя, таким образом, сам ритм текста, переставляя акценты. В вышеизложенном примере подчеркивается, что в губернском городе герой проведет «несколько дней».

Следующая фраза также претерпевает изменения и вместо русского причастия совершенного вида «разбогатевший» появляется относительное придаточное предложение «qui s'était enrichi», в котором употреблен плюсквамперфект, выражающий предшествование, а следовательно, и завершенность действие по отношению к прошлому (здесь «я остановился в гостинице» - во французском варианте - глагол «trouver», а не «descendre a l'hôtel»).

Далее переводчик продолжает перекраивать авторский синтаксис, в данном случае из одной большой фразы он делает несколько независимых предложений.

Говорят - она процветала недолго, что у нас весьма объективно; но я застал ее еще в полном блеске: новые мебели стреляли по ночам как из пистолетов, постельное белье, скатерти и салфетки пахли мылом, а от крашенных полов несло олифой, что, впрочем, по мнению полового, человека весьма изящного, хоть и не совсем опрятного, препятствовало распространению насекомых.

A ce que j'ai oui dire, la maison ne garda pas longtemps sa renommée, accident assez ordinaire chez nous. Alors elle était dans tout son éclat. Les meubles neufs jouaient et craquaient la nuit; on eut dit un feu de file. Les draps, les nappes, les serviettes sentaient le savon; les planchers peints avaient une forte odeur d'huile de chanvre, ce qui, au dire du premier garçon, gaillard, fort deluré, mais médiocrement propre, était souverain contre la propagation des insectes.

В этом отрывке наблюдается еще целый ряд трансформаций. Так «говорят» передано через личное местоимение «j'ai oui dire», в современном языке это соответствует «j'ai entendu dire»; «что у нас весьма обыкновенно». т.е. случай объективный - во французском это нейтральное слово «cas» заме-

нено у Мериме сильно окрашенным словом «accident», употребляемым в значении «несчастный случай». Русское «стреляли как из пистолетов» заменено расширенным адекватом «on eut dit un feu de file», это целое неопределенно - личное предложение с плюсквамперфектом сослагательного наклонения употреблено для выражения сравнения со следующими друг за другом выстрелами (file) - как выстрелы.

Русское безличное предложение «от полов несло» передается во французском языке личной формой «les planchers sentaient», что вполне является нормой французского языка. В этом же отрывке встречаются и совершенно индивидуальные лексические изменения. Например, у Тургенева «человек весьма изящный» в переводе заменено двумя прилагательными «gail-lard, fort delure», что означает «веселый, очень развязный». Видимо, Мериме считает эти качества более подходящими людям этой профессии.

В следующей фразе Тургенева имеем такие преобразования.

Спутница его только что умылась из висевшего на жердочке кувшинка и, не успев еще накинуть платок себе на голову, проди-ралась назад к воротам по узкой дощечке, положенной через тем-ные лужицы навозного двора.

Sa compagne cependant se lavait la figure à un seau suspendu pres du puits. Elle n'avait pas encore remis son mouchoir de tête, et achevait sa be-sogne à quelques pas de la porte, se tenant sur une petite planche au-dessus de la mare au fumier.

Из одной фразы в оригинале переводчик делает две, заменяет неличные формы личными.

Не успев накинуть - Elle n'avait pas remis.

Лексические изменения индивидуального характера видим в сочетаниях «пробиралась назад», т.е. шла, в переводе - «achevait da besogne» - заканчивала работу; «умывалась из кувшинка на жердочке» заменено на «un seau pres du puits» - «ведро у колодца».

Временные формы в этой фразе тоже подвергаются изменениям. Так «только что умылась» передается формой «se lavait», что можно считать стилистическим употреблением этой формы; затем в оригинале дощечка положена через лужицу, а в переводе, спутница переходит по дощечке через лужицу. Все эти трансформации коренным образом не изменяют смысла переводимого текста, лишь расставляя по-другому некоторые акценты. В приведенном отрывке данные изменения можно отнести к индивидуальным, авторским трансформациям.

Проанализируем следующий отрывок.

Я взглянул на эту, теперь со всех сторон открытую, голову и невольно всплеснул руками от изумления: передо мной была Софи Б. Она быстро обернулась и устала на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза. Она очень похудела, кожа загрубела и приняла изжелта-красный оттенок загара, нос заострился, и губы обозначились резче... Детского в этом лице уже не осталось ни следа.

Je la regardai, et, maintenant qu'elle était tête nue, je frappai des mains d'étonnement. Sophie B. était devant moi. Au bruit, elle se retourna et fixa sur moi ses yeux bleus immobiles comme autrefois. Elle était bien changée. Le hâle avait donné à son teint une nuance uniforme de jaune rougeâtre, son nez s'était effilé, ses lèvres s'étaient retrecies... Sur ce visage, plus la moindre trace de grâce enfantine.

В первой части отрывка синтаксические изменения присущи стилю Мериме. Из одной фразы он делает три предложения, одно из них становится независимым «Sophie était devant moi». Дополнение «взглянул на голову» становится «elle était tête nue» - именная часть сказуемого. Это индивидуальные изменения, тогда как «передо мной была Софи Б.» - «Sophie B., était devant moi» - эта трансформация присуща системе языка, регулярно встречается в переводах.

«Она быстро обернулась» передается «Au bruit elle se retourna» - «быстро» заменено на «au bruit» (на шум) - лексическое индивидуальное изменение, которое делает другим, более динамичным ритм фразы, впрочем, не искажая смысла. Далее снова более мелкое членение тургеневской фразы, часть фразы оригинала становится отдельным предложением, лексика в нем тоже изменена.

«Она очень похудела» - «Elle était bien changée» - она очень изменилась.

Причем глагол в имперфекте подчеркивает описание состояния героини, которое раскрывается в следующих предложениях с употреблением плюсквамперфекта, выражающего предшествование к имперфекту в предложении «Elle était bien changée».

Последнее предложение отрывка, которое в русском языке является безличным, во французском заменяется номинативной конструкцией, что тоже относится к индивидуальной манере переводчика. Могли быть употреблены и другие варианты.

Рассмотрим последние два абзаца этого произведения И.С.Тургенева.

Она заставила топтать, попирать себя ногами... В последствии времени до меня дошли слухи, что семье удалось наконец отыскать заблудшую овцу и вернуть ее домой. Но дома она прожила недолго и умерла «молчальницей», не говорившей ни с кем».

Мир сердцу твоему, бедное, загадочное существо! Василий Никитич, вероятно, до сих пор юродствует, железное здоровье подоб-

Elle avait voulu subir l'humiliation, elle avait voulu être foulée aux pieds... Plus tard, j'ai entendu dire que sa famille l'avait enfin retrouvée et que la brebis perdue était rentrée au bercail; mais elle n'y demeura pas longtemps et mourut bientôt en silence, avec son secret.

Paix à ton coeur, pauvre être incompréhensible! Vassili Nikititch probablement promène encore sa folie. Ces gens-là ont une santé de fer.

ных людей поистине изумительно. Разве падучая его сломила.

Как и на протяжении всего перевода, в этом отрывке проявляется индивидуальный стиль переводчика Мериме, стиль художника, который делает все, чтобы воссоздать художественную ткань текста, переводимого на другой язык. У Тургенева в первом предложении употреблены два глагола «топтать, попирать» для усиления эффекта. Мериме вносит дополнения, допускает расширение текста благодаря устойчивым словосочетаниям «subir l'humiliation и etre foule»... Ее унесли «aux pieds», что делает текст ярким и образным. Далее переводчик сохраняет и усиливает тургеневскую метафору «вернуть заблудшую овцу домой»; у Мериме здесь две метафоры, слово «домой», передается «au bercail» - в переносном употреблении это означает «отчий дом». Таким образом, фраза приобретает еще большую экспрессивность.

Далее «умерла «молчальницей» Мериме переводит нейтрально «en silence», т.к. иначе это образованное Тургеневым слово, пожалуй, и не переведешь. И самое последнее предложение в русском тексте не передается переводчиком вообще. Видимо, Мериме не знает слова «падучая» из разговорного стиля и опускает это предложение, что, однако, не делает конец рассказа менее сильным, напротив, он заканчивает его контрастной фразой о «железном» здоровье юродивого по сравнению с хрупкой Софи.

В заключение еще раз подчеркнем, что Тургенев высоко ценил свое сотрудничество с Мериме и был благодарен ему за то, что тот знакомил французских читателей с его произведениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творческая эволюция ведет Тургенева к романтизации изображения Вселенной, природной космической жизни. Тургенев хорошо понимает, что для постановки коренных проблем общественного и личного бытия нужны новые художественные средства, адекватные изобразительные возможности, применение новых, романтических средств в постижении действительности, включая фантастику. Тургенев старается привлечь внимание к таким типам взаимоотношения человека и общества, когда человек раскрывается полностью. Писатель не дает готовых решений, он ставит проблему, создавая «идеальную» и «реальную» поэзию, «воссоздавая» и «пересоздавая» действительность. Герои сталкиваются с иррациональными законами природы, в результате чего убеждаются в бренности жизни и, проявляя характер, постигают временные истины. Действуя в согласии с законами инобытия, они странны, поведение их непонятно для окружающих. Устанавливая связь героев с инобытием, художник осваивает усложняющуюся психику человека, природную иррациональную, ирреальную жизнь, применяя фантастику, основанную на романтическом типе творческого мышления.

Итак, выводы следующие. На протяжении всей творческой эволюции Тургенева и Мериме соотношение реалистического и романтического постоянно. Исповедуя в изобразительности принцип двуплановости, писатели-реалисты применяют романтические средства, в том числе и фантастику, для обновления, «удесятерения» силы чувств, необходимых для более углубленного выражения реальности, для «воссоздания» и «пересоздания» действительности. Фантастика применяется писателями как одно из сильнейших романтических средств изобразительности (например, у Тургенева – это образ Эллис в повести «Призраки», в рассказе «Сон» – видение у сына, у Мериме – сын в повести «Локис»). Однако, в конце концов, Тургенев в своих произведениях остается реалистом, заявляя в письмах, что он чужд всему сверхъестественному.

Стоя на одних с Тургеневым художественно-методологических позициях, Мериме, как и Тургенев, считает, что ирреальные явления возможно выразить лишь благодаря романтизации средств изобразительности, «удесятерению» чувств. В «таинственных повестях» Тургенева Мериме — реалист видит романтизированную правду бытия в самых необычайных, фантастических формах, разделяя взгляды русского писателя.

Работа над переводами укрепляет творческое содружество писателей, делает его глубоким, осмысленным, многозначным. Хотя сопоставление двух культур в произведениях Тургенева и Мериме и выявляет несовпадение языков и литературных реалий, переводчик в основном добивается соответствий. Действительно, по степени идентичности переводы можно разбить на три группы. Трудность поиска адекватов в этих группах характеризуется таким фактом. На наш взгляд, Мериме не находит для названия «Призраки» Тургенева французского адекватата, оставляя в переводе русское звучание. Хотя в подобной ситуации может существовать и иное мнение. Вот что пишет Ю.М.Лотман: «Непонятное слово для нас всегда включает элемент экзотизма, воспринимается как чужое слово, таинственное, поэтому не бессмысленное, а особо значительное. С этой целью переводчики нередко сохраняют без перевода значимые имена или звукоподражания, хотя расшифровывать, перевести их нетрудно»,

Несовпадения, характеризующие своеобразие как французского языка, так и самого переводчика, ощутимы в абстрактной лексике «Призраков», использованной в обрисовке портрета призрака Эллис, романтизированном диалоге между лирическим героем и призраком. Опущено высказывание о Наполеоне III, романтическое описание смерти, мыслей лирического героя в финале произведения все по той же основной причине — для придания тургеневскому тексту динамизма. Портрет Матридии Карповны из «Странной истории» приближен у Мериме к человеку больше, чем у Тургенева, у которого оригинальное образное сравнение уподобляет ее птице. Заметим попутно, что сын ее — юродивый Василий сравнивается с цыпленком. Причем перевод-

чиком допускается уточнение образа птицы, а тургеневский лиризм Мериме дополняет драматизмом ситуации, что ошутимо и в тургеневских произведениях «Призраки», «Собака», «Жид (Еврей)», «Петушков».

Таким образом, как личность творчески близкая Тургеневу Мериме принимает героев русского писателя, их страсти и мысли, поиски в области иррационального и ирреального. Драматизируя события, опуская второстепенные, на его взгляд, подробности, переводчик сокращает тургеневский лиризм, оживляя повествование диалогами, а сказ – пародированием чужой речи (например, у полового Ардальона в повести «Странная история»).

В своих переводах Мериме, как и Тургенев, усиливает использование романтических средств, включая фантастику, для более полного изображения внутреннего мира человека, его все усложняющейся психики, не объяснимой обычным, рациональным способом. А также для выражения своего отношения к бессознательным сферам неведомого, ирреального, инобытийного. Дальнейшее познание человека невозможно уже без романтических средств, таких, как фантастика, лиризм, ирония, символы. Применяя их на основе реальной действительности, оба писателя – Тургенев и Мериме ярче и глубже выражают картину природной человеческой жизни.

В проблеме вечного у Тургенева заключены аспекты, утверждающие бесценность художественного постижения реального и ирреального, связанного с углублением представлений о психической сущности человека, его гуманистических идеалов, тургеневских прозрений и предупреждений на фоне вселенских природных и общественных катаклизмов. Эта проблема в философском плане, раскрывая представления писателя об «универсальном трагизме человеческой жизни» (В.М.Маркович) придает фантастическим произведениям И.С. Тургенева общечеловеческую историческую перспективу.

Проведенное нами исследование дает основание сделать следующие обобщения. Эволюция фантастического в творчестве Тургенева и Мериме отражает новые тенденции в развитии реализма XIX века. Соглашаясь с точкой зрения мыслителей, разделяющих поэзию на «идеальную» и «реальную»,

мы говорим о двух типах творчества, которые находятся в ином эстетическом ряду, чем романтизм и реализм как творческие методы, сложившиеся конкретно исторически. В развитие этого мы придерживаемся мнения современных ученых о «воспроизводящем» и «пересоздающем» началах, об их неразрывной связи и бесконечно разнообразных соотношениях в процессе развития литературы, о единстве объективного и субъективного, познавательной и преобразовательной функций художественного творчества. Субъективный момент понимается им как «романтический» тип творчества, а объективный трактуется как тип творчества «реалистически».

Любой тип художественного мышления представляет собой диалектическое единство материального и идеального начал с преобладанием в реалистическом искусстве объективного, а в романтическом – субъективного. Художественное произведение воплощает в себе своеобразное сочетание реалистических и романтических традиций. На основе этого, исходя из гегелевской эстетики романтизма – резкого противопоставления идеала и действительности, а также основополагающих суждений А.Блока о романтизме как глубоко эмоциональной, «удесятеренной силы» обновляемой творческой жизни, и делается этот вывод. Проблема соотношения реалистического и романтического в позднем творчестве Тургенева и Мериме решается, в конце концов, в пользу реалистического. Но оба писателя широко используют романтические средства, включая фантастику, ставя реалистический метод на самую грань в его взаимоотношениях с романтизмом. Ключевой, с нашей точки зрения, является мысль Белинского о романтизме, в сфере которого находится таинственный «мир души и сердца», «мир небесных идеалов».

Обновляя и «удесятерая» силу чувств, Тургенев и Мериме применяют в познании романтические, «удесятеренные» средства изобразительности, в том числе и фантастику. В своих «таинственных повестях» («Призраки», «Собака», «Сон», «Клара Милич» (После смерти)) Тургенев показывает героев двупланово: в детерминированной социальной среде и в то же время в сфере иррациональных сил, где действуют роковые, мятежные страсти, ро-

мантические стихии, не подвластные законам детерминации. Так же ярко фантастика проявляется в поздних новеллах Мериме («Видение Карла XI», «Венера Ильская», «Переулочек госпожи Лукреции», «Джуман», «Локис»). Концепция фантастического, выявляя условную природу литературы, нацеливает ее на постижение все более усложняющейся сущности человека и общества.

У Тургенева и Мериме часто встречаются исходные поступки и переживания героев; с одной стороны, они обусловлены естественной причинностью, а с другой – герои являются жертвами тайных, «темных» сил. Поступки и переживания чаще всего связаны с романтическим началом в реализме. Реализм в данном случае связан с детерминацией характеров, а романтические элементы, включая фантастику, выражаются в свободном проявлении иррациональных сил.

Романтики сделали фантастическое своим миропониманием, способом изображения. У романтиков фантастика не мотивированна, то есть не обусловлена ни поступками героев, ни воздействием социально-исторической среды и в полной мере зависима от воли иррациональных, злых, неведомых сил. Например, персонаж сказки Гофмана «Золотой горшок» архивариус Линдгорст превращается в коршуна, Мефистофель из «Фауста» Гете – в собаку, дьявола – искусителя.

«Внешняя фантастичность» Э.По, позволяющая высказать глубоко психологическую «правду о человеке», напоминает о письме Достоевского к Тургеневу от 23 декабря 1883 года. В этом письме «прозе страшной» противопоставляется «поэтическая правда», изображающая реальное романтическими изобразительными средствами. И мы приходим к выводу о том, что фантастика может служить художественному освоению того в реальной действительности, что не поддается аналитическому и логическому осмыслению. Особое место в творчестве Тургенева занимают лирика, такие романтические художественные средства, как фантастика, ирония, пародия, символы, лиризм, когда страсти, любовь как глубоко поэтическое, драматическое на-

чало эмоционально окрашивает произведение. Являясь одним из сильных выразительных средств, фантастика в философском плане проявляется в противопоставлении идеала действительности.

Человек постоянно ощущает на себе воздействие слепых сил природы. Романтическая стихия в «таинственных повестях» Тургенева, фантастических новеллах Мериме особенно ощутима. В поздний период писатели приходят к пониманию, что изображение Неведомого, ирреального в природе, подсознании человека невозможно без обновления метода познания, что художественная правда не тождественна реальной действительности. Она более многозначна, непредсказуема. С углублением в психологию, сознание, подсознание человека возрастает интерес Тургенева и «странным историям», а у Мериме — к «примечательным психологическим фактам», «непонятым вещам».

В «таинственных повестях» Тургенева Мериме принимает правдивые истории, происходящие с героями. Прочитав повесть «Несчастливая», Мериме замечает Тургеневу, что она у него даже слишком правдива. Тургеневская правда в переводах Мериме убеждает французского читателя в достоверности самых невероятных событий. Как и Мериме, Тургенев применяет романтические средства изображения действительности, включая фантастику. Неизвестные, могущественные силы природы не зависят от воли человека и предопределяют его судьбу. Мериме приоткрывает завесу над таким видением персонажей. Его фантастика создает возможность глубинного, психологически сложного изображения бытия. Ее особенность заключается в анализе человеческой природы в определенной социально-исторической обстановке, в то же время в самодовлеющем влиянии беспощадных, иррациональных сил, воздействующих на судьбы героев. Поздние Тургенев и Мериме придают фантастике романтически определенный, философский смысл.

При переводе фантастических произведений Тургенева Мериме не изменяет себе, своей эстетике. Как переводчик он стремится видеть событие так же, как их увидел бы сам автор. Имея собственное оригинальное миро-

восприятие, Мериме сохраняет романтическое ощущение бытия и в переводах. В произведениях Мериме поступки героев, как и у Тургенева, романтизированы. В них зарождаются неведомые, метафизические переживания, вызванные потрясением основ красоты мира («Венера Илльская», «Кармен»). И, чтобы полнее ощутить инобытие, соприкоснуться с его тайной, Мериме – переводчик вместе с Тургеневым – автором «Призраков» отправляется в волшебный полет над Землей, дающий лирическому герою возможность обозреть красоту Вселенной и в то же время испытать на себе ее демоническую сущность. Романтические средства Мериме применяет уже в ранних новеллах. Тургенев, заявляя о себе как о большом художнике в таких «правдивых картинах русской жизни», как «Записки охотника», в позднем периоде (кроме рассказа «Собака») также приходит к фантастике. Именно «художественной многогранности» тургеньевского таланта обязаны мы появлению его «таинственных повестей», написанных в фантастическом плане. И это говорит о том, что Тургенев видит далеко и глубоко, уже тогда представляя, что литература будущего займется сферами подсознания, иррационального, Неведомого.

В поздний период, когда Тургенев и Мериме работают над фантастическими произведениями, а Мериме еще и над переводами «таинственных повестей», они знакомятся с новеллами Эдгара По. По мнению А.Б.Муратова, американский писатель естественными фактами доказывает в своем творчестве наличие необъяснимого и невозможного. К романтическому способу изображения действительности подходит вплотную и Мериме в своих фантастических новеллах, особенно в «Венере Илльской», «Локисе», и Тургенев в таких поздних фантастических произведениях, как «Призраки», «Сон», «Клара Милич (После смерти)». Неведомое, иррациональное возможно выразить только новыми, романтическими художественными средствами. Используя фантастику, писатели связывают ее с загадочными человеческими ощущениями, проникают в тайны человеческой психики, изображая их.

Поскольку Тургенев и Мериме остаются, в конце концов, реалистами, неприемлемым представляется термин «романтический реализм», употребленный Е.Н.Купряновой, А.Б.Муратовым в отношении поздних произведений Мериме и «таинственных повестей» Тургенева. Такой термин, на наш взгляд, предполагает качественное изменение художественного метода. Однако анализ фантастических произведений Мериме и «таинственных повестей» Тургенева подтверждает, что писатели в последнем периоде, оставаясь на позициях реализма, исповедуют романтический тип творчества. Они применяют романтические средства изобразительности неизвестного, иррационального, ирреального, познавая глубинную мотивацию поступков и переживаний героев. Переводы Мериме тургеневских «таинственных повестей» свидетельствуют как о близости писателей, так и об их различии. Близость, безусловно, выражается в том, что оба писателя используют реалистический художественный метод с романтическими тенденциями, применяя фантастику для изображения глубины человеческой психики. Различное же состоит в том, что, имея индивидуальные личные качества, писатели как художники выражают себя по-разному и, прежде всего, в самом стиле.

Переводя тургеневские повести, Мериме устанавливает различную степень взаимосвязи двух языков – русского и французского. Мериме переводит оригинал на родной ему французский язык, придерживаясь научных принципов перевода, иными словами, художественно оправдано. А это определяется как специфическими особенностями языка переводчика, так и самой эстетикой перевода. В конце концов, можно опять-таки подтвердить, что условно, по степени изменения тургеневского текста, переводы подразделяются на три группы. К первой относятся идентичные, «адекватные» переводы, когда Мериме удается найти русскому оригиналу лексико-семантические, стилистические, фразеологические соответствия на французском языке. Налицо не только стремление и умение переводчика, но и сами возможности двух языков соответствовать друг другу в той или иной ситуации.

Во второй группе, наиболее продуктивной, находятся переводы, где существует не только бережное отношение переводчика к оригиналу, но еще и разная степень состязательности художников слова. И это опять-таки выражается в лексике, семантике, стилистике, фразеологии. Примеров тому предостаточно, эта группа составляет основную массу переводов.

Третья группа, вероятнее всего, - самая малочисленная. Мериме использует при переводе такой вариант, когда производятся купюры тургеневского текста, отдельные изъятия вызываются, прежде всего, особенностями языка, на который переводится оригинал. Эти изъятия еще и следствие различия индивидуально-творческих манер обоих писателей. Тургенев-лирик в описании природы, в раскрытии внутреннего мира персонажей, его синтетический взгляд на мир требует соответствующего словесного оформления. Фраза его плавная, гармоничная, со множеством «ответвлений». Мериме – аналитик, его интересует внутренняя логика характера, побудительные мотивы. Отсюда и фраза – точная, немногословная, нацеленная, носит скорее научный характер. Тургенев говорит о том, что Мериме дорожит правдой и стремится к ней, ненавидит аффектацию и фразу, но чуждается крайностей и требует выбора, меры, античной законченности формы.

О Тургеневе в «сфере переводческого искусства», получившего на Западе «признание подлинного новатора», следует сказать, что писатель помогает переводчикам преодолевать инерцию старых традиций, основанных на вольном обращении с текстом, приобщает их к научным нормам переводческой культуры, учитывающим не только смысловую, но и языковую точность.

Мериме гордится своей посреднической миссией между русской литературой и французским читателем. Однако, будучи от природы оригинальным и сильным художником, он не «растворяется» в тургеневских текстах, скорее наоборот, еще более реализуется в переводимых им произведениях. И это позволяет Мериме с его проницательным, «трезвым» умом, пройдя через

мир Пушкина. Лермонтова, Гоголя и, естественно, Тургенева, выразить продуманную, объективную мысль о европейском признании литературы.

Тяготая к драматическим ситуациям, к сфере непознанного, бессознательного, Мериме одним из первых обращает внимание на правдивость «таинственного», в то же время не теряя своей объективности, создавая, по словам П.В.Анненкова, ощущение «невидимой струи натурального объяснения дела». В своих фантастических произведениях Тургенев и Мериме выражают психическое состояние человека в момент его перехода к действию. Усиление романтических средств изобразительности помогают Тургеневу, а вместе с ним и Мериме как переводчику тургеневских повестей, как оригинальному автору запечатлеть свою эпоху, проложить литературе дорогу в будущее как институту исследования человека.

Концепция фантастического как «поэтической правды» отражает общие идейно-эстетические тенденции и означает новый этап в развитии творческих принципов реализма, когда действует два способа создания произведения – «воспроизводящий» и «пересоздающий», за которыми стоят – по Белинскому – два типа творчества – «реальная поэзия» и «идеальная поэзия».

Так, изображая саму природную, естественную сущность человека, Тургенев и Мериме совместными усилиями укрепляют не только собственные позиции. Как представители своих национальных литератур, культур они углубляют, обогащают литературу, культуру и общество в целом. По общему выражению З.И.Кирнозе, высказанному по поводу Мериме то же самое можно сказать об их сотворчестве «Их диалог длился всю жизнь».

Фантастика Тургенева предвосхищала интерес фантастики XX века к тем явлениям психической жизни человека, которые не были осмыслены наукой, она влияла на эволюцию эстетики. Эпоха после Тургенева характерна тем, что научные поиски переплетаются с художественным изображением действительности. Такие ученые, как В.А.Обручев, Ю.И.А.Ефремов и другие, обращаются к литературе, научной фантастике. В свою очередь, писатели В.Я.Брюсов, А.А.Блок, А.Белый, унаследовав тургеневские традиции в соот-

ношении реалистического и романтического, воплощают их в художественных формах. Традиции фантастики XIX века, безусловно, повлияли на творчество таких более поздних писателей-фантастов, как А.Азимов, С.Лемм, также А.Н.Толстой, Ч.Айтматов, К.Булычев и другие, широко использующих новейшие научные достижения. Фантастические тенденции проявляются и в других видах современного искусства, в частности, в живописи (П.Пикассо, С.Дали), кинематографии (Ф.Феллини, А.Тарковский), музыке (А.Скрябин, А.Шнитке).

Концепция фантастики И.С.Тургенева и П.Мериме с ее все более усложняющимся взаимоотношением материального и идеального, реального и идеального, сознательного и бессознательного, сигнализируя о двойственной природе воображаемого мира произведений, продолжает свое победное шествие в двадцать первый век, в третье тысячелетие. Таким образом, признается и выделяется активная роль духовного, субъективного начала, стимулирующего взаимодействие человеческого сознания с иррациональным миром, со Вселенной. И фантастика с ее широкой и разветвленной системой психических средств используется как форма, художественный прием, создающий ситуацию другой жизни, применяется как модель параллелизма миров.

И художественный перевод как одно из важнейших средств взаимодействия писателей, играет стратегически важную роль в обогащении национальных культур.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

I.

1. Фантастика как усиленное, романтическое средство познания действительности.
2. Интерес Мериме как переводчика к «тайнописи души» русского писателя.
3. Соотношение между подлинником и переводом.
4. Точность и искажения переводного языка, индивидуальность переводчика (собственно перевод, адаптация и переработка).
5. Перевод тургеневских «таинственных повестей» как вид творческой деятельности Мериме.

II.

1. Переводческая норма как критерий оценки качества перевода.
2. Принцип адекватности перевода. Переводческие трансформации как перестройка исходного текста, осуществляемая в процессе перевода.
3. Сопоставьте указанный отрывок из рассказа «Собака» в переводе Мериме. Проанализируйте переводческие трансформации (традиционные, окказионально-ситуативные и индивидуально-контекстные и другие).
4. Сравните способы выражения временных отношений в оригинале и переводе.
5. Найдите примеры лексических расхождений, прокомментируйте их.

III.

1. Объективизация стиля как признак творческой манеры Тургенева в рассказе «Жид (Еврей)».

2. Проанализируйте указанный отрывок из этого рассказа Тургенева. Выделите узуальные и окказиональные соответствия.

3. Определите прагматическую сверхзадачу как реализацию заинтересованности переводчика в какой-либо части оригинала.

4. Найдите способы передачи безличных русских предложений на французский язык.

5. Модернизация, стилизация как особые виды прагматической сверхзадачи при переводе.

IV.

1. Особенности стилистики рассказа «Петушков» Тургенева (релевантность перевода, понятие пресуппозиции, денотативная информация и ее смыкание с аллюзивной).

2. Дайте анализ трансформаций предложенного отрывка из этого рассказа Тургенева в переводе Мериме.

3. Сделайте классификацию лексических, морфологических, синтаксических трансформаций.

4. Дайте комментарий стилистических особенностей перевода Мериме.

5. Фоновые знания как разграничение национальных и интернациональных интересов при переводе (язык – источник и язык-приемник).

V.

1. «Таинственное» у Тургенева как фантастико-романтическое средство усиления в реалистическом способе изображения.

2. Единство фразы у Тургенева и единство абзаца у Мериме при переводе. Принципы ясности и простоты.

3. Сопоставьте отрывок перевода из повести «Призраки» с оригиналом.

4. Сделайте анализ переводческих трансформаций.

5. Переведите этот отрывок на русский язык. Сравните с оригиналом.

VI.

1. Соблюдение переводчиком литературной нормы. Злободневность и доступность перевода.

2. Проанализируйте перевод заданного отрывка из повести «Странная история» Тургенева, сравните с оригиналом, найдите примеры индивидуальных трансформаций.

3. Дайте ваш перевод этого отрывка на русский язык. Сравните с текстом оригинала.

4. Сформулируйте основные особенности переводческого стиля Мериме, основываясь на анализе переводов «таинственных повестей» И.С. Тургенева.

5. Сделайте выводы, подчеркнув мысль о том, что творческое содружество Тургенева и Мериме явилось фактором сближения языков, народов, национальных культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология французской поэзии/Вступит. ст. Ж.Помпиду. –Париж: Ашетт, 1961. –576с.
2. Аполлинер Г. Лирика: пер. с франц./Вступит. ст. А.Бийи. –М.: Эксмо-пресс, 1999. –С.6-16.
3. Балашов Н.И. Творчество Бодлера //История франц. литературы. –Т.3. –М.: Изд-во АН СССР, 1959. –С.358-370.
4. Балашов Н.И.Символизм Малларме //История франц. литературы. –Т.3. –М.: Изд-во АН СССР, 1959. –С.358-370.
5. Бодлер Ш. Цветы Зла /Вступит. ст. Ж.-П.Сартра. –Париж: Галлимар, 1947. –С.5-9.
6. Бодлер Ш. Цветы Зла. Сознание Зла и бодлеровская эстетика/ Вступит. ст. М.Руфф. –Париж: Сей, 1955. –С.746.
7. Бодлер Ш. Цветы Зла/ Вступит. ст. К.Пишуа. –Париж: Галлимар, 1975. –С.9-24.
8. Бодлер Ш. Цветы Зла /Вступит. ст. Готье. –Томск: Водолей, 1993. –С.6-35.
9. Бютор М. Необыкновенная история. – Париж: Галлимар, 1961. – 270с.
10. Великовский С.И. Француз. поэзия XIX-XX веков //Антология француз. поэзии. –М.: Прогресс, 1982. –672с.
11. Клансье Ж.-Э. От Рембо до сюрреализма. - Париж: Галлимар, 1960. –С.7-15.
12. Комиссаров В.Н. Теория перевода. –М.: Высшая школа, 1990. – 253с.
13. Ластер А. Жак Превер – поэт. –Париж: Галлимар, 1994. –181с.
14. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. –Л.: Просвещение, 1972. –270с.

15. Мериме П. Изучение русской литературы. –Т. 1, 2. – Париж: Оноре Шампньон, 1932. –467с.

16. Линецкая Э. Из французской лирики /Пер. с франц. –Л.: Худож. лит., 1974. –170с.

17. Малларме С. Стихотворения. –Париж: Галлимар, 1981. –190с.

18. Малларме С. Стихотворения /Вступит. ст. Ж.-П.Сартра. – Париж: Галлимар, 1981. –С.5-15.

19. Миньяр-Белоручев Р.К. Курс устного перевода. –М.: Моск. лицей, 1998. –144с.

20. Обломиевский Д.Д. Французский символизм. –М.: Наука, 1973. – 303с.

21. Созвездие в зеркальной перспективе /Вступит. ст. О.Дорофеева. – М.: Рипол классик. 1998. –С.5-50.

22. Тишунина Н.В. Стефан Малларме //Русская и зарубежная литературы конца XIX – начала XX века. –Орел: ОГУ, 1988. –С.105-109.

23. Хартвиг Ю. Аполлинер. –М.: Прогресс, 1971. –448с.

24. Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. –М.-Л.: Советский писатель, 1963. – 430с.

25. Эткинд Е.Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. –Л.: Наука, 1973. –248с.

26. Эткинд Е.Г. Французская поэзия в зеркале русской литературы /Французские стихи в переводе русских поэтов XIX-XX вв. –М.: Прогресс, 1969. –3-41с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

OEUVRES COMPLETES

DE

PROSPER MERIMEE

PUBLIEFS SOUS LA DIRECTION DE PIERRE TRAHARD
ET EDOUARD CHAMPION

ETUDES

DE

LITTERATURE RUSSE

TOME SECOND

TEXTE ETABLI ET ANNOTE

PAR

HENRI MONGAULT

Avec quatre planches hors texte.

PARIS

LIBRAIRIE ANCIENNE HONORE CHAMPION

5, Quai Malaquais, VI^e

1932

112

TOURGUENIEV

Apparitions

**Traduit du russe par
Prosper Merimee**

**Avec une postface de
Francoise Flamant**

**Couverture et illustrations
de Marion Bataille**

EDITIONS MILLE ET UNE NUITS

TOURGUENIEV

Apparitions

Apparitions

*Un seul instant... l'enchantement n'est plus,
Et l'âme de nouveau se remplit du «possible».*

A.A.Fet. *Fantaisie*. 1847.

I

Je ne pouvais dormir et m'agitais en vain dans mon lit d'un côté et de l'autre. —Le diable soit des tables tournantes, pensais-je, qui vous agacent les nerfs! —Pourtant je commençais à m'assoupir lorsque je crus entendre résonner près de moi une corde d'instrument: elle rendait une note triste et tendre.

Je soulevai la tête. En ce moment la lune venait de dépasser l'horizon et ses rayons tombaient sur mon visage. Blanc comme la craie était le parquet de ma chambre à l'endroit éclairé par la lune. Le bruit se renouvela et cette fois plus distinct.

Je m'appuyai sur le coude. Le cœur me battait un peu... Une minute se passa, puis une autre... Quelque part, au loin un coq chanta: plus loin encore, un autre coq lui répondit.

Ma tête retomba sur l'oreiller. —«Me voilà bien? me dis-je, Est-ce que les oreilles me tinteront toujours?»

Enfin je m'endormis, -ou je crus m'endormir. J'avais des rêves étranges. Je m'étonnais de me trouver couché dans ma chambre, dans mon lit... sans pouvoir fermer les yeux. —Encore le même bruit! Je me retourne. Le rayon de la lune sur le parquet commence doucement à se rassembler... à prendre une forme... Il s'élève... Debout devant moi, transparente comme un brouillard, se dresse une figure blanche de femme.

«Qui est la?» demandai-je en faisant un effort.

Une voix faible comme le bruissement du feuillage répond: «C'est moi, moi: je viens te voir.

- Me voir! Qui es-tu?

- Viens à la nuit, au coin du bois, sous le vieux chêne: j'y serai.»

Je veux regarder les traits de cette mystérieuse figure et je frissonne involontairement. Je me sens comme transi de froid. Je suis, non plus couché, mais assis sur mon lit, et à la place où j'ai cru voir un fantôme il n'y a plus qu'un blanc rayon de la lune s'allongeant sur le parquet.

II

Le jour tarda bien à se faire. Je voulus lire, travailler!... Rien n'allait. Enfin la nuit vint; mon coeur battait dans l'attente de quelque événement. Je me couchai le visage tourné vers la muraille...

«Pourquoi n'es-tu pas venu?» murmura une petite voix, faible, mais distincte, tout près de moi dans ma chambre...

C'est elle! Le même fantôme mystérieux avec ses yeux immobiles, son visage immobile, le regard plein de tristesse...

«Viens! murmura-t-elle de nouveau.

- J'irai!» répondis-je, non sans effroi. Le fantôme parut faire un mouvement vers mon lit. Il chancela... sa forme devint confuse et troublée comme une vapeur. Au bout d'un instant, il n'y avait plus que le blanc reflet de la lune sur le parquet poli.

III

Je passai toute la journée suivante dans une grande agitation. A souper, je bus presque toute une bouteille de vin. Un instant je sortis sur le perron. mais je rentrai presque aussitôt et me jetai sur mon lit; mon poulx battait avec force.

Encore une fois ce frémissement de corde se fit entendre. Je frissonnais et n'osais regarder... Tout à coup... il me sembla que quelqu'un, posant ses mains sur mes épaules par derrière, murmurait à mon oreille; «Viens, viens, viens!» Tremblant, je répondis avec un grand soupir: «Me voici!» et je me soulevai sur mon lit. La femme blanche était là, penchée sur mon chevet; elle me sourit doucement et disparut aussitôt. Pourtant j'avais pu jeter un regard sur son visage: il me sembla que je l'avais vue quelque part, mais où et quand?... Je me levai fort tard, et toute la journée je ne fis que me promener dans les champs. Je m'approchai du vieux chêne à la lisière du bois, et j'examinai avec soin tous les alentours.

Vers le soir, je m'assis à la fenêtre dans mon cabinet; ma vieille femme de charge m'apporta une tasse de thé, mais je n'y touchai pas. Je ne pouvais prendre une résolution, et je me demandais à moi-même si je ne devenais pas fou. Cependant le soleil allait disparaître; au ciel, pas un nuage. Soudain le paysage prit une teinte de pourpre presque surnaturelle; vernisses de cette teinte laqueuse, le feuillage, l'herbe n'avaient plus d'ondulations, et semblaient pétrifiés. Cet éclat et cette immobilité, la netteté lumineuse de tous les contours et ce morne silence offraient un contraste étrange et inexplicable. Sans s'annoncer par le moindre bruit, un assez gros oiseau brun s'abattit tout à coup sur le bord de ma fenêtre: je le regardai; lui aussi me regarda, de son oeil rond et profond. «On t'envoie sans doute, pensai-je, pour que je n'oublie pas le rendez-vous».

Aussitôt l'oiseau agita ses ailes doublées de duvet et s'envola sans plus de bruit qu'il n'était venu. Longtemps encore je demeurai assis à ma fenêtre, mais déjà toute irrésolution avait cessé. Je me sentais pris dans un cercle magique. Inutile de résister, entraîné que j'étais par une force secrète: c'est ainsi qu'une barque est inévitablement emportée par des rapides à la cataracte qui doit l'abimer. Je me secouai enfin; la couleur empourprée du paysage avait disparu, ses teintes brillantes s'étaient assombries et allaient bientôt s'éteindre dans l'obscurité. Cette immobilité magique avait aussi cessé; un vent léger s'élevait. et la lune montait brillante dans le ciel bleu; sous ses froids rayons, les feuilles des arbres tremblotaient, tantôt noires, tantot argentées. Ma femme de charge entra avec une bougie allumée, mais une

bouffée de vent arriva de la fenêtre et l'éteignit Je me levai brusquement, j'enfoncai mon chapeau sur mes yeux, et me dirigeai à grands pas vers le coin du bois où était le vieux chêne.

IV

Il y avait bien des années que ce chêne avait été frappé de la foudre: sa cime, brisée, était morte, mais le reste de l'arbre avait encore de la vie pour plusieurs siècles. Comme je m'approchais, un petit nuage passait devant la lune, et il faisait très sombre sous l'épais feuillage du chêne. D'abord je ne remarquai rien d'extraordinaire, mais en portant mes regards de côté, les battements de mon cœur s'arrêtèrent tout à coup – j'aperçus une figure blanche, immobile auprès d'un buisson, entre le chêne et le bois. Mes cheveux se dressaient sur ma tête, j'avais peine à respirer : pourtant je m'avançai vers le bois.

C'était bien elle, dame aux visites nocturnes. Au moment où je m'approchai d'elle, la lune sortit du nuage qui l'obscurcissait. Le fantôme me parut formé d'un brouillard laiteux, à demi transparent. A travers son visage, je distinguais derrière sa tête une ronce balancée par le vent. Seulement ses yeux et ses cheveux étaient d'une teinte plus sombre. J'observai encore qu'à l'un de ses doigts, tandis qu'elle tenait ses mains entre-croisées, elle avait un petit anneau d'or, pâle et brillant. Je m'arrêtai à deux pas d'elle et voulus lui adresser la parole; mais ma voix expira dans ma gorge, et pourtant ce n'était pas précisément une sensation de terreur que j'éprouvais. Elle touna ses yeux vers moi. Son regard n'exprimait ni la tristesse ni la gaïté, rien qu'une attention morne. J'attendais qu'elle parlât, mais elle demeurait muette, immobile, attachant sur moi un regard fixe et mort.

«Me voici! m'écriai-je enfin d'un effort suprême. Ma voix retentit avec un son sourd et rauque.

- Je t'aime, répondit-elle de sa petite voix.
- Tu m'aimes! m'écriai-je stupéfait.
- Donne-toi à moi, murmura-t-elle.

- Me donner à toi! mais tu es un fantôme, tu n'as pas de corps!» Toutes mes idées étaient bouleversées. «Qui es-tu? Une vapeur, un brouillard, une forme aérienne? ... Que je me donne à toi! ... D'abord apprends-moi qui tu es. As-tu vécu sur la terre? D'où viens-tu?

- Donne-toi à moi. Je ne te ferai pas de mal. Dis seulement ces deux mots: Prends-moi.»

Je la regardais ébahi. «Que me dit-elle? que signifie tout cela? pensais-je. Tenterai-je l'aventure?...

Eh bien! m'écriai-je tout d'un coup et avec une force inattendue, comme si quelque'un m'eut poussé par derrière: Prends-moi!»

A peine avais-je prononcé ces mots que la mystérieuse figure, avec un rire intérieur qui fit trembler un instant tous ses traits, s'avança vers moi; ses mains se desunirent et s'allongèrent... Je voulus sauter en arrière, mais déjà j'étais en son pouvoir. Elle me tenait dans ses bras. Mon corps était soulevé de terre d'une demi-archine, et tous deux nous volions, modérément vite, au-dessus de l'herbe immobile.

V

Tout d'abord la tête me tourna, et involontairement je fermai les yeux. Quand je les rouvris un moment après, nous volions toujours, et déjà je ne voyais plus mon bois. Au-dessous de nous s'étendait une vaste plaine couverte de taches sombres. Je m'aperçus avec stupefaction que nous étions à une hauteur prodigieuse.

«Je suis au pouvoir du démon!» Cette pensée me frappa comme un coup de foudre. Jusqu'alors l'idée du pouvoir diabolique, de ma perte possible, ne s'était pas présentée à mon esprit... Et cependant nous volions toujours, et il me semblait que nous nous élevions de plus en plus.

«Où m'emportes-tu? m'écriai-je enfin.

- Où tu voudras, répondit ma compagne en me serrant plus étroitement dans ses bras. Son visage touchait le mien, et pourtant c'est à peine si j'en sentais le contact.

- Remets-moi à terme. Je me trouve mal à mon aise à cette hauteur.

- Bien! mais ferme les yeux et ne respire pas.»

J'obéis, et aussitôt il me sembla que je tombais comme une pierre. Le vent fouettait mes cheveux... Lorsque je pus retrouver mon sang-froid, je vis que nous volions lentement au-dessus de terre, rasant les tiges des hautes herbes.

«Dépose-moi ici, lui dis-je. Quelle idée de voler! Je ne suis pas un oiseau.

- Je croyais te faire plaisir. Pour nous, nous ne faisons pas autre chose.

- Vous? ... mais qui êtes-vous?»

Point de réponse.

«Tu n'oses me le dire?»

Un son plaitif, semblable à cette note mélancolique qui m'avait réveillé la première nuit, résonna à mon oreille, et toujours nous volions près de terre dans l'atmosphère humide.

«Dépose moi donc à terre», lui dis-je. Elle baissa la tête en signe d'obéissance, et je me trouvai sur mes pieds. Elle demeura debout devant moi, et de nouveau ses mains joignirent dans l'attitude de l'attente. Je commençais à me rassurer et je me mis à la considérer avec attention. Comme la première fois, son expression me parut celle d'une résignation triste.

«Où sommes-nous? lui demandai-je, car je ne reconnaissais pas le lieu où nous nous étions arrêtés.

- Loin de ta maison: nous pouvons y être dans un moment:

- Je ne t'ai pas fait de mal et je ne t'en ferai pas. Nous volerons ensemble jusqu'à l'aube: voilà tout. Partout où ira ta pensée, je puis te porter. dans tous les pays de la terre. Donne – toi à moi... Dis encore: Prends-moi.

- Eh bien! prends-moi!»

Ses bras m'enlacèrent de nouveau; je perdis terre, et nous recommençâmes à voler.

VI

«Où veux-tu aller? me demanda-t-elle.

- Tout droit devant nous.

- Mais voici une forêt.
- Passons audessus: mais pas si vite.»

Aussitôt nous nous élevâmes en tournoyant comme la becasse qui gagne la cime d'un bouleau, puis nous reprîmes la ligne. Ce n'étaient plus les herbes, c'étaient les sommets des grands arbres qui semblaient glisser sous nos pieds: étrange spectacle que cette forêt vue d'en haut avec ses sommités hérissées qu'éclairait la lune! On eut dit un énorme animal étendu, endormi et ronflant avec un grondement sourd et indistinct. Par moments nous passions audessus d'une clairière, et je voyais la ligne d'ombre dentelée que projetait les arbres. De temps en temps un lièvre faisait entendre son cri plaintif dans le fourré. Plaintif aussi était le cri de la chouette qui passait à nos côtés. L'air nous apportait les senteurs de la livèche, des champignons, des bourgeons se gonflant sous la rosée. La lumière de la lune se répandait autour de nous froide et sévère, et la Grande Ourse scintillait gravement audessus de nos têtes. Bientôt la forêt disparut derrière nous. Nous vîmes une plaine où se dessinait une longue ligne de vapeur grise: elle marquait le cours d'une rivière. Nous suivîmes une de ses rives au-dessus de buissons affaissés sous la lourde humidité de la nuit. L'eau tantôt reluisait d'un éclat bleuâtre, tantôt tourbillonnait sombre et menaçante. Par places, quelques flocons de vapeur tremblotaient au-dessus du courant. Je voyais ça et là des lis d'eau étaler leurs blancs pétales, montrant leurs trésors de beauté comme des vierges qui se croient à l'abri de tout regard. Je voulus cueillir une fleur, et déjà je touchais presque le miroir de l'eau, mais une fraîcheur désagréable me jaillit au visage au moment où j'arrachais la rude tige d'un lis.

Nous nous mîmes à voler d'une rive à l'autre à la manière des courlis, et de fait nous en faisons lever à chaque instant. Plus d'une fois nous passâmes au-dessus de jolies nichées de canards sauvages, rassemblés en un petit groupe au milieu des roseaux. Ils ne s'envolaient pas. Un d'eux retirait précipitamment sa tête de dessous son aile, regardait, regardait... puis, d'un air affairé, remettait son bec sous le duvet soyeux, tandis que ses compagnons laissaient échapper un faible kouin, kouin/ Nous réveillâmes un heron dans un buisson de cytise. En le voyant sauter à pieds et secouer

gauchement ses ailes, je crus voir un Allemand.* Quant aux poissons, nous n'en aperçûmes pas un seul, tous dormaient au fond. Je commençais à m'habituer à la sensation de voler et même à y trouver du plaisir. Quiconque a rêvé qu'il volait me comprendra. Complètement rassuré, je m'appliquai à bien observer l'être étrange à qui je devais de jouer un rôle dans cette uncroyable aventure.

VII

C'était une jeune femme dont les traits n'avaient rien du type russe. Sa forme d'un blanc grisâtre, à demi transparente, des ombres à peine indiquées rappelaient ces figures sculptées sur un vase d'albâtre qu'une lampe éclaire à l'intérieur. Il me sembla de nouveau que ses traits ne m'étaient pas inconnus.

«Puis-je te parler? lui demandai-je.

- Parle.

- Je te vois un anneau de doigt... As-tu vécu sur la terre? As-tu été mariée?» Je m'arrêtai; elle ne répondait pas.

«Comment t'appelles-tu? ou comment t'appelait-on?

- Appelle-moi Ellis.

- Ellis? C'est un nom anglais. Es-tu anglais e?... M'as-tu connu autrefois?

- Non.

- Pourquoi est-ce à moi que tu es venue apparaître?

- Je t'aime.

- Es-tu heureuse?

- Oui... Planer, voler avec toi dans l'air pur! ...

- Ellis, m'écriai-je tout à coup, n'es-tu pas une reprouvée? N'es-tu pas une âme en peine?

- Je ne te comprends pas, murmura-t-elle, baissant la tête.

- Au nom de Dieu, je t'adjure... commençais-je; elle m'interrompit.

* Le peuple en Russie donne aux Allemands le surnom de Heron.

- Que me dis-tu là? reprit-elle, comme si elle ne me comprenait pas en effet. Je ne sais ce que tu veux dire.» Je crus sentir un faible mouvement dans le bras qui m'entourait comme une ceinture froide.

«N'aie pas peur, reprit-elle. Ne crains rien, ami.» Son visage se pencha sur le mien. Sur mes lèvres, je sentis une sensation étrange, quelque chose comme la pique d'un aiguillon emoussé... comme l'attouchement d'une sangsue qui ne mord pas encore.

VIII

Nous planions à une hauteur considérable. Je regardai en bas. Nous passions au-dessus d'une ville à moi inconnue, bâtie sur le penchant d'une large colline. Des églises s'élevaient au-dessus d'une masse de toits en planches et de sombres vergers. Un grand pont se détachait en noir sur la rivière dans un de ses tournants. Des coupoles dorées, des croix de métal brillaient d'un éclat amorti. Silencieuses se dessinaient sur le ciel les longues perches des puits parmi des bouquets de saules. Silencieuse également une chaussée blanchâtre s'enfonçait en flèche étroite dans un bout de la ville et ressortait, toujours silencieuse, à l'autre bout pour aller se perdre dans l'obscurité monotone de plaines sans fin.

«Quelle est cette ville? demandai-je à Ellis.

- N***.

- Dans le gouvernement de ***?

- Oui.

- Nous sommes bien loin de chez moi.

- Pour nous, point de distance.

- En vérité?» Une audace soudaine s'empara de moi. «Porte-moi dans l'Amérique du Sud.

- Impossible. Il y fait jour.

- Ah! nous sommes des oiseaux de nuit... Eh bien! n'importe où, mais bien loin.

- Ferme les yeux, et ne respire pas», répondit Ellis, et nous partîmes avec la rapidité de l'ouragan.

L'air s'engouffra dans mes oreilles avec un bruit déchirant. Nous nous arrêtâmes bientôt, mais le bruit ne cessait pas : au contraire il redoublait. C'était comme un hurlement terrible, un immense fracas.

«A présent ouvre les yeux», me dit Ellis.

IX

J'obeïs. «Bon Dieu! où suis-je?»

Sur nos têtes des nuages bas, lourds, épais, se pressant, se poussant comme une meute de monstres en fureur; - au-dessous de nous, un autre monstre, une mer enragée, oui, enragée. Lancée par convulsions, une écume blanche s'élève en montagnes bouillonnantes, des vagues déchirées battent avec un fracas brutal des rochers plus noirs que la poix. Le mugissement de la tempête, le souffle glacé sortant du fond des abîmes, le retentissement de la lame heurtant les falaises, où l'on croit entendre tantôt des plaintes lamentables, tantôt une décharge d'artillerie dans le lointain, ou bien encore le tintement des cloches... puis le grincement des galets roulant sur le rivage... parfois le cri d'une mouette invisible... sur une échappée du ciel la silhouette incertaine d'un vaisseau... Partout la mort, la mort et l'épouvante!... De nouveau je fermai les yeux, saisi d'horreur.

«Qu'est cela? où sommes-nous?

- Sur la côte sud de l'île de White, devant les rochers de Blackgang, ou bien souvent se perdent des vaisseaux répondit Ellis avec une maligne expression de joie, à ce qu'il me sembla.

- Emporte-moi loin d'ici! Loin d'ici! chez moi.»

Je me pelotonnai en me couvrant les yeux. Il me sembla que nous volions avec plus de rapidité encore que tout à l'heure. Le vent ne sifflait plus - il hurlait, il gémissait dans mes habits, dans mes cheveux... Je ne pouvais respirer.

«Tiens-toi debout», me dit Ellis.

Je fis un effort pour reprendre mes esprits. Je sentais la terre sous mes semelles, et je n'entendais aucun bruit. Tout autour de moi paraissait mort; mais le sang battait à mes tempes avec violence, et la tête me tournait avec un faible tintement intérieur. Peu à peu l'étourdissement se dissipa; je me redressai et j'ouvris les yeux.

X

Nous étions sur la chaussée de mon étang. Droit devant nous, à travers des feuilles pointues d'une rangée de saules, on voyait une grande nappe d'eau au-dessus de laquelle dormaient, comme accrochés à la surface, quelques minces filaments de brouillard : - à droite, la verdure terne d'un champ de seigle ; à gauche, sortant de la brume, mon verger avec ses grands arbres immobiles et humides... Déjà le matin les avait touchés de son souffle. Sur le ciel pâle s'étendaient en raies obliques deux ou trois petits nuages jaunâtres, atteints qu'ils étaient par le premier rayon de l'aurore, partant Dieu sait de quel point de l'horizon car dans la pâleur uniforme du ciel rien n'annonçait de quel côté le soleil allait se montrer. Les étoiles avaient disparu. Rien ne bougeait encore, et pourtant tout se réveillait déjà dans le calme magique du premier crépuscule.

«Voici le jour, me dit Elleis à l'oreille. Adieu, à demain!» Je me tournai vers elle; déjà elle avait quitté terre et s'élevait en l'air devant moi. Tout à coup je la vis porter ses deux mains au-dessus de sa tête. Cette tête, ces mains, ces épaules avaient revêtu soudain une teinte de chair; dans ses yeux sombres frémirent deux vivantes étincelles; un sourire d'une mystérieuse mollesse toucha ses lèvres rougissantes..., une charmante jeune femme m'apparut... Cela ne dura qu'un instant. Comme saisie d'un éblouissement, elle se rejeta en arrière et fondit ainsi qu'une vapeur. Quelque temps je demeurai stupéfait, immobile. Quand je fus en état d'observer, il me sembla que cette teinte de chair, cette teinte d'un rose pâle qui avait subitement animé l'apparition, ne s'était pas dissipée et que l'air qui m'entourait en était imprégné... c'était l'aurore qui s'allumait. Je me sentis tout à coup une lassitude accablante, et je

me dirigeai vers la maison. En passant devant le poulailler, j'entendis les oisons qui caquetaient. Ce sont les premiers oiseaux à se réveiller... Le long du toit, à l'extrémité des perches qui retiennent le chaume, il y avait des corneilles en sentinelle. Toutes, fort empressées de faire leur toilette matinale, se profitaient nettement sur un ciel laiteux. Par moments toutes se levaient à la fois et s'envolaient pour aller à quelques pas se ranger en ligne, sans faire un cri. Dans le bois voisin, par deux fois retentit le gloussement enroué et frais du coq de bruyère, déjà en quête de baies sauvages dans la verdure humide. Pour moi, me sentant gagner par un léger frisson, j'allai me jeter sur mon lit où me cloua bientôt un lourd sommeil.

XI

La nuit suivante, lorsque je m'approchai du vieux chêne, Ellis vint à ma rencontre comme une vieille connaissance. De mon côté, toute crainte avait disparu et je la retrouvai presque avec plaisir. J'avais cessé de faire des efforts pour comprendre mon aventure, et je ne pensais plus qu'à voler encore et à satisfaire ma curiosité.

Bientôt le bras d'Ellis m'enlaca, et nous prîmes notre essor.

«Allons en Italie, lui dis-je à l'oreille.

- Où tu voudras, ami,» répondit-elle avec une gravité lente - et lentement et gravement elle pencha sa tête vers moi. Je crus remarquer que son visage était moins transparent que la veille, ses traits plus féminins, moins vaporeux; elle me rappelait cette belle créature qui s'était montrée à moi le matin un moment avant de disparaître...

«Cette nuit, continua Ellis, c'est la grande nuit. Elle vient rarement; quand sept fois treize...»

Ici je perdis quelques mots.

«...Alors, poursuivit-elle, on peut voir ce qui est caché en d'autres temps.

- Ellis! lui dis-je d'un ton suppliant, qui es-tu? Dis-le-moi à la fin!»

De son doigt, sur le ciel sombre elle indiquait un point où, parmi de petites étoiles, brillait une comète d'aspect rougeâtre.

«Comment te comprendre? Vis-tu comme cette comète, errante entre les planètes et le soleil, vis-tu errante entre les hommes... eh quoi? Ou bien?...» - Mais la main d'Ellis se porta tout à coup sur mes yeux. Un brouillard blanc et lourd comme celui qui vient du fond des vallées m'enveloppa soudain.

«En Italie! en Italie! murmurait-elle. Cette nuit, c'est la grande nuit!»

XII

Le brouillard se dissipa, et je vis au-dessous de nous une plaine sans fin ; mais déjà la sensation d'un air mou et tiède sur mes joues m'avait averti que je n'étais plus en Russie, et d'ailleurs cette plaine ne ressemblait pas aux nôtres : c'était une immense surface, terne, sans herbes, déserte. Ça et là sur toute l'étendue, semblables aux morceaux d'un miroir cassé, brillaient des flaques d'eau stagnante. Plus loin on distinguait vaguement une mer immobile et sans bruits. De grandes et belles étoiles scintillaient dans les intervalles de grands et beaux nuages. Et de toutes parts s'élevait un trille fredonné par mille voix, incessant, mais contenu. Ces tons pénétrants et sourds à la fois étaient la voix du désert.

«Les Marais Pontins, dit Ellis. Entends-tu les grenouilles? Sens-tu le soufre?

- Les Marais Pontins! - Et une impression de tristesse solennelle m'envahit. - Pourquoi me mener dans ce pays morne et abandonné? Nous ferions mieux d'aller à Rome.

- Rome est proche, dit-elle, prépare-toi.»

Nous prîmes notre vol au-dessus de l'antique Voie Latine. Plongé dans un borbier visqueux, un buffle leva lentement sa tête difforme dont les soies courtes et rudes s'élevaient en touffes entre ses cornes tordues en arrière. Il montrait le blanc de ses yeux stupides et méchants en soufflant avec force de ses humides naseaux. Sans doute il nous avait sentis.

«Rome! voici Rome! dit Ellis, regarde devant toi.»

Quelle est cette masse noire au-dessus de l'horizon? Sont-ce les arches d'un pont de géants? Quel fleuve traverse-t-il? Pourquoi est-il démoli par places? Non, ce

n'est pas un pont, c'est un aqueduc antique. Voici bien la sainte campagne romaine; la-bas, les monts Albins. Leurs sommets et la fabrique grisâtre de l'aqueduc s'éclairent faiblement aux rayons de la lune qui se lève.

Nous nous elançâmes subitement, et nous nous trouvâmes suspendus devant une ruine isolée. Personne n'eut su dire ce qu'elle avait été, un tombeau, un palais, des thermes?... Un lierre noir l'enveloppait de sa triste étreinte, et dans le bas, telle qu'une gueule béante, s'ouvrait la voûte à demi effondrée d'un souterrain. Je fus frappé d'une odeur de sepulcre sortant de toutes ces petites pierres si bien appareillées, dont le revêtement de marbre avait depuis longtemps disparu.

«Ici! continua Ellis en étendant la main, ici! Prononce à haute voix, trois fois de suite, le nom d'un grand Romain.

- Qu'arrivera-t-il?

- Tu verras.»

Je réfléchis un instant. «Divus Caius Julius Cæsar! m'écriai-je. —Divus Caius Julius Cæsar! répétais-je en prolongeant le son. —Cæsar! ...»

XIII

Les derniers éclats de ma voix retentissaient encore, quand j'entendis... mais je désespère de décrire ce que j'éprouvai. —D'abord ce fut un bruit confus, à peine perceptible pour l'oreille et sans cesse répété, de trompettes et de battements de mains. Il me semblait que quelque part, dans un éloignement prodigieux, ou dans un abîme sans fond, s'agitait une foule innombrable: elle s'élevait, elle montait en flots pressés, toujours poussant des cris étouffés, tels qu'ils s'échappent de la poitrine dans ces rêves accablants qu'on croit durer des siècles; puis l'air se troubla et s'assombrit au-dessus de la ruine. Alors il me sembla voir surgir et défiler des ombres, des myriades d'ombres, des millions de formes, les unes s'arrondissant en casques, les autres se projetant comme des piques. Les rayons de la lune se divisaient en d'innombrables étincelles bleues sur ces piques et ces casques, et toute cette armée,

* «Divin Caius Julius Cesar» [N.d.E.]

toute cette multitude se pressait, se poussait, avançait, grandissait... On la sentait animée d'une indicible énergie, capable de soulever le monde. Pas une forme cependant n'était distincte... Soudain un mouvement étrange agite toute cette foule: on dirait des flots immenses, qui s'écartent, qui se retirent. Cqesar! Cqesar venit!* répètent mille voix confuses, semblables au frémissement des feuilles dans une forêt où s'abat l'ouragan. Un coup sourd retentit, et une tête pâle, sévère, les paupières fermées, ceinte d'une couronne de lauriers, la tête de l'empéror, sortit lentement de la ruine.

Non. il n'y a pas de mots dans une langue humaine pour exprimer l'épouvante qui s'empara de moi. Je me dis que, si cette tête ouvrait les yeux, si ces lèvres se desserraient, j'allais mourir à l'instant. «Ellis, m'écriai-je, je ne veux pas, je ne puis pas!... Ote-moi de Rome, de cette brutale et terrible Rome! Partons!

- Coeur Faible!» murmura-t-elle, et nous reprîmes notre essor. Derrière moi, j'entendis le cri, retentissant cette fois, le cri de fer des légions romaines; puis tout devint sombre.

XIV

«Regarde, me dit Ellis, et calme-toi.»

Je me souviens que ma première sensation fut si douce, que d'abord je ne pus que soupirer. Je ne sais quoi d'un azur vapoureux, de mollement argentin, ni lumière, ni brouillard, m'enveloppait. D'abord je ne distinguais rien: cette lueur bleue m'aveuglait. Mais peu à peu se dessinèrent à mes yeux les nobles profils de belles montagnes boisées. Un lac s'étendait sous moi avec des étoiles tremblotantes dans la profondeur de ses eaux. J'entendais le long murmure des vagues clapotant sur le rivage. Le parfum des orangers m'arriva, pur et fort, comme un flot — et avec lui, aussi purs, aussi puissants, arrivèrent les sons d'une jeune voix de femme... Attiré, fasciné par ces parfums et cette voix, je voulus descendre. Nous nous dirigeâmes vers un magnifique palais de marbre adossé à un massif de cypres. Les sons portaient des fenêtres tout ouvertes. Le lac, semé de pollen de fleurs, battait de ses douces

* «Cesar, Cesar vient!» [N.d.E]

ondulations les murs du palais, et, droit en face, une île revêtue de la sombre verdure des orangers et des lauriers, enveloppée d'une vapeur lumineuse, couverte de portiques, de colonnades, de temples, de statues, se dressait du sein des eaux, haute et arrondie.

«L'Isola-Bella, le Lac-Majeur, dit Ellis.

Je ne répondis que : Ah ! Et nous continuâmes à descendre. —La voix s'élevait toujours plus éclatante, et m'attirait irrésistiblement. Je voulus voir la figure de celle qui faisait entendre de tels accents par une telle nuit. Nous étions près de la fenêtre.

Au milieu d'un salon meublé dans le style de Pompei, et plus semblable à un musée d'antiquités qu'à un appartement moderne, entourée de sculptures grecques, de vases étrusques, de plantes rares, de tissus précieux, éclairée d'en haut par deux lampes enfermées dans des globes de cristal une jeune femme était assise devant un piano. La tête légèrement renversée en arrière, les yeux à demi clos, elle chantait un air italien. Elle chantait et souriait. Elle souriait, et un faune de Praxitele, jeune et nonchalant comme elle, comme elle amolli et voluptueux, souriait aussi, comme il me semblait, de sa niche de marbre, entouré de lauriers-roses, à travers la légère vapeur qui s'échappait d'une cassolette antique posés sur un trepied de bronze. La jeune femme était seule. Enchantée de ces sons, de cette beauté, enivré de l'éclat et des parfums de la nuit, ému jusqu'au fond de l'âme par ce spectacle de jeunesse, de fraîcheur et de bonheur, j'oubliai complètement ma compagne de voyage : j'oubliai par quelle mystérieuse aventure je pénétrais les secrets d'une existence si éloignée et si étrangère...

Je voulais monter sur la fenêtre et parler...

Tout mon corps trembla d'une commotion violente, comme si j'avais touché une bouteille de Leyde. En dépit de sa transparence, le visage d'Ellis était devenu sombre et menaçant. Dans ses yeux démesurément ouverts brûlait une expression de profonde malignité.

«Partons!» dit elle brusquement. Et de nouveau le vent, le bruit, l'étourdissement... Au lieu du cri des légions, ce fut la dernière note aigue de la chanteuse qui longtemps vibra dans mes oreilles.

Nous nous arrêtâmes ; mais cette note aigue, cette même note résonnait toujours, bien que je sentisse un autre air et d'autres émanations. Une fraîcheur fortifiante m'arrivait comme d'une grande rivière, avec des senteurs de foin, de chanvre, de fumée. A cette note longtemps soutenue succéda une autre note, puis une troisième, mais d'un caractère si prononcé, avec des modulations de moi si connues, que je me dis à l'instant : Voilà un chanteur russe, un air russe ! Et en même temps tous les objets autour de moi m'apparurent distinctement.

XV

Nous étions sur la rive d'un grand fleuve. A gauche s'étendaient à perte de vue des prairies fauchées, avec des meules énormes ; à droite, également à perte de vue, on distinguait la surface de l'eau. Près du rivage, de longues barques se balançaient doucement sur leurs ancres, agitant leurs mâts élancés comme des doigts, comme des index faisant un signe. Dans une de ces barques, d'où partaient les chants, brillait un petit feu dont la lueur se reflétait en longues raies rouges et tremblotantes sur les flots de la rivière. Partout, et sur le fleuve et dans la campagne scintillaient d'autres feux. Etaient-ils loin de nous ou rapprochés ? La vue ne pouvait s'en rendre compte. Tantôt ils s'éteignaient brusquement, tantôt on les voyait jaillir en jetant un vif éclat. D'innombrables grillons chantaient incessamment dans l'herbe, non moins acharnés que les grenouilles des Marais Pontins. Le ciel était sans nuages, mais bas et sombre, et de temps en temps des oiseaux qui planaient, invisibles, poussaient des cris plaintifs.

«Ne sommes-nous pas en Russie? demandai-je à mon guide.

- Voici la Volga», répondit-elle.

Nous volions le long du fleuve. «Pourquoi m'as-tu arraché tout à l'heure à ce délicieux pays? lui demandai-je. Il te déplaisait sans doute; n'aurais-tu pas éprouvé un mouvement de jalousie?»

Les lèvres d'Ellis tremblèrent, son regard devint menaçant, mais presque aussitôt ses traits reprirent leur immobilité ordinaire.

«Je voudrais retourner chez moi, lui dis-je.

- Attends ! attends ! répondit-elle. Cette nuit, c'est la grande nuit. Elle ne reviendra pas de si tôt. Tu peux assister... Attends un peu...

Aussitôt nous traversâmes la Volga, rasant l'eau obliquement et par élan successifs à la manière des hirondelles fuyant devant la tempête. Les flots profonds murmuraient au-dessous de nous ; un vent aigre nous battait de son aile froide et puissante. Bientôt la rive droite du fleuve se montra dans la demi-obscurité, et nous aperçûmes des falaises escarpées avec de grandes crevasses. Nous nous en approchâmes.

«Crie: Saryn na Kitchkou », me dit tout bas Ellis.

J'étais encore mal remis de l'effroi que m'avait causé l'apparition des fantômes romains, fatigué d'ailleurs, et en proie à je ne sais quel vague sentiment de tristesse... Bref, le coeur me manquait. Je ne voulais pas prononcer ces paroles fatales, persuadé qu'elles allaient, comme dans la Vallée-au-Loup de Freyschutz^{**}, faire apparaître quelque prodige effrayant: mais, malgré moi, mes lèvres s'ouvrirent, et d'une voix faible et forcée je criai. Saryn na Kitchkou.

XVI

De même que devant la ruine romaine, tout d'abord demeura silencieux. Tout à coup, à mon oreille même, retentit un gros rire brutal suivi d'un gémissement et du bruit d'un corps tombant dans l'eau et se débattant. Je regardai autour de moi, personne; mais, au bout d'un moment, l'écho du rivage me renvoya les mêmes sons, et bientôt de toutes parts s'éleva un vacarme épouvantable. C'était un vrai chaos de bruits: des cris humains, des coups de sifflet, des vociférations furieuses, avec des rires... des rires plus effrayants que tout le reste... le clapotement de rames sur l'eau, des coups de hache, le fracas de portes et de coffres brisés, la plainte d'agres qu'on manoeuvre, le grincement de roues sur la greve, le pietinement d'une multitude de chevaux, le glas di tocsin, le cliquetis des chaines. le crépitement lugubre de vastes

* Ces mots qui appartiennent, je crois, à un dialecte tartare le cri de guerre des pirates de la Volga. A ce cri, les équipages des bateaux abordés par les corsaires se couchaient à plat ventre sous peine d'être égorgés.

** Dans le deuxième acte de l'opéra de Carl Maria von Weber (1786-1826), le Freischütz, la Vallée-aux-Loups est le repaire de Saül incarnation du diable. [N.d.E.]

incendies, des chansons d'ivrognes, des grincements de dents et des jurons atroces, des lamentations, des prières désespérées, des commandements militaires, des râlements de mort mêlés aux sons joyeux du fifre et à la cadence de rondes forcenées. On distinguait ces cris: «Tue-le! pends-le! à l'eau! brûle! à l'ouvrage! à l'ouvrage! pas de quartier!» J'entendais jusqu'au souffle hâletant qui sortait de poitrines épuisées....et cependant, partout où ma vue pouvait s'étendre, rien ne paraissait... Nul changement dans l'aspect du pays. Devant nous, la rivière coulait silencieuse et sombre; le rivage semblait plus inculte et plus désert encore. Je me tournai vers Ellis: elle posa un doigt sur ses lèvres.

«Stepan Timofeitch! voici Stepan Timofeitch!» Un cri s'éleva sur toute la plaine: «Vive notre petit père! notre ataman! notre père nourricier!» Soudain, quoique je continuasse à ne rien voir, il me sembla sentir un corps gigantesque s'avancer vers moi et une voix épouvantable se mit à crier: «Frolka*, où es-tu, chien? Du feu partout! Allons! un coup de hache à ces mains blanches**! qu'on m'en fasse de la chair à pate!»

Je sentis la chaleur d'une flamme tout près de moi, l'odeur acre de la fumée pénétra dans mes narines, et en même temps quelque chose de chaud et de liquide, comme des gouttes de sang, jaillit sur mon visage et mes mains. Des rires sauvages éclatèrent autour de nous.

Je perdis connaissance et quand je revins à moi, je me retrouvai avec Ellis, planant doucement à la lisière de mon bois, à peu de distance du vieux chêne.

«Vois-tu ce joli petit sentier, me dit-elle, la-bas où tombe la lune, où se balancent ces deux bouleaux? Veux-tu que nous allions là?»

J'étais si accablé, si brisé, que je ne pus que lui répondre : «A la maison!

- Tu es à la maison», dit Ellis.

* Stepan ou Stepka Razine, cosaque du Don, d'abord pirate sur la Volga et dans la mer Caspienne, puis chef d'une insurrection formidable de serfs qui prit Astrakhan et devasta plusieurs provinces de la Russie meridionale vers le milieu du XVII^e siècle. Il fut roué vif.

** C'est ainsi que dans le peuple on désigne les gentilshommes.

En effet, j'étais à ma porte, seul. Ellis avait disparu. Le chien de garde s'approcha, me considéra avec défiance et s'enfuit en hurlant. Je gagnai mon lit, non sans effort, et je m'endormis sans m'être deshabillé.

XVII

Le lendemain, pendant toute la matinée, j'eus la migraine, et c'est à peine si je pus faire quelques mouvements ; mais ce malaise corporel n'était pas ce qui me préoccupait le plus. J'étais honteux de ma conduite et dépité contre moi-même. «Coeur faible! me répétais-je. Oui, Ellis a raison; pourquoi m'effrayer? pourquoi ne pas profiter de l'occasion? J'aurais pu voir Cesar en personne, et la peur m'a fait perdre la tête, j'ai piaillé, je me suis enfui comme un enfant à la vue des verges... Quant à Razine, c'était une autre affaire... En ma qualité de gentilhomme et de propriétaire... Mais là encore, pourquoi avoir peur?... Coeur faible! coeur faible!»

«Tout cela, d'ailleurs, ne serait-ce pas en rêve que je l'aurais vu?» me demandai-je à la fin. J'appelai ma femme de charge.

«Marfa, à quelle heure me suis-je couché hier? Te le rappelles-tu?

- Dame ! qui pourrait te le dire, mon père nourricier ? Un peu tard, je crois bien. Quand il a commencé à faire noir, tu es sorti de la maison... et dans ta chambre à coucher tu tapais de tes talons de bottes jusqu'après minuit... Vers le matin... oui, vers le matin... oui. Et voilà deux jours que cela dure. Est-ce que tu as du chagrin ?

- Bon ! ces courses, pensai-je, ces courses en l'air, le moyen d'en douter maintenant ?... Marfa, quelle mine ai-je aujourd'hui ? lui demandai-je brusquement.

- Quelle mine ? Pardon, que je te regarde... Tu as les joues un petit peu creuses, oui, et tu es pâle, mon père nourricier... Tiens ! et tu es jaune comme cire.»

Un peu decontenance, je renvoyai Marfa.

«J'y mourrai ou j'en perdrai l'esprit, me disais-je, méditant près de ma fenêtre. Il faut que cela finisse, c'est terrible. Le coeur me bat si étrangement. Quand je vole, il me semble qu'on me boit le sang de mon coeur, ou qu'il se distille, comme le bouleau en été laisse couler sa sève quand il a été entamé par la hache... Tout cela

n'est pas naturel... Et Ellis?... Elle joue avec moi comme un chat avec une souris... et pourtant elle n'a pas l'air de me vouloir du mal?... Allons! c'est la dernière fois que je me fie à elle... Je regarderai tant que je pourrai... et... Mais si elle buvait mon sang? quelle horreur!... D'ailleurs des courses si rapides doivent faire du mal. On dit qu'en Angleterre il est défendu sur les railways de faire plus de 120 verstes à l'heure...»

Je méditai longtemps : mais à dix heures du soir j'étais auprès du vieux chêne.

XVIII

La nuit était sombre, triste et froide ; l'air sentait la pluie. A ma grande surprise, je ne trouvai personne sous le chêne. Je me promenai quelque temps aux environs ; j'allai jusqu'au bois, je revins, essayant toujours de pénétrer la profondeur des ténèbres... Personne ! J'attendis assez longtemps, puis j'appelai Ellis à plusieurs reprises, élevant toujours la voix de plus en plus, mais toujours inutilement. J'étais triste, presque affligé. Déjà je ne pensais plus au danger qui tout à l'heure me préoccupait. Je ne pouvais me faire à l'idée qu'Ellis ne reviendrait plus.

«Ellis! Ellis! viens donc! Ne viendras-tu pas?» criai je une dernière fois. Un corbeau, éveillé par ma voix, s'élança tout à coup de la cime d'un arbre voisin, se débattant à grand bruit au milieu des branchages. Ellis ne paraissait pas.

La tête baissée, je m'en retournai à la maison. J'étais déjà sur la chaussée de l'étang, et la lumière qui sortait de la fenêtre de ma chambre tantôt brillait en plein, tantôt disparaissait interceptée par le feuillage de mes pommiers. Elle me semblait l'oeil d'un gardien chargé de veiller sur moi. Tout à coup une sorte de petit frolement aigu dans l'air se fit entendre derrière moi, et aussitôt je me sentis soulevé... absolument comme une caille est emportée, trousseée par un épervier. C'était Ellis. Sa joue touchait la mienne, et je sentais son bras m'enlaçant comme un anneau étroit. Elle parla, et sa voix, toujours contenue comme un petit murmure, en entrant dans mon oreille, me fit l'effet d'un souffle glacé. «C'est moi!» dit elle. J'éprouvais tout à la fois du plaisir et de la terreur. Nous volions à peu de distance du sol.

«Tu ne voulais donc pas venir aujourd'hui? lui demandais-je.

- Tu en étais fâché ? Tu m'aimes donc ! Oh ! tu es à moi ! »

Ces derniers mots me troublèrent ; je ne savais que lui dire.

«On m'a retenue, poursuivit-elle. Ils me gardaient.

- Qui donc a le pouvoir de te retenir ?

- Où veux-tu aller ? me demanda Ellis sans répondre plus que d'habitude à ma question.

- Porte-moi en Italie... au bord du lac... tu sais...»

Elle secoua la tête pour dire non. En ce moment, pour la première fois, je remarquai que son visage n'était plus transparent. On eut dit qu'une faible rougeur s'était étendue sur sa blancheur de lait. Je considérai ses yeux, et son regard me frappa désagréablement. Il y avait au fond de ses yeux un mouvement sinistre, presque imperceptible, mais incessant qui faisait penser à un serpent engourdi que le soleil commence à rechauffer.

«Ellis, m'écriai-je, qui es-tu? Dis-le moi, je t'en supplie.»

Elle haussa les épaules. J'étais piqué, et je voulus lui donner une leçon. L'idée me vint de lui demander de me mener à Paris. Là, pensai-je, elle aura bien occasion d'avoir de la jalousie. «Ellis, lui dis-je, tu n'as pas peur des grandes villes? De Paris, par exemple?

- Non.

- Non? Ni des endroits fort éclairés, comme les boulevards?

- Ce n'est pas la lumière du jour.

- Très bien. Alors porte-moi au boulevard des Italiens.»

Elle jeta sur ma tête un bout de sa longue manche. Aussitôt je me trouvai au milieu de ténèbres blanchâtres, imprégnées d'une odeur de pavots. Tout disparut à la fois, la lumière, le bruit et presque la conscience... A peine sentais-je que je vivais encore, et cette espèce d'anéantissement n'était pas sans douceur. Tout d'un coup le brouillard se dissipa. Ellis retirait sa manche de dessus ma tête, et je voyais au-dessous de moi un grand nombre de vastes édifices, beaucoup de lumière et de mouvement... J'étais à Paris.

J'étais déjà allé à Paris, et je reconnus aussitôt l'endroit où Ellis m'avait transporté. C'était le jardin des Tuileries, avec ses vieux marronniers d'Inde, ses grilles de fer, ses fosses de forteresse et ses zouaves en faction semblables à des bêtes. Nous passâmes devant le palais, devant Saint-Roch, et nous nous arrêtas sur boulevard des Italiens. Une foule de gens, jeunes et vieux, ouvriers en blouse, femmes en toilette, se pressaient sur les trottoirs. Des restaurants et des cafés dorés à outrance étincelaient de mille feux. Omnibus, fiacres, voitures de toute espèce et toute apparence se croisaient sur la chaussée. Tout cela brillait à ne pas savoir où porter les yeux. Pourtant, chose étrange, je n'étais nullement tenté de quitter mon observatoire aérien, si haï et si pur, pour me mêler à cette fourmilière humaine. Je sentais monter jusqu'à moi une vapeur rouge, chaude, lourde et d'odeur douteuse. Trop de vies humaines s'étaient entassées dans cette cohue... J'hésitais, quand, aigre et âpre comme un grincement de ferraille, la voix d'une lorette s'éleva jusqu'à moi. Cette voix effrontée me fit l'effet d'une pique de vermine. Alors je me représentai un visage de pierre, plat, mafflé, une vraie mine parisienne, des yeux d'usurier, du blanc, du rouge, des cheveux crêpes, un bouquet criard de fleurs artificielles sous un chapeau exigü, des ongles taillés en griffes et une informe crinoline. Je me représentai en même temps un de nos bons provinciaux de la steppe fraîchement débarqué à Paris et trottillant misérablement après cette vile poupée venale. Je le vis tâchant de cacher sa gaucherie sous un air de grossièreté, grasseyant, parlant en fausset, s'efforçant d'imiter les façons des garçons de Vefour, faisant des courbettes et des platitudes. Saisi de dégoût, je me dis: «Ce n'est pas ici qu'Ellis sera jalouse.» Cependant je remarquai que nous commencions à descendre... Paris envoyait à notre rencontre tous ses bruits et toutes ses odeurs.

«Arrête! dis-je à Ellis. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on étouffe ici?

- C'est toi-même qui as voulu venir à Paris.

- J'ai eu tort. je change d'idée. Emporte-moi loin d'ici, Ellis, je t'en prie.

Tiens! voici justement le prince Koulmametof qui trotte sur le boulevard et son ami

Serge Varaxine qui lui fait signe de la main et lui-crie: «Ivan Stepanitch, allons souper, j'ai engagé Rigolboche* en personne!» Emmène-moi, Ellis, loin de Mabilles**, de la Maison-Dorée***, loin du Jockey-Club, loin des soldats au front rasé et de leurs belles casernes, loin des sergents de ville avec leur impériale au menton, loin des verres d'absinthe trouble, des joueurs de domino et des joueurs à la Bourse, des rubans rouges à la boutonnière de l'habit et à la boutonnière du paletot, loin de M. de Foy*, inventeur de la spécialité des mariages, loin des consultations gratuites du docteur Charles Albert, loin des cours de littérature et des brochures gouvernementales, loin des comédies parisiennes, des opérettes parisiennes, des politesses parisiennes et de l'ignorance parisienne. Partons, partons! – Regarde en bas, me dit Ellis. Déjà tu n'es plus au-dessus de Paris.»

J'ouvris les yeux. En effet, une plaine sombre, sillonnée ça et là de lignes blanchâtres par les routes, fuyait rapidement au-dessous de nous, et loin à l'horizon, telle que la lueur d'un immense incendie, s'élevait vers le ciel la réverbération des innombrables lumières éclairant la capitale du monde.

XX

La manche d'Ellis tomba de nouveau sur mes yeux: de nouveau je perdis connaissance, puis le nuage se dissipa.

Qu'est cela? quel est ce parc avec des allées de tilleuls taillées en murailles, des sapins isolés qui ressemblent à des parasols, des portiques et des temples dans le goût Pompadour, des statues de tritons rococo et des nymphes dans le style du Bernin au milieu de bassins bizarrement découpés, entourés de balustrades de marbre enfumé? Serait-ce Versailles?... Non, ce n'est pas Versailles: un petit palais à l'architecture également rococo se détache sur un massif de chênes touffus. la lune est un peu terne, voilée par une légère brume; on dirait que sur le sol s'étend une

* Sumom d'une danseuse de bal public très connue dans les années 1859-1860. [N.d.E.]

** Bal public très fréquenté. [N.d.E.]

*** Restaurant réputé, situé boulevard des Italiens. [N.d.E.]

* Directeur d'une agence matrimoniale. [N.d.E.]

mince couche de fumée. L'œil ne peut deviner ce que c'est. Est-ce le reflet de la lune ou bien une vapeur? Plus loin, sur un des bassins, flotte un cygne endormi. Son dos allongé me rappelle la neige de nos steppes raffermie par la gelée. Ça et là des vers luisants brillent comme des diamants au milieu du gazon et sur les socles des statues.

«Nous sommes près de Mannheim, dit Ellis, et voici le parc de Schwetzingen.»

Ah! nous sommes en Allemagne, pensai-je; et je prêtai l'oreille. Tout était muet, sauf une source solitaire et invisible qui tombait dans une vasque. Il me sembla que l'eau répétait toujours ces mêmes mots: «Là, là, la toujours là.» Au milieu d'une allée, entre deux murailles de verdure, j'aperçus un gentilhomme en habit galonné, talons rouges, manchettes arrondies, l'épée battant les mollets, qui donnait la main avec une grâce exquise à une belle dame en paniers, frisée, poudrée à frimas... Pâles et étranges figures!... Je veux les voir de plus près, mais elles disparaissent aussitôt, et je n'entends que le babilement incessant de la source.

«Ce sont des rêves qui se promènent, me dit Ellis. Hier on pouvait voir bien autre chose... beaucoup de choses... Cette nuit, les rêves eux-mêmes fuient les regards humains. Allons! allons!»

Nous nous élevâmes et nous mîmes à voler si droit que je ne sentais pas le moindre mouvement et que tous les objets au-dessous de nous semblaient accourir à notre rencontre. Des montagnes sombres, dentelées, couvertes, de bois, croissaient, fuyaient sous nos yeux, suivies par d'autres montagnes avec leurs ondulations, leurs ravins, leurs clairières, leurs points lumineux sortant des chalets endormis au bord des ruisseaux... Et toujours aux ^{tagers succédaient} mon d'autres montagnes. Nous étions au milieu de la Forêt Noire.

Toujours des montagnes, toujours des forêts, d'admirables forêts, vieilles, mais vigoureuses. La nuit est claire; je distingue toutes les espèces d'arbres, surtout les pins au tronc droit et blanc. Par moments, à la lisière des bois, se montrent des chevreuils. Elégamment campés sur leurs jambes menues, tournant la tête avec grâce, ils font le guet, dressant avec vigilance leurs fines oreilles. Les ruines d'un donjon au sommet d'un rocher nu élèvent tristement leurs dentelures ébrechées. Au-dessus des

vieilles pierres oubliées scintille paisiblement une étoile. D'un petit lac noir sort comme une plainte mystérieuse. La note cristalline des crapauds se répondant en tierce. D'autres sons prolongés et mélancoliques comme les frémissements de la harpe éolienne arrivent jusqu'à moi. Nous sommes dans le pays des légendes. Ici encore cette mince vapeur rasant la terre, que j'avais remarquée à Schwetzingen, s'étend de tous côtés. C'est dans les vallons surtout qu'elle est le plus intense. J'en compte cinq, six, dix nuances distinctes sur les versants des montagnes, et sur cette vaste et monotone étendue règne paisiblement la lune. L'air est vif et léger. Je me sens léger moi-même, et singulièrement calme.

«Ellis, dis-je, tu dois aimer ce pays?

- Moi ? je n'aime rien.

- Comment ? pas même moi !

- Ah ! oui, toi», répondit-elle nonchalamment.

Je crus sentir que son bras me serrait avec une force nouvelle.

«En avant! en avant!» s'écria-t-elle avec une sorte d'emportement froid.

XXI

Un cri éclatant et prolongé comme par roulades retentit inopinément au-dessus de nos têtes et se répète aussitôt en avant de nous.

«C'est l'arrière-garde des grues en marche vers le nord, me dit Ellis. Joignons-nous à elles, veux-tu?

- Oui, volons avec les grues.»

Treize puissants et beaux oiseaux, rangés en triangle, s'avançaient rapidement en agitant à de rares intervalles leurs vigoureuses ailes bombées. Raidissant le col et les pattes, présentant leurs fortes poitrines, ils s'élançaient avec tant d'impétuosité que l'air sifflait autour d'eux. C'était étrange de voir à cette hauteur, si loin de tout être vivant, cette vie énergique et hardie, cette volonté irrésistible. Sans trêve et sans relâche, tout en fendant victorieusement l'air, les grues échangeaient de temps en temps quelques cris avec leur camarade à la pointe du triangle, et il y avait quelque chose de fier et de grave, comme un sentiment de confiance inébranlable, dans ces

cris retentissants, dans cette conversation aérienne. — Nous volerons jusqu'au bout malgré la fatigue, semblaient-elles se dire, en s'encourageant l'une l'autre. — Et il me vint à l'esprit qu'en Russie... et dans le monde entier... il n'y a que peu d'hommes qui ressemblent à ces oiseaux.

«Maintenant, nous volons en Russie», me dit Ellis.

Ce n'était pas la première fois que j'en faisais la remarque : la plupart du temps, Ellis connaissait ma pensée. «Veux-tu changer la route? me demanda-t-elle.

- Changer?... non, je viens de Paris, porte-moi à Pétersbourg.

- Maintenant?

- Tout de suite. Seulement couvre-moi de ta manche, de peur du vertige.»

Ellis étendit la main... mais, avant que le brouillard m'enveloppât, je sentis sur mes lèvres le contact de ce dard emousse dont j'avais déjà éprouvé la molle piqure.

XXII

«Garde à vous... ou...ou...ou!» Ge cri prolongé retentit à mes oreilles. «Garde à vous... ou...ou...ou!» répondit-on dans le lointain d'un effort désespéré. «Garde à vous... ou...ou!» Le cri expira quelque part au bout du monde. Je me secouai. Une grande flèche dorée se dressait devant mes yeux. Je reconnus la forteresse de Pétersbourg.

Pâle nuit du nord !... mais est-ce la nuit ? n'est-ce pas plutôt un jour blafard et malade ? Je n'ai jamais aimé les nuits de Pétersbourg, mais cette fois j'en fus presque effrayé. Le contour d'Ellis avait complètement disparu, dissous, fondu comme un brouillard matinal par le soleil de juillet, et cependant je continuais à voir distinctement mon corps lourdement suspendu dans l'air à la hauteur de la colonne d'Alexandre. Ainsi, nous voilà à Pétersbourg ! C'est bien cela : ces rues désertes, larges, couleur de cendre : ces maisons gris blanchâtre, jaune grisâtre, gris lilas, couvertes de stuc éraillé, avec leurs fenêtres enfoncées dans le mur, leurs enseignes de couleurs criardes, leurs auvents en fer au-dessus des perrons : les sales boutiques

de fruits, les fiacres, les corps de garde de police ! Voici la coupole dorée de Saint-Isaac, la Bourse, qui ne sert à rien, et ses bariolages, les murs de granit de la forteresse et le pavé en bois tout brisé. Je reconnais ces barques chargées de foin et de fagots. Je retrouve ces senteurs de poussière, de choux, de nattes, d'écorce et d'écurie, ces portiers pétrifiés dans leurs pelisses, ces cochers de louage qui dorment ratatinés sur leurs vieux drochki. Oui, voilà bien notre Palmyre du nord. Tout est éclairé, tout se dessine avec une netteté qui fait mal au coeur, et tout dort tristement entassé au milieu de cette atmosphère trouble, mais diaphane. Le rose du crépuscule d'hier soir, ce rose de poitrinaire, n'est pas encore effacé ; il durera jusqu'au matin dans un ciel blanc sans étoiles. Ses reflets tombent en longues raies sur la surface moirée de la Neva, qui murmure et pousse doucement ses flots bleus et froids vers la mer.

«Volons», s'écria Ellis.

Et, sans attendre ma réponse, elle m'emporta à l'autre rive du fleuve, au delà de la place du Palais, près de la Fonderie. Au dessous de nous, j'entendis des pas et des voix. Dans la rue passait une bande de jeunes gens à la même fatiguée, qui parlaient entre eux d'un bal de grisettes. «Sous-lieutenant Stolpakof VII^{*}» s'écria tout à coup une sentinelle reveillée en sursaut auprès d'un tas de boulets rouillés. Un peu plus loin, à la fenêtre ouverte d'une grande maison, j'aperçus une jeune personne en robe de soie chiffonnée, les bras nus, les cheveux dans une resille de perles, une cigarette à la bouche. Elle lisait dévotement un livre. C'était un volume dû à la plume d'un Juvenal très moderne.

«Envolons-nous bien vite», dis-je à Ellis.

En un instant, les petits bois de sapins rabougris et les marais moussus qui environnent Pétersbourg avaient fui au-dessous de nous. Nous nous dirigions droit vers le sud. Le ciel et la terre devenaient peu à peu de plus en plus sombres. Nuit maladive, jour maladif, cité maladive, nous laissâmes tout loin en arrière.

XXIII

* Les officiers du même nom dans l'armée russe sont distingués par un numéro

Nous volions plus lentement que de coutume, et je pouvais suivre de l'oeil les changements qui par degrés se manifestaient sur ma terre natale. C'était un panorama sans fin : des bois, des bruyères, des champs, des ravins, des rivières ; de loin en loin, des églises et des villages, puis encore des champs, des ravins, des rivières. J'étais de mauvaise humeur, indifférent, ennuyé. Et si j'étais ennuyé et chagrin, ce n'était pas parce que je volais au-dessus de la Russie. Non ! mais cette terre, cette étendue plate au-dessous de moi, tout le globe du monde avec sa population éphémère, chétive, suffoquant de besoins, de douleur, de maladies, attachée à cette motte de misérable poussière... cette écorce fragile et rugueuse, cette excroissance par-dessus le grain de sable de notre planète, sur laquelle a filtré une moisissure ennoblée par nous du nom de règne végétal... ces hommes-mouches, mille fois plus méprisables que les mouches, leurs demeures de boue, les petites traces de leurs misérables et monotones querelles, leurs ridicules batailles contre l'immuable et l'inévitable... Ah ! que tout cela m'était odieux ! Mon cœur se soulevait, et je ne voulus plus contempler un tableau si insignifiant, une caricature si triviale. J'étais ennuyé, plus qu'ennuyé : je n'éprouvais même plus de pitié pour mes semblables. Tous mes sentiments se fondaient en un seul, que j'ose à peine avouer, le dégoût, et, qui pis est, le dégoût de moi-même.

«Cesse! murmura Ellis, cesse, ou je ne pourrais plus te porter. Tu deviens lourd.

- A la maison ! lui dis-je, du même ton que j'aurais parlé à mon cocher, vers quatre heures du matin, sortant de dîner chez un de mes amis de Moscou, après avoir causé de l'avenir de la Russie et de ce qu'il faut entendre par principe de la commune.

- A la maison ! » lui dis-je, et je fermai les yeux.

XXIV

Je les rouvris bientôt. Ellis se serrait contre moi d'une manière éfrange, elle me poussait presque. Je la regardai, et tout mon sang se glaça. Celui qui a vu un visage humain exprimer inopinément l'effroi le plus vif sans cause apparente, celui-la comprendra mon impression. L'épouvante. la plus poignante terreur contractait, bouleversait les traits d'Ellis/ je n'avais encore rien observé de semblable sur un visage vivant... Un fantôme inanimé, une créature surhumaine, une ombre et cette épouvante inouïe !...

«Ellis, qu'as-tu? lui demandai-je.

- Elle! C'est elle! répondit Ellis avec effort. C'est elle!

- Qui? Elle?

- Ne prononce pas son nom! ne le prononce pas! balbutia-t-elle précipitamment. Il faut fuir! Tout finit... et pour jamais!... Regarde! la voilà.»

Je tournai les yeux dans la direction de sa main tremblante, et j'aperçus quelque chose... quelque chose de vraiment effroyable.

Ce quelque chose était d'autant plus effroyable qu'il n'avait pas une forme déterminée... C'était une lourde masse, sombre, d'un noir jaunâtre, tacheté comme le ventre d'un lézard. Ce n'était ni un nuage ni une vapeur. Cela s'étendait sur la terre lentement, à la manière d'un reptile; puis des mouvements énormes, tantôt en haut, tantôt en bas, de grands balancements réguliers, rappelaient les battements d'ailes d'un oiseau de rapine s'appêtant à saisir sa proie. Par moments, cela s'abaissait sur la terre par bonds hideux... C'est ainsi que l'araignée se jette sur la mouche prise dans sa toile. «Quelle es-tu, masse épouvantable?...» A son approche, - je le voyais et je le sentais, -tout était saisi d'engourdissement, tout tombait en dissolution. Un froid venéneux et empesté se répandait alentour, et a la sensation de ce froid, le coeur se soulevait, les yeux cessaient de voir, les cheveux se herissaient sur la tête. C'était une force en mouvement, une force insurmontable, que rien n'arrête, qui, sans forme, sans vision, sans pensée, voit tout, sait tout, aussi ardente que l'oiseau de proie à saisir sa victime, aussi rusée que le serpent, et comme lui méchant et égorgeant sa proie de son aiguillon de glace.

«Ellis! Ellis!m'écriai-je en frissonnant, c'est la Mort! c'est elle!»

Le son plaintif, que j'avais entendu déjà, sortit des lèvres d'Ellis; mais cette fois c'était plutôt l'accent du désespoir humain. Nous précipitâmes notre vol qui devint désordonné: tour à tour Ellis s'élevait et plongeait dans l'air, tournant sans cesse et changeant de direction à la manière d'une perdrix blessée, ou comme celle qui cherche à éloigner le chien de chasse de sa couvée. Et cependant de cette masse horrible se détachaient de longs tentacules, grêles et hideux comme ceux des polypes, s'allongeant à notre poursuite, étendant vers nous des espèces de griffes... Un spectre gigantesque monté sur un cheval pâle parut tout à coup dans le ciel... Ellis redoublait ses efforts désespérés. «Elle a vu!... c'en est fait! je suis perdue, s'écriait-elle au milieu de sanglots entrecou-pés. Hélas, malheureuse! j'aurais pu... La vie eut été pour moi... et maintenant! anéantie! anéantie!»

En entendant ces derniers mots à peine articulés, je perdis connaissance.

XXV

Quand je revins à moi, j'étais étendu à la renverse sur le gazon, et dans tous mes membres je ressentais une douleur sourde comme à la suite d'une chute violente. L'aube paraissait, et les objets étaient déjà distincts. A quelque distance de moi, une route bordée de petits saules passait le long d'un bois de bouleaux. Ce lieu m'était connu. Je commençai à me rappeler tous les événements de la nuit, et je frissonnai en pensant à l'horrible apparition qui s'était présentée à mes yeux. «Mais pourquoi, me disais-je, pourquoi Ellis a-t-elle été si effrayée? Est-elle, elle aussi, soumise à son empire? Peut-être n'est-elle pas immortelle, peut-être est-elle prédestinée à la destruction, à l'anéantissement! Comment est-ce possible?»

Un faible soupir se fit entendre auprès de moi; je tournai la tête. A deux pas de moi gisait, étendue sur l'herbe, une jeune femme sans mouvement, vêtue d'une longue robe blanche. Ses longs cheveux étaient épars, et une de ses épaules découverte. Sa main gauche était derrière sa tête, l'autre reposait sur sa poitrine; ses yeux étaient clos, et sur ses lèvres j'aperçus comme une légère écume rouge. Était-ce Ellis? Mais Ellis était un fantôme, et devant moi était une femme en chair et en os. Je

me traînai vers elle, et me penchant sur son visage : « Ellis, lui dis-je, est-ce toi ? » Aussitôt, avec un lent frisson, ses paupières s'ouvrirent, et ses grands yeux noirs se fixèrent sur moi. J'étais comme transpercé, imbibé de son regard... et presque au même moment, sur mes lèvres se collèrent des lèvres chaudes, douces, mais avec une odeur de sang. Je sentis son sein brûlant presse sur ma poitrine, tandis que ses bras s'enlaçaient autour de mon cou. « Adieu ! adieu pour toujours ! » dit-elle d'une voix mourante... Et tout disparut.

Je me levai chancelant comme un homme ivre, et je cherchai longtemps autour de moi, tout en me passant à chaque instant les mains sur le visage. Enfin je me retrouvai sur la route de N. à deux verstes de ma maison. Le soleil était levé lorsque je regagnai mon appartement.

La nuit suivante, j'attendis, et non sans terreur, je l'avoue, l'apparition de mon fantôme ; mais il ne revint plus. Une fois j'allai la nuit sous le vieux chêne, mais je ne vis rien d'extraordinaire. Je ne regrettais guère ces entrevues étranges. Longtemps j'ai médité sur mon aventure ; je m'assurai que la science ne pouvait l'expliquer, et que les légendes et les traditions ne rapportent rien de semblable. En effet, qui était Ellis ? Une apparition, une âme en peine, un malin esprit, un vampire... Souvent il m'a semblé qu'Ellis était une femme que j'avais connue autrefois... J'ai fait des efforts inouis pour me rappeler où je l'avais vue... Une fois. Aujourd'hui, dans ce moment même, je me souviens... Où?... Non ; tout se confond dans ma mémoire comme dans un songe... Oui ; j'ai longtemps réfléchi là-dessus, et, ce qui ne surprendra personne, je n'en suis pas plus avancé. Demander conseil à mes amis, je n'ai pu m'y décider de peur de passer pour fou. Enfin je pris le parti de n'y plus songer, et au vrai, j'avais bien d'autres affaires en tête... D'un côté est venue l'émancipation des serfs, avec les arrangements de propriétés ; d'un autre côté, ma santé est gravement altérée. Je souffre de la poitrine, j'ai des insomnies, une toux sèche. J'ai beaucoup maigri. Mon visage est pâle comme celui d'un mort. Le docteur assure que mon sang est appauvri. Il appelle mon état maladif une anémie. Il m'envoie à Gastein. Mon homme d'affaires jure que sans moi il ne saura s'arranger avec les paysans. Ma foi ! qu'il s'arrange !

Mais que signifient des sons parfaitement distincts et clairs, des sons d'harmonica que j'entends toutes les fois qu'on parle devant moi de la mort de quelqu'un? Ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus éclatants. Et pourquoi ce frisson si pénible à la seule pensée de l'anéantissement?

La muse-vampire

Apparitions n'a jamais cessé de dérouter et d'intriguer ses lecteurs : premier écrit «fantastique» d'un grand prosateur réaliste, il marque un tournant dans son oeuvre; dix nouvelles «mystérieuses» verront ensuite le jour; les deux dernières, écrites à l'extrême fin de la vie, font partie des chefs-d'oeuvre du genre dans la littérature russe.

Apparitions est un texte complexe et poétique comme le sont tous ceux de Tourguéniev; en outre, il est inhabituellement composite, et ses éléments constitutifs demeurent bizarrement disparates: au «fantastique» et au «Philosophique», dont Merimée critiqua d'ailleurs l'association, il faut ajouter l'autobiographique, sans pour autant que le «je» du narrateur s'y confonde avec celui de l'auteur.

Le fantastique d'Apparitions est de nature onirique: l'écrivain y réutilise un rêve de vol fait en 1849 où il se transformait lui-même en oiseau. Tourguéniev s'intéressait aux rêves qui sont nombreux dans toute son oeuvre; il était également superstitieux, passionné d'arithmologie et de parapsychologie, troublé par la magie des nuits de pleine lune et par les bruits mystérieux. Mais avec de tels penchants, il était aussi fondamentalement réaliste: l'originalité de ses nouvelles fantastiques est le soin méticuleux qu'il apporte à étudier la jointure entre le mystère et la vie concrète d'un homme très ordinaire. Le narrateur d'Apparitions est d'abord un hobereau russe prosaïque, soucieux de sa santé lorsqu'il voyage, pressé de retrouver la sécurité de sa maison. Il est bien au chaud dans son lit quand un rayon de lune, suivi d'un bruit indistinct puis d'un rêve, le «dérange» pour la première fois; c'est après avoir bu son thé du soir qu'il court au rendez-vous fixé par le spectre; mais sa vie nocturne

échevelée va empiétant de plus en plus sur son existence diurne normale, jusqu'à détruire son corps même et l'effacer du monde des vivants.

Comme récit philosophique, *Apparitions* est une sorte de mise en images de la métaphysique de Schopenhauer où, depuis la fin des années cinquante, Tourguéniev a trouvé une justification supérieure à son pessimisme naturel, pessimisme qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. Dans un plan manuscrit d'*Apparitions*, le futur chapitre XXIII est résumé par les mots: «Vue de la terre. (Schopenhauer)». La fiction du vol au-dessus de la terre (doublé à trois reprises d'un voyage dans le passé) permet de dérouler une succession de tableaux synthétiques, colorés chacun d'une impression dominante; vus de très haut, ces tableaux s'amalgament en une «Motte de poussière méprisable». La vision d'une nature inquiétante, indifférente et formidablement puissante, s'identifie alors chez l'écrivain au Monde comme volonté de Schopenhauer, détrônant la conception panthéiste qui fut longtemps la sienne d'une nature amie de l'homme et accordée à ses plus belles aspirations. La vaste mer ou l'immense forêt russe sont pour lui des symboles de cette puissance formidable qui renvoie l'homme à son insignifiance derisoire: au chapitre VI, le narrateur et Ellis survolent la forêt russe; au chapitre IX, ils survolent la mer. Dans *Apparitions*, le pessimisme philosophique total semble immédiatement découler de l'expérience vécue, celle du grand voyageur que fut Tourguéniev; même les excursions dans le temps se rattachent à sa vie personnelle, souvenirs précis du voyage qu'il fit en 1840 en Italie et, en ce qui concerne Stenka Razine, épisode de la tradition familiale remontant au XVIII^e siècle. Quant à la vision fantastico-philosophique du chapitre XXIV, elle est directement issue de l'imaginaire de l'écrivain, et sa hideur insoutenable donne une idée de ce que pouvait être son angoisse de la mort.

Ainsi la réflexion philosophique d'*Apparitions*, si apparente qu'y soit la référence schopenhauerienne, est entièrement personnalisée avec les mots et les images d'un grand prosateur-poète, à l'heure d'un bilan particulièrement noir de sa propre existence: existence errante, vainement agitée et ridicule jusqu'à la nausée, gesticulation dérisoire pour échapper à cette force qui «voit tout, sait tout, choisit ses

victimes comme un rapace, les écrase et les lèche comme un serpent de son dard gele».

Tourguéniev était un maître dans l'art d'organiser savamment des matériaux hétéroclites et de suggérer une impression générale (et illusoire) d'unité. De ce point de vue, l'étrange amalgame qu'est *Apparitions* se distingue du reste de l'œuvre; les composantes du personnage d'Ellis, qui intriguait déjà l'entourage de l'écrivain, n'ont pas été clairement dégagées à ce jour. La réception d'*Apparitions* fut d'ailleurs un «fiasco» si l'on en croit Tourguéniev; lui-même se disait incapable d'expliquer qui était Ellis et de voir dans son texte autre chose qu'une «suite de dissolving views de l'âme, suscitées par un état passager, pénible et sombre, de [son] "moi"». Cependant il tenait à cette œuvre et prit soin de la faire figurer au tome V de ses (*Œuvres complètes* de 1865. Dostoïevski, qui avait pourtant flatté l'auteur sans la moindre pudeur : «... pour s'assurer la publication d'*Apparitions* dans sa revue *L'Epoque*, y vit surtout l'étalage vaniteux de son «moi» par un écrivain arrivé; il devait faire de ce texte (associé à *Assez*) une parodie délectablement cruelle dans la troisième partie des *Démon*s où elle est mise dans la bouche d'un personnage caricatural d'écrivain arrivé, Karmazinov, en qui chacun reconnut Tourguéniev.

Tentons d'éclairer un peu la zone d'ombre qui subsiste dans cette œuvre. Ellis est doublement une «étrangère»: elle vient du pays d'après la mort, mais dans sa vie antérieure elle est issue des brumes brianniques, des îles qui furent le berceau du roman noir et du vampirisme. La nature vampirique d'Ellis a toujours paru évidente: elle aspire telle une sangsue la vie même du narrateur (ce qui ne lui procure d'ailleurs qu'un bref sursis d'existence terrestre). Mais cette caractéristique du personnage n'est pas la seule, elle est même peut-être secondaire.

Ellis sert aussi de guide à l'humain sur lequel elle a jeté son dévolu; elle le conduit où il désire aller, lui offre le privilège de voir d'en haut les lieux et les temps où le commun des humains est habituellement immergé, lui suggère par ses propres réactions comment les interpréter, lui voile miséricordieusement la face avec sa manche d'un beau geste antique lorsqu'il n'a plus la force de supporter certaines

visions... Au bout du voyage, elle aussi est repérée par la force immonde, vouée à sombrer dans le néant.

La fonction dévolue à Ellis autorise à surimposer à la figure fantastique de l'amoureuse-vampire l'allégorie, bizarrement hétérogène, de la muse : mais l'hétérogénéité n'est pas la marque de la « Fantaisie » tout entière ?

Cette muse, compagne translucide « connue autrefois » que le narrateur s'efforce en vain de situer dans son passé à lui, fut souvent l'ultime consolatrice de l'écrivain. Or la voici, telle qu'elle apparaît à l'heure du plus noir bilan et du désespoir total : une goule qui a sucé sa vie au point que son « corps se dessèche » et que son « visage est jaune comme celui d'un mort. » Il faut donc que l'art lui-même soit une tromperie, si la prêtresse du Beau se révèle une créature plus débile encore que l'artiste dont elle avait fait sa proie. Et alors toute l'oeuvre de l'écrivain, demeure jusque-là incurablement romantique, son art, sa vision, du monde tout cela n'est que mirages, « apparitions » (le mot russe implique étimologiquement « l'illusion » du sens de la vue), fatras de visions macroscopiques et microscopiques qu'il jette une dernière fois sur le papier, sans chercher à « faire de l'art », dans un grand geste de désespoir spectaculaire – qui heureusement ne fut pas définitif...

Françoise Flamant

Vie d'Ivan Tourguéniev

1818. Naissance à Orel d'Ivan. Tourguéniev, issu d'une famille aristocratique.

1821. Sa famille s'installe à Spasskoïé.

1827-1829. Etudes secondaires à Moscou.

1833. Tourguéniev fait des études de lettres à Moscou.

1834. Mort de son père. Tourguéniev est inscrit à l'université de Saint Pétersbourg.

1835. Il suit les cours d'histoire dispensés par Gogol.

1836. Tourguéniev traduit en russe Othello et Le Roi Lear de Shakespeare, et Manfred de Byron.

1839. Aventure avec Mme Tiouttchev, mère de quatre enfants. Tourguéniev séjourne à Saint-Petersbourg où il rencontre Lermontov.

1840. Voyages en Autriche et en Italie. A Berlin. Tourguéniev rencontre Michel Bakounine.

1840. Rencontre de Gogol à Moscou. A l'automne, séjour chez les Bakounine à Premoukhino, où commence une idylle avec Tatiana, la soeur de Michel Bakounine.

1842. Installé à Moscou, Tourguéniev interrompt ses études et renonce à la carrière de professeur.

1843. Tourguéniev compose Paracha, un poème narratif. Après avoir rompu avec Tatiana Bakounine, il s'éprend de la cantatrice. Pauline Viardot, amour qui durera jusqu'à sa mort. Parution de sa première pièce, Une imprudence.

1844. Entré en fonction au ministère de l'Intérieur, Tourguéniev demande aussitôt un congé. A Moscou, il rencontre Alexandre Herzen. Parution d'André Kolossov.

1845. Tourguéniev rejoint Pauline Viardot à Paris. De retour à Saint-Pétersbourg, il fait connaissance de Dostoïevsky.

1846. Parution du poème André et de la nouvelle Les Trois Portraits.

1847. Privé du soutien financier de sa mère qui désapprouve son existence, Tourguéniev rejoint les Viardot à Paris et à Courtavenel (Seine-et-Marne). Parution, dans *Le Contemporain*, de sa première esquisse paysanne, *Le Putois* et Kalinytch, qui remporte un grand succès.

1850. La mort de sa mère met Tourguéniev à la tête d'une importante fortune.

1852. A la mort de Gogol, Tourguéniev fait paraître un article nécrologique jugé subversif qui lui vaut d'être exilé sur ses terres jusqu'en 1853.

1855. Parution de sa pièce *Un mois à la campagne* et de *L'Auberge de grand chemin*. Tourguéniev lance le jeune Leon Tolstoi dans les milieux littéraires.

1856. Parution du recueil *Nouvelles et récits d'Ivan Tourguéniev* (1844-1856). Autorisé à voyager, Tourguéniev, après un séjour auprès de Pauline Viardot, se lie avec le poète russe Fet et se lance dans le monde des lettres françaises.

1857. Negligé par Pauline Viardot et en proie à la dépression, Tourguéniev détruit tous ses manuscrits. Il rencontre Prosper Mérimée et Alexandre Dumas. De passage à Londres, il communique à Herzen des informations sur Russie destinées à paraître dans *La Cloche*, revue subversive.

1858. Parution en France de la traduction des *Mémoires d'un chasseur*.

1859. Parution de *Nid de gentilhomme*. Tourguéniev met en place un «fonds littéraire», destiné à aider les écrivains demunis.

1860. En prévision de la réforme agraire, Tourguéniev partage volontairement ses terres avec ses paysans. Parution de *A la veille* et de *Premier Amour*. Séjours à Courtavenel et à Londres, chez Herzen. En octobre, il s'installe rue de Rivoli, à Paris.

1861. Elu membre correspondant de l'Académie des sciences de son pays. Tourguéniev accueille avec émotion le décret du 19 février abolissant le servage.

1862. A Paris, il heberge Bakounine, évadé de Sibérie. Polemique épistolaire avec Herzen, à qui Tourguéniev exprime son désaccord avec les idées socialistes de *La Cloche*. Parution de son roman *Pères et Fils*. Tourguéniev s'installe à Baden-Baden avec Pauline Viardot.

1863. En raison de ses relations avec les émigrés de Londres, Tourguéniev est impliqué, en Russie, dans le «Procès des trente-deux».

1864. Parution d'Apparitions, dans L'Epoque, la revue de Dostoievsky.

1865. Des soucis financiers l'obligent à vendre des terres en Russie. Première rencontre avec Gustave Flaubert, avec qui il avait correspondu en 1863.

1867. A parution, son roman Fumée est très mal accueilli.

1869. Parution, en France, des Nouvelles moscovites.

1870. Mort de Herzen, reconcilié peu de temps auparavant avec Tourguéniev. Parution, dans Le Messager de l'Europe, d'Une étrange histoire.

1871. Tourguéniev est à Londres, où il rencontre notamment George Eliot et Dante Gabriel Rossetti.

1872. il s'installe à Paris dans la même maison que les Viardot. Devenu ami intime de Flaubert, Tourguéniev voit aussi fréquemment Edmond de Goncourt, George Sand, Emile Zola et Alphonse Daudet. Il fait traduire et paraître en Russie les oeuvres de Flaubert et de Zola, et, en France, celles de Tolstoi et d'Ostrovsky. Rencontre de Lavrov, dont il soutient la revue En avant!

1874. Parution de Terres Vierge.

1878. Tourguéniev est choisi comme vice-président du congrès international des écrivains, présidé par Victor Hugo.

1879. Parti en Russie pour la mort de son frère, Tourguéniev y est accueilli avec enthousiasme.

1880. Mort de Flaubert. Tourguéniev continue de soutenir les révolutionnaires russes par sa plume.

1881. Parution de Vieux Portraits et du Chant de l'amour trimophant.

1883. Atteint sans doute d'un cancer, après dix-huit mois de souffrance, Tourguéniev meurt à Bourgival, dans la propriété des Viardot.

Ouvrages d'Ivan Tourguéniev

- ◆ L'Abandonnée, Stock, coll. Bibliothèque cosmopolite, 1983.
- ◆ Dimitri Roudine, Stock, coll. Bibliothèque cosmopolite, 1984.
- ◆ Lettres inédites à Pauline Viardot et à sa famille, L'Age d'Homme, 1972.
- ◆ Le Journal d'un homme de trop, Stock, coll. Bibliothèque cosmopolite, 1984.
- ◆ Mémoires d'un chasseur, Gallimard, Folio, 1981.
- ◆ Un mois à la campagne, Arche, 1989.
- ◆ Pères et Fils, Gallimard, Folio bilingue, 1990.
- ◆ Terres vierges, Stock, 1971.
- ◆ Romans et nouvelles complets, 3 vol., Gallimard, La Pléiade, 1981.

Etudes sur Ivan Tourguéniev

- ◆ Nabokov (Vladimir), Gogol, Tourguéniev, 2 vol., Le Livre de Poche, 1988.
- ◆ Trevor (William), En lisant Tourguéniev, Phebus, coll. d'Aujourd'hui, 1993.
- ◆ Troyat (Henri), Tourguéniev, Flammarion, 1985.
- ◆ Zviguilsky (Alexandre), Correspondance Gustave Flaubert, Ivan Tourguéniev, Flammarion, 1989.
- ◆ Zviguilsky (Tamara), Le Musée Tourguéniev: littérature, musique, peinture, Nouvelles Editions latines, coll. Musées de France, 1993.

LE CHIEN

«... Mais, si vous admettez le surnaturel, si vous admettez son intervention dans les choses de la vie réelle, alors, permettez-moi de vous le demander, quel sera le rôle de la saine raison?» Sur cet argument, Anton Stepanytch sr croisa les bras.

Anton Stepanytch avait le grade de conseiller ministériel, dans je ne sais quel département, et comme il possédait une voix de basse sonore, et qu'il parlait en ponctuant ses phrases, il s'était attiré la considération générale. On venait de lui infliger la croix de Saint-Stanislas, comme disaient ses envieux.

«Incontestable, dit Skorévitch.

- Il n'y a pas à disputer la-dessus, ajouta Kinarevitch.

- J'en tombe d'accord, dit de sa petite voix flûtée le maître de la maison, M. Finoplentof, assis dans son coin.

- Quant à moi, j'avoue que je ne suis pas de cet avis, attendu qu'à moi qui vous parle, il est arrivé quelque chose de bien surnaturel.» Cette interruption venait d'un monsieur de moyenne taille, de moyen âge, un peu ventru, chauve, qui jusqu'à ce moment était demeuré assis pres du poêle sans ouvrir la bouche. Tous les regards se tournèrent vers lui, et il y eut un moment de silence.

Ce monsieur était un petit propriétaire du gouvernement de Kalouga, établi depuis peu à Saint-Petersbourg. Il avait servi quelque temps dans les hussards, avait perdu son argent au jeu, demandé sa retraite et s'était remis à planter ses choux dans son village. Les derniers changements dans la propriété ayant fort réduit ses revenus, il était parti pour la cour afin d'obtenir, s'il se pouvait, quelque petite place. Il n'avait ni moyens de succès, ni connaissances *influentes*, mais il comptait fort et ferme sur l'amitié d'un ancien camarade de régiment, lequel, sans qu'on sût comment ni pourquoi, était tout à coup devenu un personnage. Or, autrefois, il l'avait aidé à rosser un grec. Em outre il croyait à sa veine, et il n'avait pas tort. En effet, au bout de quelques jours, on lui conféra la place d'inspecteur de certains magasins du gouvernement, place de bon rapport, honorable par-dessus le marché, et qui n'exigeait pas une capacité transcendante, d'autant plus que les magasins en question

n'existaient que sur le papier, et qu'on n'avait pas encore arrêté ce qu'on y mettrait ; mais cela se rattachait à un nouveau système d'économie administrative.

Le premier, Anton Stepanytch rompit le silence général.

«Comment! mon cher monsieur, vous nous assurez, sans badinage, qu'il vous est arrivé quelque chose de surnaturel?... Je veux dire quelque chose en désaccord avec les lois de la nature?

- Je vous le garantis, répondit le cher monsieur, qui s'appelait Porfiri Kapitonovitch.

- En désaccord avec les lois de la nature ! reprit avec quelque véhémence Anton Stepanytch qui tenait évidemment à sa phrase.

- Oui da ! Tout à fait comme vous me faites l'honneur de dire.

- C'est bien extraordinaire ! qu'en dites-vous, messieurs ? » Anton Stepanytch avait essayé de prendre une expression ironique, mais il manqua son effet, et pour parler exactement, monsieur le conseiller ne parvint à donner à ses traits que l'expression de quelqu'un qui sent une mauvaise odeur. «Seriez-vous assez bon, reprit-il, en se tournant vers le gentilhomme de Kalouga, pour nous donner quelques détails sur une aventure si curieuse.

- Vous voulez que je vous conte la chose ? C'est facile, » répondit le gentilhomme, et passant au milieu de la chambre, il parla comme il suit :

«J'ai, messieurs, comme vous le savez probablement, ou peut-être comme vous ne le savez pas, un petit bien dans le district de Kozelsk. Autrefois j'en tirais quelque chose, mais à présent, comme vous pouvez bien l'imaginer, cela ne me rapporte rien que des querelles, des affaires. Mais ne parlons pas politique. Eh bien donc, dans cette petite propriété j'avais une métairie bien petiotte, potager à l'avenant, petit étang avec des carassi¹, batiments tels quels... entre autres une maisonnette pour reposer mon pauvre corps... Je suis garçon. Voilà donc qu'un jour, il y a de cela six ans, je rentrais au logis un peu tard. J'avais fait la partie avec un voisin, mais je vous prie de croire que je marchais bien droit. Je me déshabille, je me couche; je souffle ma bougie... Figurez-vous, messieurs, qu'à peine ai-je soufflé ma bougie, voilà que

¹ Expece de tanche.

ca remue sous le lit. Qu'est-ce que c'est? Des souris? Non, ce n'est pas des souris. Ça se gratte, ça marche, ça gigotte, ça se secoue les oreilles. C'est clair: c'est un chien: mais d'où vient-il, ce chien? Je n'en ai pas. Je me dis: il faut que ce soit quelque chien perdu. J'appelle mon domestique. Je l'appelle: Filka! Il vient avec une lumière. - «Qu'est-ce donc que cela? que je lui dis, mon pauvre Filka, tu ne fais jamais attention à rien! Il y a un chien caché sous le lit. -Un chien? qu'il dit. Quel chien? - Est-ce que je sais, moi? que je lui dis. C'est ton affaire à toi de procurer des embêtements à ton maître.» Voilà Filka qui se baisse et regarde sous le lit avec la chandelle. «Il n'y a pas plus de chien que sur la main,» qu'il me dit. Je me baisse: en effet, pas de chien. Quelle farce! Je lui fais les gros yeux. Filka se met à rire. - «Imbécile, que je lui dis, qu'as-tu à te mordre les lèvres? Le chien, quand tu as ouvert la porte, aura passé et filé par l'antichambre, mais toi, vieille bête, tu ne fais attention à rien, parce que tu dors toujours. Crois-tu par hasard que j'aie bu?...» n'en ai jamais eu. - Comment cela? Qu'est-ce que c'est donc? -Ce que c'est? - Tiens, allume toi même la bougie, tu sauras ce que c'est. -Ce n'est pas un chien? -Non. Vassili Vassiliitch se retourna dans son lit. Tu badines, dit-il, qu'est-ce que c'est? -Je ne badine pas, que je lui dis.» Je l'entends faire frr frr, avec une allumette, et pendant ce temps là, le chien allait toujours son train, il se grattait les cotes. - La bougie s'allume. Bast! Disparu! Vassili Vassiliitch me regarde; je le regarde. «Qu'est-ce que c'est que cette farce-la? qu'il me dit. -Eh bien, mon cher, la farce, la voici: c'est que tu mettrais à y réfléchir Socrate d'un côté, et le grand Frédéric de l'autre, qu'ils ne te l'expliqueraient pas;» et la-dessus, je lui conte toute l'affaire. Ah! si vous l'aviez vu sauter du lit comme un chat échaudé. Il ne pouvait pas entrer dans ses bottes. «Des chevaux! criait-il, des chevaux!» Je me mis à le raisonner, mais il se lamentait toujours plus fort. «Je ne reste pas ici une minute de plus, qu'il criait. Tu es un homme maudit, damne! Des chevaux!...» J'eus bien de la peine à le faire tenir tranquille. Il voulut avoir son lit dans une autre chambre, et de la lumière partout. Le matin en prenant le thé, il était un peu plus rassis, et il se mit à me conseiller. «Voistu, Porfirii Kapitonovitch qu'il me dit, tu ferais bien d'essayer de passer quelques jours hors de chez toi. Peut-être qu'alors ce désagrement-la cesserait. «Et, je vous

dirai, messieurs, que c'est un homme que mon voisin... un homme d'un esprit supérieur. Sa belle-mère, entre autres, il l'a entortillée d'une façon étonnante. Il lui a passé des lettres de change. Ah! aussi, il a choisi son moment... Elle est devenue comme un mouton. Elle lui a donné un pouvoir pour l'administration de son bien. Que voulez-vous de plus? C'est d'une grande force d'embêter comme cela une belle-mère? Je vous en fais juges. Seulement, il s'en alla pas trop content, car je le refis encore d'une centaine de roubles. Il était de mauvaise humeur. «Tu n'es guère reconnaissant, qu'il me dit, tu me traites mal.» Mais moi... Est-ce ma faute? Au reste, je trouvai l'avis bon, et le jour même je partis pour la ville. J'allai descendre chez un vieux que je connaissais, un aubergiste, un Raskolnik. C'était un petit vieillard fort vénérable, bien qu'un peu grognon, parce qu'il était tout seul. Toute sa famille était morte. Seulement, il ne pouvait pas sentir le tabac, et il avait les chiens en horreur, tant et si bien, que plutôt que de consentir à voir un chien dans sa chambre il se serait enfui dans les champs. «Comment le souffrirais-je, qu'il disait, voilà la bonne Vierge qui me fait l'honneur d'être pendue dans mon appartement, et un impie de chien viendrait fourrer là son impur museau!» Que voulez-vous? Ça n'a pas d'éducation. Quant à moi, je dis que chacun doit s'en tenir à la sagesse que le Ciel lui a départie. Voilà mon caractère.

- A ce que je vois, vous êtes un philosophe, interrompit Anton Stepanytch avec le même sourire.»

Cette fois Porfirii Kapitonovitch fronça le sourcil. «Philosophe! s'écria-t-il en faisant remuer ses moustaches d'une façon menaçante, ça n'est pas prouvé. Mais j'en donné des leçons de philosophie, moi.»

Tous les regards se tournèrent sur Anton Stepanytch. Tout le monde s'attendait à une réponse terrible, tout au moins à un regard foudroyant, mais M. le conseiller ministériel changea son sourire dédaigneux en un sourire d'indifférence, il bailla, remua un pied, et ce fut tout.

«Eh bien! donc, poursuivit Porfirii Kapitonovitch, je m'installai chez ce vieux. En faveur de notre connaissance, il me donna sa propre chambre qui n'était pas des meilleures, et pour lui, il alla s'établir derrière un paravent. Mais c'était tout

ce qu'il me fallait. Seulement j'en eus à endurer pour lors. La chambre était petite; une chaleur!... Pas d'air!... des mouches... tout gluant!... Dans un coin, une armoire comme on n'en voit pas, avec des images antiques, avec leurs chapes bouffies et ternes! Ca sentait l'huile et la boutique d'apothicaire. Sur le lit deux oreillers... touchez-y, voilà un tarakane qui se met à courir. Aussi, d'ennui, je me mis à prendre du thé à m'en mettre jusqu'au menton. Vilain logement! Je me couche; pas moyen de dormir. Derrière le paravent, mon vieux respirait, geignait, marmottait ses prières. Enfin. le voilà qui s'assoupit. J'écoute: il se met à ronfler, d'abord gentiment, puis à la bonne franquette, puis un feu roulant. Il y avait longtemps que j'avais éteint ma lumière, mais la lampe brûlait toujours devant les images. Cela me gênait. Je me lève tout doucement, nus pieds, je m'accroupis devant la lampe, pst, je souffle dessus... Rien. Bon! je me dis, il paraît que cela ne va pas en ville. Bah! je n'étais pas plutôt recouché que le sabbat recommence, et des grattements, et des oreilles qu'on secoue... bref, le train accoutumé. C'est bien! J'attends dans mon lit; voyons ce qui va arriver. J'écoute. Voilà le vieux qui se réveille: «Maître, dit-il, Maître? - Qu'y a-t-il? - Est-ce que tu as éteint la lampe?» Et sans attendre ma réponse mon vilain se lève à tâtons. «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un chien! un chien!... Ah maudit Niconien! - Minute! mon vieux, lui dis-je, ne nous fâchons pas. Viens-t'en ici. Il se passe des choses un peu étonnantes.» Le vieux sort de derrière son paravent et m'arrive avec un bout de bougie, un rat de cire jaune. Non, jamais je n'avais vu pareille figure. Tout velu, du poil dans les oreilles, des yeux féroces comme un blaireau, sur la tête un bonnet de feutre blanc, la barbe jusqu'à la ceinture, blanche aussi, et par-dessus la chemise un gilet, avec des boutons de cuivre; aux pieds des chaussons fourrés, et tout cela sentant le genièvre d'une lieue. En ce costume il va aux images, il fait trois fois le signe de la croix avec deux doigts, il rallume la lampe, se signe encore, puis se tournant vers moi, il me dit d'une voix enrouée: «Eh bien! qu'on s'explique.»

Alors, sans plus tarder, je lui conte toute l'affaire. Le vieux m'écoute sans lâcher un traître mot; seulement, voyez-vous, il gratte la tête. Il s'assied sur le pied de mon lit, comme cela, toujours sans parler. Il se gratte l'estomac, la nuque, il se

frotte. Pas une parole. «Eh bien! lui dis-je, Fedoul Ivanovitch, voyons. Qu'est-ce que tu en dis? N'est-ce pas une tentation? une diablerie? hein?» Le vieux me regarde. «Une tentation! une diablerie! dit-il. Y penses-tu? Bon chez toi, dans ta tabagie. Mais dans cette maison-ci!... Songes-y donc. C'est un lieu saint. Une tentation, qu'est-ce donc?» Le vieux se met à réfléchir et à se gratter en silence, enfin il me dit en barbouillant, parce que ses moustaches lui entraient dans la bouche: «Va-t'en à la ville de Belev. Il n'y a qu'un homme qui puisse t'aider, et cet homme reste à Belev. C'est un des notres. S'il veut te secourir, tant mieux pour toi: s'il ne veut pas, il n'y a rien à faire. - Et comment le trouver, cet homme-la? lui demandai-je. - Pour cela, je te l'indiquerai bien, dit-il; mais comment serait-ce une tentation? C'est une vision, peut-être bien une manifestation... mais toi tu n'es pas à cette hauteur-là; cela te passe. Allons! tâche de dormir avec le Père et avec Christ. Moi, je vais brûler de l'encens. Demain nous réfléchirons. Demain, tu sais, est plus sage qu'aujourd'hui.»

Eh bien ! donc, le matin nous fîmes conseil ; mais j'oubliais de vous dire qu'il faillit m'asphyxier avec son encens. Et voici l'adresse que me donna mon vieux. En arrivant à Belev, aller sur la place, et à la seconde boutique à droite demander un certain Prokhorytch et lui remettre une lettre. Cette lettre était un chiffon de papier, ou il y avait écrit : «Au» nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. A Serge Prokhorytch Pervouchine. Crois à celui-ci. Feodoulï Ivanovitch. Et plus bas: «Envoie des choux, et loue soit le saint nom de Dieu!»

Je remerciai mon vieux et sans barguigner, je fais atteler un tarantass et je me fais mener à Belev. Parce que je raisonnais ainsi : Bien que jusqu'à présent, mon visiteur nocturne ne m'ait pas fait de mal, cela ne laisse pas d'être ennuyeux. Et d'ailleurs, cela n'est pas convenable pour un gentilhomme et pour un officier. Qu'en pensez-vous ?

- Et vous allâtes à Belev ? murmura M.Finoplentof.

Tout droit. Sur la place je demande après Prokhorytch à la seconde boutique à droite. «Est-il ici? que je demande. - Oui, il y est, qu'on me dit. - Où reste-t-il? - Sur l'Oka, dans le faubourg. -Quelle maison? - Dans la sienne.» Je vais sur l'Oka, je trouve sa maison, c'est-à-dire, ce n'était pas une maison, une hutte. Je vois un homme

en veste bleue, rapiécée, casquette déchirée, qui me tournait le dos, tout occupé à bêcher des choux. Je m'avance, et je lui dis: «Est-ce vous qui êtes un tel?» Il se retourne, et je vous jure ma parole, que de ma vie je n'ai jamais vu d'yeux si perçants que les siens. D'ailleurs une figure grosse comme le poing, une barbe de bouc, pas de dents ; c'était un vieux.

«C'est moi, qu'il me dit; qu'y a-t-il pour votre service? - Voilà, lui dis-je, et je lui remets la lettre. Il me regarde fixement comme cela; puis il me dit: «Veuillez passer dans la chambre ; je ne puis lire sans lunettes.» Nous allons dans sa chambre, un vrai chenil, nu, misérable, de la place à peine pour s'y tenir. Sur la muraille une image noire comme charbon, les têtes des saints, toutes noires, avec des yeux tout blancs. Il prit dans le tiroir d'une vieille table des besicles de fer, se les posa sur le nez, lut la lettre, puis se mit à me regarder au travers de ses besicles. «Vous avez besoin de moi? - Oui, vraiment. - Eh bien! exposez votre affaire. Nous écoutons.» Et représentez-vous mon homme qui s'assied, tire de sa poche son mouchoir à carreaux, l'étale sur ses genoux... un mouchoir tout troué, et qui me regarde d'un air imposant, comme si c'était un sénateur ou un ministre, et qui ne me dit pas de m'asseoir... Et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que tout d'un coup la peur me prend... Je suis saisi... mon ame me tombe dans les talons. Il abaissait sur moi son regard de côté... Enfin, suffit!... Pourtant, quand je fus un peu remis, je lui contai toute mon histoire. Il ne dit rien; il fronçait le sourcil, il se mordait les lèvres; puis, de l'air d'un sénateur, avec une majesté sans pareille, il me demande sans se presser; «Votre nom? votre âge? vos parents? Etes-vous marié ou garçon?» Puis, après s'être encore mordu les lèvres, fronce les sourcils, il leva un doigt, et me dit: «Prosternez-vous devant les saintes images des purs et secourables évêques, les saints Zozime et Savvat de Solovetz. «Je me prosternai tout de mon long, et peu s'en fallut que je n'y restasse couche, tant cet homme m'inspirait de frayeur et de vénération, et tout ce qu'il m'aurait dit, ma foi! je l'aurais fait... Messieurs, je vois bien que cela vous fait rire, mais moi je vous garantis qu'alors je n'en avais pas envie. «Levez-vous, monsieur, dit-il enfin. On peut vous secourir. Ce n'est pas une punition qui vous est envoyée, c'est un avertissement. Cela veut dire qu'il y a des inquiétudes à votre sujet.

Heureusement, il y a quelqu'un qui prie pour vous. Allez vous-en au bazar, et achetez-vous un jeune chien que vous tiendrez toujours auprès de vous, nuit et jour. Vos visions cesseront, et, outre cela, le chien pourra vous être utile.»

Il me sembla voir le ciel ouvert. Vous n' imaginez pas la joie que me firent ses paroles. Je saluai profondément Prokhorytch, et j'allais m'en aller, quand je me rappelai qu'il ne serait pas mal de lui faire mes remerciements, et je tirai de mon portefeuille un papier de trois roubles; mais il le repoussa de la main, et me dit: «Donnez cela à une chapelle ou aux pauvres. Ces services-là ne se payent pas.» Je le saluai encore, me courbant cette fois jusqu'à sa ceinture, et me voilà en marche pour le bazar. Et figurez-vous qu'en m'approchant des boutiques, la première chose que je vois c'est un homme en souquenille grise portant un chien de deux mois, couleur cannelle, le museau blanc, les pattes de devant blanches aussi. «Halte! dis-je à la souquenille. Combien la bête? - Deux roubles. - En voilà trois.» Mon drôle fut étonné. Il crut que j'étais fou, mais je lui mets mon billet entre les dents, et il me porte mon chien à bras tendu jusqu'à mon tarantass. Le cocher fut leste à atteler, et le soir même j'étais rendu chez moi. Toute la route j'avais eu le chien sur mes genoux, et quand il piaillait, je lui disais: Trésor! Trésorouchko! Je lui donnai à manger, je lui donnai à boire; je fis apporter de la paille et je lui installai un lit dans ma chambre. Je souffle ma bougie, me voilà dans l'obscurité. «Allons, dis-je. Ça commence-t-il?» Rien. «Allons! voyons! commencerons-nous? Voyons, canaille! Allons un peu pour rire?» Je commençais à devenir brave. «Allons! en avant, nom de mon de tous les diables! Est-ce que le sabbat fait relâche? Je n'entendais rien que le petit chien qui respirait. «Filka! que je crie; Filka! avance, imbécile!» Il entre. «Entends-tu le chien? - Non, monsieur, je n'entends rien, et il se met à rire. - Ah! tu n'entends plus rien? Tiens, voilà un demi-rouble pour boire. - Permettez-moi de vous baiser la main,» dit mon coquin, en s'avançant à tâtons... Je vous laisse à penser quelle fut ma joie!

- Et c'est ainsi que cela finit? demanda Anton Ctepanytch, mais cette fois sans ironie.

- Oui, les visions finirent là, et je ne fus plus jamais inquiété; mais attendez, l'histoire n'est pas encore finie. Mon Trésor grandit, et devint fort et haut sur pattes;

forte queue, longues oreilles pendantes, grosses babines, un fort chien d'arrêt. Il s'attacha à moi d'une façon extraordinaire. De nos côtés la chasse ne vaut pas grand'chose, et pourtant quand j'amenaïs mon chien, je trouvais de jolis coups de fusil à faire. J'allais avec mon Trésor rôder dans les environs. Il me levait un lièvre – fallait le voir après les lièvres! mon Dieu! – ou bien des fois une perdrix ou bien un canard sauvage. Mais, notez bien, jamais il ne me quittait d'une semelle. Ou j'allais, il allait; même au bain, je le menais avec moi. Bon, une voisine à nous ne voulut-elle pas le faire sortir du salon, mon Trésor. Ce fut une bataille rangée! Je finis par lui casser les vitres, à cette mijauree, Un jour donc, c'était en été... et je vous dirai qu'il faisait une sècheresse comme on n'en a jamais vu. Dans l'air c'était comme une vapeur, un brouillard. Tout était brûlé. Un temps sombre. Le soleil comme un boulet rouge, et une poussière à vous faire éternuer. Le monde allait bouche béante comme les corbeaux. Je m'ennuyais de rester to-ujours à la maison, en deshabilité complet, les volets fermés; d'ailleurs la grande ardeur commençait à baisser. Si bien, messieurs, que je voulus aller voir une voisine à moi. Cette voisine restait à une verste de chez moi. C'était une dame très-bienfaisante, encore jeune et fraîche, toujours bien arrangée, seulement un petit peu capricieuse. Ah! chez les femmes, il n'y a pas grand mal à cela. Au contraire chacun y gagne. Voilà d'nc que j'arrive au perron, et la route m'avait paru diablement salée; mais je comptais que Ninfodora Semenovna allait joliment me restaurer avec de l'eau d'airelle et d'autres choses fraîches. Déjà j'avais la main sur le bouton de la porte, quand tout à coup, de derrière une maison de paysan, j'entends un grand bruit, des fracas, des cris d'enfants... Je regarde, Seigneur Dieu! droit sur moi, s'élance une énorme bête rousse, qu'au premier moment je ne pris pas pour un chien. La gueule ouverte, les yeux sanglants, le poil hérissé... J'avais à peine fait un soupir d'angoisse, quand cet affreux monstre saute sur le perron, se lève sur ses pattes de derrière, et me tombe droit sur la poitrine... Jugez un peu la situation!... Mort de saisissement, je n'aurais pas pu remuer la main... stupefié... Je vois encore d'énormes crocs blancs sous mon nez et une langue rouge pleine d'écume!... Mais au même moment, voila qu'un autre corps solide passe devant moi comme un éclair. C'était mon bijou, mon Trésor qui venait à mon secours, et comme

une sangsue, il vous empoigne la bête à la gorge... Voilà l'autre, qui râle, qui grince les dents, qui se culbute... J'ouvre la porte cochère et je ne fais qu'un saut dans l'antichambre. J'entre sans savoir où j'étais. J'appuie de tout mon corps contre la porte, et pendant ce temps-là, sur le perron, il se livrait une bataille furieuse. Je me mets à crier au secours ! Toute la maison est sens dessus dessous. Ninfodora Semenovna accourt, ses bandeaux défaits. Dans l'enclos le tapage diminuait un peu, et j'entends qu'on criait : « Arrête ! arrête ! ferme la porte cochère ! » J'entr'ouvre la porte du perron, seulement entrebaillée. Plus de bête sur le perron. Dans l'enclos, des gens qui couraient les bras levés, ramassant des buches, comme s'ils avaient eu la peste au corps. « Par le village ! il s'est enfui par le village ! » criait une vieille femme dont je voyais le bonnet passer par une lucarne. Je sors de la maison. Où est Trésor?... Ah ! le voilà. Je vois mon sauveur qui revenait à l'enclos, boiteux, déchire et tout sanglant. Qu'est-ce donc enfin, demandai-je aux gens qui accouraient en foule comme pour un incendie. Ils me disent : « C'est un chien enragé, un chien au comte. Depuis hier, il rôde par ici. »

Nous avions un voisin, un comte, qui avait amené des chiens de je ne sais où, des chiens étonnants. Me voilà une venette du diable, et je cours à un miroir pour voir si j'étais mordu. Non, grâce à Dieu, pas une écorchure ; seulement, vous comprenez, j'étais vert comme un pré, et Ninfodora Semenovna, étendue sur son divan, sanglotait comme une poule qui glousse. Cela se comprend. Primo, les nerfs, ensuite la sensibilité. Bon ! Elle revient à elle et elle me demande d'une voix sourde : « Est-ce que vous êtes encore vivant ? - Oui, je lui réponds, je suis vivant, et c'est Trésor qui m'a sauvé. - Ah ! mon Dieu, dit-elle, quelle noblesse de sa part ! Est-ce que ce chien enrage l'a tué ? »

- Non, je lui dis, il n'est pas mort, mais bien blessé. - Ah ! mon Dieu, dit-elle, en ce cas, il faut lui tirer un coup de fusil tout de suite. - Pour cela, non ! dis-je. J'essayerai de le guérir. » En ce moment, Trésor vient gratter à la porte et je lui ouvre. « Ah ! mon Dieu, dit-elle, que faites-vous ! Il va nous dévorer tous. - Pardonnez-moi, lui dis-je. Cela ne vient pas comme cela tout de suite. - Ah ! mon Dieu, dit-elle, est-il possible ? Vous avez perdu l'esprit. - Ninfodora, lui dis-je, calmez-vous. Soyez

raisonnable.» mais la voilà qui se met à crier: «Vite! sortez! avec votre affreux chien. -Eh bien! oui, je m'en irai, lui dis-je. -Tout de suite, dit-elle, pas une seconde de plus! Allez-vous-en! Vous êtes un monstre, et n'ayez jamais le front de vous montrer devant moi. Il est peut-être déjà enragé lui aussi! - Très-bien, dis-je; seulement donnez-moi une voiture, parce que je ne risquerai pas de m'en retourner à pied à la maison.» Elle me faisait des yeux!... «Qu'on lui donne une calèche, un droschki, ce qu'il voudra ! Mais qu'il parte tout de suite ! Ah mon Dieu ! quels yeux!» Là-dessus elle quitte le salon, flanque un soufflet à sa femme de chambre, et j'entends qu'elle se trouve mal dans l'autre pièce. Eh bien! messieurs, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais depuis ce temps-la, toute intimité fut rompue entre Ninfodora Semenovna et moi, et après mure réflexion, je ne puis m'empêcher d'ajouter que ce fait seul, je devrai de la reconnaissance à mon ami Trésor jusqu'à la porte de mon tombeau.

Je dis donc d'atteler la calèche, je fis monter Trésor et m'en revins chez moi. Là, je l'examinai, je lavai ses blessures, et je me dis à part moi, que je ferais bien de le mener le lendemain des la pointe du jour à la sage-femme du district d'Efrem. Cette sage-femme, c'est un vieux paysan qui est bien étonnant. Il murmure des paroles sur de l'eau; il y en a qui disent qu'il y mêle de la bave de serpent. - Il vous la donne à boire, et cela vous enlève tout comme avec la main. Par la même occasion, je me dis: Je me ferai saigner; c'est bon pour les saisissements. Bien entendu qu'on ne vous saigne pas au bras, mais à la fossette.

- Où est-ce donc, la fossette? demanda M.Finoplentof avec une curiosité timide.

- Vous ne savez pas ? Tenez, voilà l'endroit, sous le poing, après le pouce, où on met le tabac pour en prendre une bonne prise. Voilà. Pour une saignée, c'est le véritable endroit. D'abord, jugez-en vous même. De la main, c'est du sang de la veine ; la, au contraire, c'est du sang folâtre. Les docteurs ne savent pas ces choses-là. Ils ne s'en doutent pas, ces mendiants d'Allemands. Les maréchaux travaillent bien mieux, et comme ils sont adroits ! Ils vous posent leur ciseau, un coup de marteau, et c'est fait. Eh bien ! pendant que je faisais ces réflexions, voilà que la nuit tombait,

c'est-à-dire qu'il était temps d'aller se coucher. Je me mets dans mon lit, et bien entendu, Trésor auprès de moi. Mais je ne sais si c'était la chaleur, le saisissement que j'avais eu, ou bien les puces, ou mes réflexions, je sais bien que je ne pouvais m'endormir. Impossible ! J'en étais si ennuyé que je saurais vous le dire. Je bus de l'eau, j'ouvris ma fenêtre, je jouai sur la guitare le «Moujik de Komarino» avec des variations italiennes... Rien n'y faisait. Bah! je me dis, je ne peux pas durer dans cette chambre. Bon! je prends un oreiller, une paire de draps, une couverture, je traverse le jardin et je vais m'établir sous le fangar au foin. Là, messieurs, je me sentis plus à l'aise. Une nuit douce, très-douce, de temps en temps un petit zephyr, comme si on vous passait une main de femme sur la figure. Le foin tout frais, qui sent bon comme voilà votre thé. Les grillons chantent dans les pommiers. Par moments la caille glousse; on sent que la coquine est heureuse, qu'elle est dans la rosée à côté de son roi de cailles. Et le ciel si calme. Les étoiles s'allument, on voit venir de petits nuages blancs, blancs comme de la ouate et qui bougent à peine.»

En cet endroit du récit, Skorevitch éternua. Kinarevitch éternua aussi, seulement pour lui tenir compagnie. Anton Stepanytch leur adressa un coup d'oeil de félicitation.

«Eh bien! poursuivit Porfirii Kapitonovitch, je me couchai donc, mais je n'en dormis pas davantage. Je faisais des réflexions, et je réfléchissais surtout sur les pressentiments, sur ce que m'avait dit ce Prokhorytch, si justement, que je veillasse au grain, et pourquoi c'était à moi qu'était arrivée une aventure si étonnante... Je n'y concevais rien; particulièrement parce que c'est incompréhensible... Mais voilà Trésor qui se met à geindre en sautant sur le foin. C'est que ses blessures lui faisaient mal. Et je dois vous dire ce qui m'empêchait encore de dormir... La lune. Vous ne me croyez pas?... Je vous l'assure. La lune était là, tout droit en face de moi, ronde, plate, large, jaune, et je me mets en tête qu'elle s'était mise là... bonté divine!... par insolence et pour me narguer. Moi, je lui tirai la langue. Bien. Tu es curieuse de savoir ce que je pense?... Je me retourne; mais je la sens sur mon oreille, sur ma nuque. Cela m'enveloppait comme une pluie. J'ouvre les yeux. Le moindre petit bout d'herbe, la moindre branche dans le foin la plus petite toile d'araignée, tout est

comme ciselé par cette diablesse de lune, qui a l'air de me dire: Tiens! vois! Regarde! - Il n'y avait rien à faire: j'appuie ma tête sur ma main et je me mets à regarder. Puisqu'il le fallait! Le croiriez-vous? J'ai des yeux comme un lièvre. Ils s'ouvrent comme des portes cochères. Je vous jure que je ne sais plus comment on fait pour dormir. Eh bien donc, je devorais tout de ces yeux-là. La porte du hangar était ouverte toute grande. On voyait à cinq verstes dans la campagne. On y voyait - et on n'y voyait pas ; - c'est clair et trouble, comme il arrive quand il y a de la lune... J'étais donc à regarder, à regarder sans remuer un cil, quand tout à coup... il me semble voir quelque chose qui remuait, loin, bien loin... enfin quelque chose qui passait subitement. Il se passe un moment ; et je vois encore comme une ombre qui sautait,... pas bien près... Encore je la vois, un peu plus près. Qu'est-ce que cela ? Je me dis : ... est-ce un lièvre ? Oui, et il se rapproche. Je regarde. Non ; c'est plus gros qu'un lièvre. Ce n'est pas du gibier. Je regarde toujours. L'ombre reparait et se jette dans la prairie. Cette prairie, à cause de la lune, paraissait blanche, et dessus cela faisait une grosse tache. C'est clair ! C'est un fauve, un renard, ou un loup. Le cœur commençait à me battre. Mais qu'est-ce que je craignais ? Il ne manque pas de bêtes qui courent la nuit. La curiosité fut plus forte que la peur. Je me soulève ; j'écarquille les yeux, mais voilà tout d'un coup que je me sens là un froid, comme si on m'avait mis de la glace dans le dos. Et alors... Seigneur, ayez pitié de moi ! Qu'est-ce que je vois ? L'ombre grandit, grandit, se lance par la porte de l'enclos, et je m'aperçois que c'est une bête, une grosse bête à tête énorme... Il passe comme un ouragan... comme une balle... Messieurs, veuillez vous mettre à ma place... Il s'arrête un moment... se met à flairer... C'était mon chien enragé... lui-même ! Ah ! mon Dieu !... me remuer, je ne peux pas... crier pas davantage... Il enfle la porte du hangar, ses yeux étincelaient !... il pousse un hurlement, et se jette sur le foin, droit sur moi ! mais voilà mon brave Trésor qui de son côté, sort du foin et qui ne dormait pas. Gueule contre gueule ils s'empoignent ; ils ne faisaient qu'un. Ils tombent à bas en peloton. Ce qui s'ensuivit, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle seulement que je tombai à pile ou face, par-dessus eux, et que je m'enfuis par le jardin, jusque dans ma chambre à coucher. Pour un peu je me fourrais sous mon lit, je l'avoue à ma honte. Il fallait

voir mon galop et mes enjambées dans le jardin ! Je parie bien que la meilleure danseuse de chez l'empereur Napoléon, qui polke le jour de sa fête, ne m'aurait pas attrapé. Pourtant quand la souleuse fut un peu passée, je mis toute la maison sur pied. Tout le monde s'arma ; moi-même je pris un sabre et un revolver. Je l'avais acheté ce revolver, tout de suite après l'émancipation, savez-vous, pour n'importe quelle occasion. Mais quel gredin d'armurier colporteur ! (sur trois coups, il y a deux ratés). Nous voilà donc en ordre de bataille, armés qui d'une lanterne, qui d'un parement de fagot, marchant au hangar. Nous nous avançons, nous crions, nous n'entendons rien. Enfin nous entrons, et qu'est-ce que nous voyons ?... Mon pauvre Trésor, roide mort étranglé... et ce maudit chien disparu... Ni vu ni connu !

Alors, messieurs, je me pris à sangloter comme un veau, et je vous le dirai sans vergogne, je tombai à genoux auprès de mon ami, de la pauvre bête qui m'avait sauvé deux fois, et longtemps, je lui baisai la tête. Et je restai dans cette posture, jusqu'à ce que ma vieille femme de charge, Prascovie, qui était accourue elle aussi à la bagarre, me dit : «Qu'est-ce que vous avez, Porfirii Kapitonovitch, à vous périr pour un chien ? Oui, dit-elle, Dieu pardonne ! Vous devriez être honteux et vous prendre froid, (il est vrai que je n'étais guère vêtu). Et si ce chien qui vous a sauvé en a perdu la vie, c'est pour lui une grâce et un grand honneur.»

Enfin, bien que je ne fusse pas de l'avis de Prascovie, je rentrai à la maison. Quant au chien enragé, le lendemain un soldat de la garnison le tua d'un coup de fusil. C'est que son temps était venu, car ce soldat tirait cette fois son premier coup de fusil, bien qu'il eut une médaille pour avoir sauvé la patrie en 1812 Voilà, messieurs, pourquoi je vous disais qu'il m'était arrivé quelque chose de surnaturel.»

Le narrateur se fut, et se mit à bourrer sa pipe. Nous nous entre-regardions ne sachant qu'en penser. «Ah ! monsieur, c'est sans doute que vous êtes un homme de sainte vie, dit M. Finaplen, tofot c'est la récompense...» Mais, sur ce mot il s'arrêta court, s'apercevant que les joues de Porfirii Kapitonovitch se gonflaient et devenaient rouges ; ses yeux se rapetissaient ; il allait éclater de rire.

«Mais si vous admettez la possibilité du surnaturel, et son intervention dans notre vie de tous les jours, pour ainsi parler, reprit Anton Stepanytch, quel rôle après cela doit jouer la saine raison?...»

Personne d'entre nous ne trouva de réponse, et comme auparavant nous demeurâmes perplexes.

LE JUIF

«Racontez-nous donc quelque chose, colonel,» dis-je à Nikolai Ilitch.

Le colonel sourit, lança un filet de fumée à travers ses moustaches, passa la main sur ses cheveux blancs, et se mit à réfléchir. -nous aimions et respections beaucoup Nikolai Ilitch, pour sa bonté, son rare bon sens, et l'indulgence avec laquelle il nous traitait, nous autres jeunes gens. c'était un homme robuste, d'une haute taille, aux épaules carrées; il avait «une de ces belles figures russes,» comme dit Lermontof, le teint hâlé, le regard franc, intelligent, un sourire ; en un mot, tout plaisait et attirait dans sa personne.

«Allons! je le veux bien, dit-il; écoutez-moi. C'était en 1813, devant Dantzis. J'étais alors dans les cuirassiers de G..., et s'il m'en souvient, je venais de passer cornette. Rien de plus agréable que d'être en marche et d'aller au feu ; mais un siège est la chose du monde la plus ennuyeuse. Obligés de rester des semaines entières dans quelque logement, sous la tente, dans la boue ou sur la paille, nous jouions aux cartes depuis le matin jusqu'au soir. De temps en temps pour nous désennuyer, nous allions voir passer les bombes ou les boulets rouges. Au commencement du siège les Français nous donnaient parfois le divertissement d'une sortie ; mais cela ne dura pas longtemps. Le service de fourrageurs finit par nous sembler insipide ; en un mot, nous en avions pardessus les épaules. J'étais alors dans ma vingtième année, et j'avais la santé et la vigueur de mon âge ; je croyais que les Français, et le reste, vous comprenez....., m'aideraient à tuer le temps: ah bien oui ! rien ne venait. Le désœuvrement me jeta dans le jeu. Une nuit que j'étais en perte d'une somme considérable, la chance tourna tout à coup, et le matin je me trouvais avoir beaucoup gagné. Epuisé de fatigue, je sortis pour respirer le grand air, et me couchai sur l'herbe. La matinée était calme ; la longue ligne que formaient nos retranchements se perdait dans le brouillard. Après avoir regardé tout cela un bout de temps, je finis par m'endormir; quelqu'un toussant avec précaution à côté de moi me réveilla ; j'ouvris les yeux et j'aperçus un juif d'une quarantaine d'années, en longue redingote, portant des souliers et coiffé d'une calotte noire. Cet homme, qui se nommait Hirschel, était

toujours fourré dans notre camp, et nous apportait du vin, des vivres et une foule de bagatelles ; il était petit, maigre, grêlé, son nez était de travers, il clignait sans cesse des yeux, et toussillait continuellement.

Il se mit à tourner autour de moi en me saluant avec humilité.

«Que veux-tu? Lui demandai-je.

- C'est comme ça ; j'étais venu savoir si Votre Honneur n'avait rien a me...

- Je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi en repos.

- Comme vous voudrez ; comme il vous plaira..., je pensais que je pourrais peut-être...

- Tu m'ennuies ; va-t'en.

- C'est bien ; je vais vous obéir. Mais Votre Honneur a eu du bonheur cette nuit ; permettez-moi de vous féliciter.

- Comment sais-tu que je suis en gain ?

- Je sais toujours ces choses-la... ; vous avez beaucoup gagné. Oh ! oui... beaucoup.

- La belle affaire ! répondis-je avec dépit ; à quoi diable l'argent peut-il servir ici ?

- Oh ! ne dites pas ça, Votre Honneur ! ne le dites pas. L'argent, c'est une bonne chose. On en a toujours besoin ; et que ne peut-on pas avoir pour de l'argent, Votre Honneur ? tout ! Dites seulement ce que vous voulez au facteur¹, et il vous le procurera. Oui, Votre Honneur, tout, tout !

- Tais-toi donc, imbécile !

- Eh ! eh ! reprit Hirschel en secouant ses longs cheveux frisés.² Votre Honneur ne me croit pas.»

Le Juif ferma les yeux et se mit à hocher la tête.

«Et moi, je sais bien ce que M. L'officier doit désirer... Je le sais... Oh ! oui, je le sais bien ! »

¹ C'est ainsi que l'on désigne les commissionnaires juifs.

² Les juifs polonais portaient alors les cheveux longs et pendants sur les tempes.

Le juif sourit d'un air fin.

«Ah! vraiment,» lui répondis-je.

Il regarda craintivement autour de lui, se baissa et me dit :

«Une si jolie fille, Votre Honneur! Une beauté!»

Hirschel ferma de nouveau les yeux et avança les lèvres. «Votre Honneur, ordonnez... et vous verrez. Tout ce que je pourrais vous dire... ce n'est rien! vous ne me croiriez pas..., ordonnez-moi plutôt de vous montrer... Voilà! croyez-moi.»

Je le regardais sans rien dire.

«Allons! voilà qui est convenu! voilà qui est bien; je vous la montrerai.» - Hirschel se mit à rire et me donna une légère tape sur l'épaule, mais il retira aussitôt la main, comme s'il s'était brûlé.

«Seulement, Votre Honneur, il faudrait une petite avance....

- Tu me tromperas ou tu m'amèneras quelque vieille sorcière?

- Comment pouvez-vous le croire! reprit le juif avec vivacité et en levant les mains. Si je vous trompais, Votre Honneur, Faites-moi donner cinq cents..., quatre cent cinquante coups de bâton..., ajouta-t-il avec volubilité. Ordonnez seulement...»

En ce moment un de mes camarades souleva la portière de la tente et m'appela. Je me levai précipitamment et jetai un ducat au juif.

«Ce soir, ce soir...» me dit-il à demi-voix, et il s'éloigna.

Je vous avoue, messieurs, que j'attendis la nuit avec une certaine impatience.

Le jour même, les Français firent une sortie; notre régiment marcha. La nuit vint; nous nous rangeâmes autour des feux; les soldats se mirent à préparer leur gruau. Les officiers causaient. J'étais couché sur mon manteau, buvant du thé écoutant les autres. On me proposa de jouer, mais je refusai. Je me sentais agité. Les officiers rentrèrent peu à peu dans leurs tentes; les soldats se dispersèrent aussi ou s'endormirent sur place; le bruit se calma. J'étais toujours devant le feu, à quelques pas de mon brosseur accroupi, qui «méditait à la suisse» ou «pêchait à la ligne¹» Je le renvoyai. Tout le camp devint silencieux et sombre. Une ronde passa; puis, on releva

¹ Expressions usitées pour désigner les mouvements de tête involontaires, que fait faire le sommeil qui vous gagne et auquel vous ne pouvez vous livrer.

les sentinelles. Je restais toujours couché, attendant quelque chose. Le ciel brillait d'étoiles. Je regardai longtemps encore la flamme mourante, le feu s'éteignit enfin tout à fait. «Ce maudit juif m'a attrapé,» me dis-je avec dépit, et je fis un mouvement pour me lever.

«Votre Honneur!» murmura quelqu'un à mon oreille d'une voix tremblante. Je me retournai; c'était Hirschel. Il était très-pâle.

«Veuillez vous rendre dans votre tente,» me dit-il en balbutiant.

Je me levai et le suivis. Le juif marchait, ramassé sur lui-même et avec précaution, sur l'herbe courte et humide. J'aperçus à peu de distance de nous une figure immobile enveloppée dans un manteau. Le juif lui fit signe de la main; elle s'approcha. Ils se parlèrent à voix basse; puis le juif se tourna vers moi, m'invita par un mouvement de tête à avancer, et nous entrâmes tous les trois dans la tente. J'ai honte de le dire, le cœur me battait.

«Voilà, Votre Honneur, me dit le juif avec effort. Voilà. Elle est un peu effrayée pour le moment; mais je lui ai dit que M. l'officier est un brave homme, un joli monsieur... Et toi, n'aie pas peur, continua-t-il, n'aie pas peur...»

L'inconnue ne bougeait pas. J'étais moi-même singulièrement ému; je ne savais que dire. Hirschel restait cloué à la même place, remuant les bras d'une façon étrange.

«Voyons, lui dis-je, fais-moi le plaisir de filer.»

Hirschel obéit, mais de mauvaise grâce.

Je m'approchai de l'inconnue, et rejetai doucement le capuchon de son manteau. Il avait un incendie dans la ville, et, à la lueur vacillante de ce feu lointain, je distinguai les traits pâles d'une jeune juive. Sa beauté me frappa. Debout devant elle, je l'admirai quelque temps en silence. Elle ne levait pas les yeux. Un léger frôlement se fit entendre derrière moi. Je me retournai; c'était Hirschel qui avait soulevé un des coins de la tente et avançant la tête. Je fis un mouvement d'impatience; il se retira.

«Commenet t'appelles-tu? dis-je enfin à la jeune fille à voix basse.

- Sarah,» répondit-elle, et au même instant je vis briller dans l'obscurité le blanc de ses grands yeux et ses petites dents bien rangées. Je pris deux coussins de cuir, je les jetai par terre et l'invitai à s'asseoir. La jeune fille quitta son manteau et prit place. Elle portait une veste, s'ouvrant sur la poitrine, avec des boutons d'argent ciselés et des manches larges. Son épaisse chevelure noire était nattée et faisait deux fois le tour de sa tête fine et bien plantée ; je me plaçai à côté d'elle, et pris sa petite main hâlée. Elle ne la retira pas, mais paraissait craindre de me regarder, et soupirait de temps en temps. Je contemplais avec délice son profil oriental, et pressais légèrement ses doigts froids et contractés.

«Sais-tu le russe? Lui demandai-je.

- Oui, un peu.

- Et tu aimes les Russes?

- Oui.

- Alors, tu dois m'aimer!»

Je voulus l'attirer dans mes bras, mais elle se recula vivement.

«Non, non, je vous en prie, monsieur, je vous en prie...

- Au moins regarde-moi.»

Elle arrêta sur moi ses yeux noirs et perçants, rougit et se détourna en souriant.

Je baisai sa main avec feu. Elle me regarda en dessous et se mit à rire.

«Pourquoi ris-tu?»

Elle se couvrit la figure avec sa manche, et se mit à rire de plus belle.

Hirschel parut à l'entrée de la tente et la menaça du doigt. Elle se tut.

«Veux-tu t'en aller, lui dis-je entre les dents : tu es insupportable. »

Hirschel ne bougeait pas.

Je pris dans mon porte-manteau une poignée de ducats, je les lui mis dans la main et le poussai dahors.

«Monsieur, donnez-m'en aussi,» me dit la jeune fille.

Je lui jetai quelques ducats sur les genoux ; elle les saisit avec la vivacité d'un chat

«Maintenant, il faut que je t'embrasse.

- Non, je vous en prie, je vous en prie, murmura-t-elle d'une voix suppliante.
- Que crains-tu?
- J'ai Peur.
- Allons donc!
- Non, je vous en prie...»

Elle me regarda avec timidité, pencha un peu la tête de côté, et elle joignit les mains. Je la laissai tranquille.

«Si tu veux, tiens,» me dit-elle après un moment de silence, et elle approcha sa main de mes lèvres.

Je la baisai sans trop de ravissement. Sarah se mit de nouveau à rire.

J'étais tout bouleversé. Je me dépitais contre moi-même et ne savais que faire. Il faut que je sois un grand imbécile ! me disais-je.

Je me tournai de nouveau vers Sarah.

«Ecoute, lui dis-je, je suis amoureux de toi.

- Je le sais.
- Tu le sais? et cela ne te fâche pas ? M'aimes-tu aussi?»

Sarah secoua la tête.

«Voyons, réponds-moi franchement.

- Laissez-moi vous voir un peu,» me dit-elle.
- Je me baissai vers elle. Sarah me posa les mains sur les épaules, se mit à examiner mes traits, tantôt souriant et tantôt fronçant ses sourcils... Je n'y tins pas, je lui baisai lestement la joue... Elle se redressa et d'un bond fut à l'entrée de la tente.

«Quelle petite sauvagesse!»

Elle ne me répondit pas et resta immobile.

«Approche donc...

- Non, monsieur, adieu, à un autre jour.»

Hirschel montra de nouveau sa tête rousse, et lui dit quelques mots ; elle se glissa hors de la tente comme un serpent.

Je voulus courir après elle, mais il me fut impossible de la retrouver. Hirschel aussi avait disparu.

Je ne pus fermer l'oeil de toute la nuit.

Le lendemain j'étais à jouer, mais sans le moindre plaisir, dans la tente de mon chef d'escadron, lorsque mon brosseur entra.

«On demande Votre Honneur, me dit-il.

- Qui cela ?

- Un juif qui veut vous parler.

- Serait-ce Hirschel ? me dis-je. Lorsque la taille fut finie, je me levai et sortis. C'était effectivement Hirschel.

«Eh bien ! Votre Honneur, me dit-il avec un sourire familier, êtes-vous content ?

- Ah ! S... (le colonel se retourna), il n'y a pas de dames ici à ce que je crois ! Au reste, peu importe ! Ah ! drôle, je crois que tu te moques de moi !

- Comment ça ?

- Tu me le demandes ? C'est un peu fort !

- Ah ! monsieur l'officier, comme vous êtes ! reprit Hirschel d'un ton de reproche, mais toujours souriant. La fille est jeune, timide..., vous l'avez effrayée ; oui, vous l'avez effrayée.

- Fameuse timidité ! elle n'en a pas moins pris mon argent.

- Comment ? quand on vous donne de l'argent, il faut bien le recevoir.

- Ecoute, Hirschel, dis-lui de revenir seule ; tu n'y perdras pas... Mais fais-moi le plaisir de ne plus montrer ta chienne de figure dans ma tente. M'entends-tu ?»

Les yeux de Hirschel étincelèrent.

«Vous plait-elle?»

- Oui, vraiment.

- C'est une beauté ! elle n'a pas sa pareille. Et vous me donnerez l'argent tout de suite ?

- Une parole donnée vaut mieux que de l'argent. Tu seras payé. Amène-la, et va-t'en au diable. Je la reconduirai moi-même chez elle.

- Impossible ! tout à fait impossible, me répondit le juif avec vivacité. Hélas ! c'est tout à fait impossible..., mais je veux bien marcher autour de la tente, Votre Honneur ; je veux bien... rester au dehors. Je serai toujours prêt à servir Votre Honneur, Je veux bien me tenir au dehors pour vous être agréable. Pourquoi pas ? je m'éloignerai... un peu.

- Fais-y bien attention... Amène-la donc ; m'entends-tu ?

- Avouez qu'elle est belle ! n'est-ce pas, monsieur l'officier ? Qu'en dites-vous ? hein, Votre Honneur ?»

Hirschel se tenait un peu courbé en avant et me regardait.

«Oui, elle est bien.

- Alors, donnez-moi un ducat...»

Je lui jetai un ducat, et nous séparâmes.

La journée se passa, la nuit vint. Je restai longtemps seul dans ma tente. Le ciel était couvert. Il sonna deux heures dans la ville. Je commençais déjà à pester contre le juif..., lorsque Sarah entra brusquement ; elle était seule. Je m'élançai, l'entouai de mes bras, et effleurai sa joue de mes lèvres... Elle avait la joue froide comme un morceau de glace. Je pouvais à peine distinguer ses traits... Je la fis asseoir ; et, m'étant mis à genoux devant elle, je pressais ses mains, j'enlaçais sa taille. Elle restait immobile, sans dire un mot ; tout à coup elle se mit à sangloter convulsivement. J'essayai de la calmer... Je la caressais, j'essuyais ses larmes ; elle ne résistait pas comme la veille, mais ne répondait pas à mes questions, et elle pleurait toujours. Cela finit par me serrer le coeur ; je me levai et sortis de la tente. Le juif parut tout à coup devant moi comme s'il fut sorti de terre.

«Hirschel, lui dis-je, voici l'argent que je t'ai promis. Emmène Sarah.»

Le juif courut à la jeune fille. Celle-ci cessa aussitôt de pleurer et se cramponna à lui.

«Adieu, Sarah, lui dis-je, tu peux t'en aller. Que Dieu t'accompagne ; nous nous reverrons un autre jour.»

Hirschel me salua sans dire mot ; Sarah se baissa, prit ma main, et la pressa contre ses lèvres ; je me détournai...

Pendant cinq à six jours, messieurs, la juive ne me sortit pas de la tête. Hirschel ne se montrait plus, et personne ne l'avait vu dans le camp. Mon sommeil était agité; je voyais constamment ces yeux noirs brillants, aux longs cils; mes lèvres ne pouvaient oublier la joue qu'elles avaient effleurée, cette joue lisse et fraîche comme la peau d'une prune. On m'envoya dans un hameau éloigné. Pendant que mes soldats fouillaient les maisons, je restais dans la rue sans descendre de cheval. Quelqu'un me saisit tout à coup par la jambe.

«Comment, Sarah!»

Elle était pâle et agitée.

«Monsieur l'officier, secourez-nous, sauvez-nous; les soldats nous maltraitent. Monsieur l'officier...»

Elle me reconnut et rougit.

«C'est donc ici que tu demeures?

- Oui.

- Où cela?»

Sarah me montra une petite maison de mauvaise apparence. Je donnai de l'éperon à mon cheval, et j'y courus au galop. En entrant dans la cour, j'aperçus une vieille juive, difforme et échevelée, qui s'efforçait d'arracher à mon maréchal des logis Siliavka un cochon de lait et trois poules. Il tenait son butin au-dessus de sa tête en riant; les poules et le petit cochon criaient à qui mieux. Deux autres cuirassiers chargeaient leurs montures de foin, de paille et de sacs de farine. Des cris et des jurons petits-russiens se faisaient entendre dans la maison... Je rappelai mes hommes, et leur défendis de rien prendre aux juifs. Ils obéirent; le maréchal des logis remonta sur sa jument baie Proserpine, qu'il nommait Projerpile, et me suivit dans la rue.

«Eh bien! dis-je à Sarah, es-tu contente de moi?

Elle me regarda en souriant.

«Qu'es-tu donc devenue?»

Elle baissa les yeux.

«J'irai vous voir demain.»

- Le soir?

- Non, monsieur, le matin.
- Fais-y bien attention, ne me trompe pas.
- Non..., non, je ne vous tromperai pas.»

Je la regardai attentivement. Elle me parut encore plus belle au grand jour. Ce qui me frappa surtout, je m'en souviens, c'est sa peau d'un jaune d'ambre, et le reflet bleuâtre de ses cheveux noirs...; je me penchai et serrai fortement sa petite main.

«Adieu, Sarah; ne manque pas de venir.

- Je viendrai.»

Elle rentra dans la maison. Je donnai ordre au maréchal des logis de me suivre avec le détachement, et partis au galop.

Le lendemain matin je me levai de très-bonne heure et sortis de ma tente. La matinée était magnifique; le soleil venait de se lever, sur chaque brin d'herbe étincelait une goutte de rosée empourprée. Je grimpai sur le parapet et m'assis près d'une embrasure. Au-dessous de moi une grosse pièce de campagne avançait vers la plaine sa bouche noire. Je promenais mes yeux de tous côtés, au hasard, quand j'aperçus tout à coup, à une centaine de pas, une forme humaine recouverte d'une tunique grisâtre. Je reconnus bientôt que c'était Hirschel. Il resta longtemps immobile; puis, s'éloigna rapidement, s'arrêta, se retourna d'un air inquiet..., poussa un cri étouffé, s'accroupit, allongea le cou comme pour écouter, et regarda de nouveau attentivement de tous côtés. Je distinguais fort bien ses moindres mouvements. Il fourra sa main dans son sein, en tira un rouleau de papier, et se mit à griffonner avec un crayon. Il s'interrompait à chaque instant, tressaillait et flairait l'air comme un lièvre; puis parfois il serrait précipitamment son papier, levait le nez, clignait les yeux, et se remettait à l'ouvrage. Enfin, il s'assit sur l'herbe, ôta un de ses souliers, et y fourra son papier; mais il n'avait pas eu le temps de se relever que tout à coup, à une dizaine de pas de lui, la tête du maréchal des logis Siliavka et bientôt après le corps long et roide du vieux troupière se dressèrent sur la crête du glacis. Le juif lui tounait le dos. Siliavka s'approcha rapidement et lui posa sa lourde main sur l'épaule. Hirschel ploya sous elle jusqu'à terre, et jeta un cri maladif, un cri de lièvre. Siliavka, l'apostrophant avec vigueur, le saisit au collet. Je ne pouvais entendre leur

conversation, mais les gestes désespérés du juif et son air suppliant me firent soupçonner de quoi il s'agissait. Le juif se jeta deux ou trois fois aux pieds du sous-officier ; il plongea sa main dans sa poche, en sortit un vieux mouchoir de couleur, dénoua un des coins du mouchoir, en tira un ducat... Siliavka accepta le cadeau d'un air grave, mais n'en continua pas moins à entraîner le juif. Hirschel s'arracha de ses mains et s'élança à travers champs ; Siliavka se mit à le poursuivre. Le juif coulait très-vite ; ses pieds, chaussés de bas bleus, avaient une agilité surprenante ; mais après deux ou trois randonnées, Siliavka finit par l'attraper, et L'ayant soulevé, il le prit dans ses bras et se dirigea vers le camp. Je me levai et allai à sa rencontre.

«Ah! Votre Honneur, me cria-t-il, je vous apporte un espion; oui, un espion!... Le front du robuste Petit-Russien était ruisselant de sueur. -Finiras-tu de te demener comme ça, diable de juif! allons donc! prends garde, je pourrais bien t'écraser.»

Le malheureux Hirschel appuyait faiblement ses deux coudes contre la poitrine de Siliavka, agitait faiblement les jambes... les prunelles de ses yeux se renvoyaient convulsivement.

«Qu'a-t-il fait? demandai-je au sous-officier.

- Tenez, Votre Honneur, veuillez tirer son soulier droit: je suis trop gêné.» J'ôtai le soulier, il en tomba un papier plié avec soin. C'était un tracé de notre camp, avec l'indication de nouveaux ouvrages en terre qu'on venait d'y ajouter. La feuille était accompagnée de notes, d'une écriture fine en hébreu.

Lorsque j'eus pris le papier, Siliavka posa le juif sur ses jambes. Celui-ci ouvrit les yeux, et, m'ayant aperçu, il se jeta à mes pieds.

Je lui montrai le papier.

«Qu'est-ce que cela veut dire?

- C'est que comme ça... monsieur l'officier, rien... comme ça...» Et la voix lui manqua.

«Tu nous épiais?»

Il ne me comprit pas, et continua à balbutier des paroles inintelligibles, en me pressant les genoux.

«Tu es un espion?

- Ah! s'écria-t-il aussitôt d'une voix faible et en branlant la tête. Comment pouvez-vous le croire? Moi, jamais! Oh! non. C'est tout à fait impossible. Je suis prêt, tout de suite. Je donnerai de l'argent..., je payerai.» Ses yeux se fermèrent.

Sa calotte avait glissé sur sa nuque; ses cheveux, tout mouillés de sueur, tombaient en mèches sur son front.

Nous fûmes bientôt entourés de soldats. Je ne voulais d'abord que faire peur à Hirschel, puis j'aurais recommandé le silence à Siliavka; mais nous n'étions plus seuls, et je ne pouvais me dispenser d'en faire mon rapport à nos officiers supérieurs.

«Conduis-le chez le général, dis-je au sous-officier.

- Monsieur l'officier! Votre Honneur! reprît le juif d'une voix désespérée, je suis innocent... Faites moi relâcher, faites-moi...

- Son Excellence débrouillera l'affaire, dit Siliavka, marchons!

- Votre Honneur! me cria le juif pendant que je m'éloignais, Faites-moi relâcher; ayez pitié!...

Ces supplications me faisaient mal; je doublai le pas.

Notre général, Allemand d'origine, était un brave et honnête homme, mais rigoureux observateur de la discipline militaire. J'entrai dans la petite cabane en bois qu'il habitait, et lui exposai en peu de mots le motif de ma visite. Connaissant la sévérité des lois militaires, je ne prononçai pas le mot d'espion, et m'efforçai de présenter l'affaire comme une bagatelle. Mais malheureusement pour Hirschel, le général, quand le règlement parlait, faisait taire la compassion.

«Jeune homme, me dit-il, vous êtes sans expérience. Qui, vous avez encore peu d'expérience dans la science militaire. L'affaire que vous venez de m'exposer est grave, très-grave... Mais où est l'homme qui a été pris? où est-il donc?»

Je sortis de la cabane et donnai ordre d'amener le juif.

On l'amena.

«Où est le plan qui a été trouvé sur cet individu?» me demanda le général.

Je lui remis le papier. Le général le déroula, s'éloigna un peu, et releva les sourcils.

«C'est véritablement fort extraordinaire! reprit-il; par qui cet homme a-t-il été arrêté?

- Par moi, Votre Excellence, s'écria Siliavka avec vivacité.

- Ah! très-bien! fort bien!... Eh bien! mon brave homme, quelle espèce de justification pouvez-vous présenter maintenant?

- Vo... Votre... Excellence, balbutia Hirschel, je... ayez pitié de moi... Votre Excellence... je suis innocent... demandez ... à monsieur l'officier. Je suis facteur, Votre Excellence, un honnête facteur.

- Il est nécessaire de procéder à son interrogatoire, reprit le général en baissant la voix et avec une inclination de tête pleine de gravité. Voyons, mon cher ami, comment as-tu pu faire cela?

- Je ne suis pas coupable, Votre Honneur.

- Cela me paraît pourtant difficile à croire. Tu as été pris dans le fait, comme nous disons, nous autres Russes.

- Permettez, Votre Excellence, je suis innocent.

- Tu dessinais un plan, tu es un espion soudoyé par l'ennemi.

- Ce n'est pas moi! s'écria subitement Hirschel, ce n'est pas moi!»

Le général regarda Siliavka.

«Il ment, Votre Excellence. Monsieur l'officier a tiré lui-même le papier de son soulier.»

Le général me regarda. Je fus obligé de faire un signe de tête affirmatif.

«Tu es bien un espion de l'ennemi, mon cher ami; c'est indubitable.

- Ce n'est pas moi... pas moi... dit le juif d'une voix éteinte.

- Tu as déjà fourni à l'ennemi beaucoup de renseignements pareils?

- Oh! non, non...

- Tu ne m'attraperas pas, mon cher petit ami. Tu es bien un espion.»

Le juif ferma les yeux, secoua la tête, et souleva les pans de sa tunique.¹

«Qu'on le pend, dit le général très-distinctement, après un moment de silence; conformément à la légalité. Où est M.Schlikelmann?»

¹ Geste familier aux juifs.

On courut chercher Schlikelmann, l'aide de camp du général. La figure de Hirschel devint verdâtre; il ouvrit la bouche, écarquilla les yeux... L'aide de camp parut. Le général lui donna des ordres. L'écrivain montra sa figure maigre et marquée de la petite vérole. Deux ou trois officiers jetèrent par curiosité les yeux dans la chambre.

«Laissez-vous attendrir, Votre Excellence, dis-je au général dans un assez mauvais allemand, faites-le mettre en liberté.

- Jeune homme, me répondit-il en russe, langue qu'il parlait fort mal, je vous répète que vous êtes sans expérience militaire, et c'est pourquoi je vous prie de vous taire et de ne plus m'importuner.»

Hirschel poussa un cri et se jeta aux pieds du général.

«Votre Excellence, ayez pitié de moi. Cela ne m'arrivera plus jamais, Votre Excellence; j'ai une femme, Votre Excellence, une fille!... ayez pitié de moi.

- Que veux-tu que j'y fasse?

- J'avoue la faute, Votre Excellence, je suis coupable; mais c'est pour la première fois, Votre Excellence; je vous le jure!

- Tu n'as pas fourni d'autres papiers?

- C'est pour la première fois, Votre Excellence... Une femme, des enfants!

- Mais tu es un espion de l'ennemi?

- Une femme, Votre Excellence..., des enfants!»

Le général parut un peu ébranlé, mais cela ne dura pas longtemps.

«Que l'on pend ce juif, conformément aux ordonnances militaires, dit-il avec lenteur, qu'on le pend! Fedor Karlitch, je vous prie d'en dresser un rapport que vous voudrez bien...»

Un singulier changement s'opéra tout à coup chez Hirschel. Cette expression de timidité cauteleuse, si ordinaire à la nature juive, et qui se lisait sur sa figure, fit place tout à coup à l'anxiété qui précède la mort. Il s'agita comme un petit animal sauvage que l'on vient de prendre, poussa un gémissement rauque, sauta brusquement sur lui-même, en remuant convulsivement les coudes. Il ne portait qu'un seul soulier; on avait oublié de lui remettre l'autre..., sa tunique s'ouvrit et sa calotte tomba.

Ce spectacle nous faisait une impression pénible que le général partageait.

«Votre Excellence, lui dis-je de nouveau, faites grâce à ce malheureux!

- Impossible. La loi est formelle, répondit le général lentement et non sans émotion. Qu'il serve d'exemple aux autres!

- Je vous en supplie...

- Monsieur le cornette, veuillez retourner à votre poste,» me dit le général en me montrant la porte d'un geste impératif.

Je le saluai et sortis ; mais comme je n'avais aucun poste fixe, je m'arrêtai à peu de distance de la cabane.

Au bout de quelques minutes, je vis paraître Hirschel conduit par Siliavka et trois soldats. Le pauvre juif mettait à peine un pied devant l'autre ; Sikiavka se détacha et passa devant moi pour se rendre dans le camp ; il en revint bientôt avec une corde. Ses traits durs, mais nullement cruels, exprimaient une compassion brutale. A la vue de la corde, le juif se mit à gesticuler et s'assit par terre en sanglotant. Les soldats l'entourèrent en silence ; ils avaient un air sombre et tenaient les yeux baissés. Je m'approchai de Hirschel et lui adressai la parole ; il sanglotait comme un enfant, et ne me regarda même pas. Je rentrai dans ma tente, m'étendis sur un tapis et m'enfoncai la tête dans un coussin.

Un instant après, quelqu'un entra en courant dans la tente. Je levai la tête et j'aperçus Sarah. Ses traits étaient décomposés ; elle se jeta vers moi et me saisit la main.

«Allons, allons! répétait-elle d'une voix haletante.

- Où cela? Pourquoi? Restons ici.

- Auprès de mon père, de mon père ; vite, sauve-le, sauve-le !

- Auprès de ton père ?

- Oui ; on veut le pendre !

- Comment ? Hirschel est donc...

- Mon père ! Je te conterai tout cela après, ajouta-t-elle en se tordant les bras dans son désespoir. Mais viens, viens vite.»

Nous sortîmes tous deux de la tente en courant. Un groupe de soldats s'avancait au milieu de la plaine, sur un chemin qui conduisait à un bouleau solitaire; Sarah me le montra de la main...

«Arrête, lui dis-je tout à coup, où courons-nous? Les soldats ne m'obéiront pas...»

Sarah continuait à me traîner après elle.... Je vous avoue que j'avais un peu perdu la tête.

«Ecoute-moi, Sarah, lui dis-je. A quoi bon courir après eux? Il vaut mieux que j'aille de nouveau parler au général. Allons-y ensemble; il se laissera peut-être attendrir.»

Sarah s'arrêta subitement et me regarda; elle semblait avoir perdu la raison....

«Comprends-moi donc, Sarah, au n^{om} du ciel! Je ne peux faire grâce à ton père; le général est le seul qui ait ce pouvoir. Allons le trouver.

- Mais on l'aura pendu avant notre retour, me dit elle en gémissant.»

Je jetai les yeux autour de moi. L'écrivain était près de là.

«Ivanof, lui criai-je, fais-moi le plaisir de les rattraper et de leur dire d'attendre mon retour, je vais demander sa grâce au général.»

L'écrivain partit en courant.

On ne nous laissa pas entrer chez le général; mes instances, mes supplications, et même mes menaces, rien n'y fit. C'est vainement que la pauvre Sarah s'arrachait les cheveux et se jetait sur les sentinelles; on ne nous laissa pas entrer.

Sarah promena autour d'elle un regard sauvage, se prit la tête à deux mains et se précipita du côté de la plaine. Je la suivis.

Nous arrivâmes auprès des soldats. Ils se tenaient en cercle; et figurez-vous, Messieurs, qu'ils se moquaient du pauvre Hirschel. Cela me mit en colère, je les traitai vertement. Le juif, nous ayant reconnus, sauta au cou de sa fille... Celle-ci le serra dans ses bras. Le pauvre diable croyait qu'on l'avait pardonné... Il commençait déjà à me remercier... Je me détournai.

«Comment, Votre Honneur! me cria-t-il en joignant les mains, est-ce que je n'ai pas ma grâce?»

Je me taisais.

«Non?

- Non, lui répondis-je.

- Votre Honneur, balbutia-t-il; voyez, Votre Honneur, la voilà... Cette jeune personne est ma fille. Vous ne savez donc pas que c'est ma fille?

- Je le sais, lui répondis-je en me détournant de nouveau.

- Votre Honneur, me cria-t-il, je ne quittais pas votre tente! Pour rien au monde...»

Il s'interrompit et ferma les yeux. «Je voulais de votre argent, reprit-il, c'est vrai; mais pour rien au monde...»

Je me taisais. Hirschel m'inspirait en ce moment un sentiment de dégoût et Sarah aussi sa complice.

«Mais maintenant, si vous me sauvez, dit-il en baissant la voix, j'ordonnerai..., je..., vous comprenez. Je consentirai à tout...»

Il tremblait comme une feuille, et regardait les soldats d'un air effaré. Sarah aussi le tenait toujours embrassé avec force.

L'aide de camp du général arriva en ce moment.

«Monsieur le cornette, me dit-il, Son Excellence a donné l'ordre de vous mettre aux arrêts. Et vous, ajouta-t-il en s'adressant aux soldats, obéissez!»

Siliavka s'approcha du juif.

«Fedor Karlitch, dis-je à l'aide de camp (il avait amené avec lui une escouade de cinq ou six hommes), faites du moins emporter cette pauvre fille...

- Certainement, me répondit-il.»

La malheureuse respirait à peine. Hirschel lui marmotait à l'oreille je ne sais quoi en hébreu.

Les soldats eurent beaucoup de peine à l'arracher des bras de père, et ils la portèrent avec précaution à une vingtaine de pas de là. Mais tout à coup elle leur échappa et courut de nouveau à son père... Siliavka l'arrêta. Sarah le frappa; ses yeux brillèrent, elle étendit ses bras en avant.

«Soyez donc maudits! s'écria-t-elle en allemand; maudits, trois fois maudits, vous et votre race odieuse! Que la pauvreté, la stérilité et une mort violente et honteuse soient votre lot! Que la terre s'entr'ouvre sous vos pieds, mécréants! hommes sans pitié! chiens avides de sang!...»

Elle jeta la tête en arrière et tomba inanimée. On l'emporta.

Les soldats prirent Hirschel par les bras et le soutinrent. Je compris en ce moment la cause de leurs rires lorsque j'étais revenu du camp avec Sarah. Le malheureux juif était véritablement ridicule à voir, malgré l'horreur de sa situation; l'affreuse certitude de quitter la vie, sa famille, sa peignait chez lui par des gestes si étranges, par des cris, des soubresauts si absurdes, que nous ne pouvions nous empêcher de sourire, quelque attristante que fût cette scène. Le pauvre diable se mourait réellement de peur.

«Oï! lo! criait-il, oi! arrêtez! J'ai bien des choses à vous conter! monsieur le sous-maréchal, vous me connaissez. Je suis facteur, un honnête facteur. Ne me touchez pas; attendez encore une minute, une petite minute, une toute petite minute! Laissez moi aller; je suis un pauvre juif. Sarah..., où est Sarah? Oh! je le sais; elle est chez le lieutenant quartier-maître (Dieu sait pourquoi il m'honorait de ce titre imaginaire). Je ne m'éloignais pas de la tente!)Les soldats l'avaient saisi..., mais il leur résista en poussant un gémissement perçant). Votre Honneur, ayez pitié d'un père de famille! Je donnerai six ducats, quinze ducats, Votre Honneur!... (on le traîna vers le bouleau.) Pitié! monsieur le quartier-maître! Votre Hautesse! monsieur le général en chef, et le chef supérieur!»

On lui passa la corde au cou... Je m'éloignai en courant.

I

En 182... vivait à B..., petite ville de la Russie méridionale, un certain Ivan Afanaciévitch Pétoouchkof, lieutenant dans un certain régiment de garnison. Fils de parents pauvres, il était resté orphelin à l'âge de cinq ans. Tombé entre les mains d'un tuteur et complètement dépouillé par celui-ci de son mince héritage, il dut aviser tant bien que mal aux moyens de soutenir son existence. C'était un homme de taille moyenne et voûté; il avait la figure maigre et couverte de taches de rousseur, les traits du reste assez réguliers, les cheveux bruns, les yeux gris, le regard timide, le front bas et tout ridé. Ayant mené jusque là une vie très-uniforme, il conservait à quarante ans passés la naïveté et l'inexpérience d'un enfant, fuyait les nouvelles connaissances, et traitait avec indulgence toutes les personnes sur lesquelles il avait le droit d'exercer quelque autorité.

Les hommes condamnés par le sort à une existence monotone et solitaire ont ordinairement des manies. Pétoouchkof aimait à manger tous les matins, à son déjeuner, une boulka¹ blanche et sortant du four; cette délicatesse lui était devenue indispensable. Cependant, un beau jour, son domestique Onicime lui apporta, au lieu de boulka, trois craquelins d'un brun foncé, sur une assiette mouchetée de petites fleurs bleues. Pétoouchkof demanda aussitôt, d'un ton légèrement indigné, ce que cela signifiait.

«Toutes les boulka sont distribuées, lui répondit Onicime, franc Pétersbourgeois qu'un étrange caprice du sort avait jeté au fin fond de la Russie.

- Impossible! s'écria Ivan Afanaciévitch.

- Il n'en reste pas une, répéta Onicime; le maréchal² donne aujourd'hui un déjeuner, elles sont toutes allées la-bàs, comme de juste. »

¹ Pains ronds, peu cuits, d'une pâte très-blanche.

² On donne le nom de maréchal de la noblesse à un des membres de ce corps, dans chaque district. Ces représentants sont nommés par la noblesse et restent en fonction trois ans.

Ivan Afanaciévitch se promena un peu dans la chambre ; puis il s'habilla, et se dirigea lui-même du côté de la boulangerie. C'était le seul établissement de ce genre qu'il y eut dans la ville de B... ; il avait été fondé, dix ans auparavant, par un Allemand, et la veuve de ce dernier continuait à le gérer avec le plus grand succès.

Pétouchkof frappa à la fenêtre. Une grosse femme montra au vasistas sa figure encore tout endormie.

«Je voudrais avoir une boulka, lui dit Pétouchkof d'un air aimable.

- Il n'y en a plus, répondit la grosse femme d'une voix piailleuse.

- Vous n'avez plus de boulka?

- Pas une.

- C'est singulier! Permettez. Je vous prends une boulka tous les jours, et je vous paye exactement.»

La boulangère le regarda sans dire mot.

«Prenez un craquelin ou une papluka¹, finit-elle par lui répondre en baillant et en faisant un signe de croix sur la bouche.

- Je n'en veux pas, lui dit Pétouchkof d'un ton piqué.

- Comme il vous plaira, murmura la grosse femme, et elle referma brusquement le vasistas.

Ivan Afanaciévitch ressentit un vif mécontentement. Ne sachant quel parti prendre, il traversa la rue, et s'abandonna, comme un enfant, à toute la contrariété qu'il éprouvait.

«Monsier! cria tout à coup une voix assez agréable, monsieur!»

Ivan Afanaciévitch leva les yeux, et aperçut, au vasistas de la boulangerie, une jeune fille de dix-sept ans environ, tenant à la main une boulka. Elle avait la figure ronde et pleine, les joues colorées, les yeux bruns petits, le nez un peu retroussé, les cheveux chatain clair et des épaules magnifiques. L'ensemble de sa physionomie exprimait la bonté, la paresse et l'insouciance.

«Tenez, monsieur, voici une boulka, lui dit-elle en riant; je l'avais prise pour moi, mais je vous la cède; prenez-la.

¹ Espece de gateau feuilleté.

- Bien des remerciements. Permettez-moi...»

Pétouchkof se mit à fouiller dans sa poche.

«C'est bon! c'est bon! je vous la donne avec plaisir.»

Elle referma le vasistas.

Pétouchkof revint à la maison on ne peut mieux disposé.

«Tu n'avais pas trouvé de boulka, dit-il à son domestique Onicime, et moi j'en ai rapporté une. Tiens!»

Onicime sourit d'un air dédain.

Le même jour, Ivan Afanaciévitch lui demanda, tout en se déshabillant pour se coucher:

«Des-moi donc, frère, qui est cette fille que j'ai vue à la boulangerie?

- Pourquoi voulez-vous le savoir, vous? grommela Onicime en regardant de côté.

- Comme ça..., répondit Pétouchkof en ôtant ses bottes sans l'assistance de son serviteur.

- C'est un beau brin de fille ! reprit celui-ci.

- Oui..., elle n'est pas mal..., dit Ivan Afanaciévitch en jetant les yeux du côté opposé. - Comment s'appelle-t-elle ?

- Vassilissa.

- Et tu la connais ?

- Oui, répondit Onicime après un moment de silence.»

Pétouchkof avait ouvert la bouche pour parler, mais il se retourna et s'endormit. Onicime passa dans l'antichambre, aspira une prise de tabac et hocha la tête d'un air capable.

Le lendemain. Pétouchkof se disposa de très-bonne heure à sortir. Onicime lui apporta la capote qu'il mettait habituellement; elle était vieille, d'une couleur verdâtre et ornée d'une énorme paire d'épaulettes décolorées par le temps. Pétouchkof regarda longtemps Onicime sans rien dire, et finit par lui demander sa capote neuve. Onicime obéit, mais cet ordre parut le surprendre. Pétouchkof acheva sa toilette, et ajusta ses gants en peau de daim avec un soin tout particulier.

«Il est inutile, frère, dit-il à Onicime avec un certain embarras, que tu ailles aujourd'hui chercher la boulka; j'irai moi-même...; c'est sur mon chemin.

- C'est bien, lui répondit Onicime brusquement, comme si quelqu'un l'avait poussé par derrière.»

Pétouchkof se rendit à la boulangerie et frappa à la fenêtre. La grosse femme ouvrit le vasistas.

«Ayez la complaisance de me donner une boulka,» dit lentement Ivan Afanaciévitch.

La boulangère allongea par le vasistas son bras nu jusqu'à l'épaule, bras qu'à sa grosseur on aurait pu prendre pour une jambe, et mit presque sous le nez de Pétouchkof une boulka encore chaude.

Ivan Afanaciévitch demeura encore quelque instants sous la fenêtre, se promena un peu devant la maison, jeta les yeux dans la cour, et, honteux de son enfantillage, finit par rentrer chez lui, la boulka à la main. Pendant tout le reste de la journée, il ne se sentit pas à son aise, et le soir venu, il n'engagea pas de conversation avec Onicime, comme il avait coutume de le faire.

Le lendemain matin, ce fut Onicime qui alla chercher la boulka.

II

Plusieurs semaines se passèrent. Pétouchkof avait complètement oublié Vassilissa, et s'était remis à converser amicalement avec son domestique. Un beau matin, il vit enterer chez lui M.Boublitsine, jeune homme fort aimable et au ton dégagé. On lui reprochait, il est vrai, de ne pas toujours savoir ce qu'il disait; c'était en un mot un évaporé, mais on s'accordait à le trouver d'un commerce très-agréable. Il fumait continuellement avec une animation fiévreuse, en levant les sourcils et en rentrant la poitrine; il fumait d'un air préoccupé, ou plutôt d'un air qui semblait vouloir dire: «Laissez-moi seulement aspirer cette dernière bouffée de tabac, et je vais vous communiquer une nouvelle qui va vous surprendre.» Il lui arrivait parfois de gémir et d'agiter la main, en se hâtant de finir sa pipe, comme s'il lui était venu subitement à l'esprit quelque chose de particulièrement intéressant; mais, en ouvrant

la bouche, il lançait un nuage de fumée en forme de cercle, disait quelque lieu commun, et souvent demeurait silencieux. Après avoir bavardé quelque temps avec Pétouchkof sur les voisins, les chevaux, les filles des propriétaires du district et sur d'autres sujets non moins dignes d'attention, M. Boublitsine se mit tout à coup à cligner les yeux, passa la main dans sa chevelure, et s'approcha avec un malin sourire d'un miroir remarquablement terne, unique ornement de la chambre d'Ivan Afanaciévitch.

«Après tout, dit-il en caressant ses favoris, il faut convenir que nous avons ici de petites bourgeoises qui valent bien cette fameuse Venus de Mendici..., par exemple, la boulangère Vassilissa. La connaissez-vous?... Et ici Boublitsine aspira une bouffée de tabac.»

Pétouchkof tressaillit.

«Au reste, reprit Boublitsine en s'enveloppant d'un nuage de fumée, j'ai tort de vous faire cette question. Vous êtes un homme si... Dieu sait ce qui vous occupe, Ivan Afanaciévitch!

- Nous avons, à ce que je crois, les mêmes occupations, répondit ce dernier d'une voix flûtée, non sans éprouver un peu de dépit.

- Pour cela non, mon bon ami..., non. Comment pouvez-vous dire pareille chose ?

- Je serais curieux de savoir...

- Allons donc !

- Pourtant...»

Boublitsine posa pipe dans un coin de la chambre¹, et se mit à examiner ses bottes fort peu élégantes. Pétouchkof était très-agité.

«C'est bon, c'est bon, continua Boublitsine, comme s'il eût voulu le menager. Quant à Vassilissa la boulangère, je me permettrai de vous dire qu'elle est jolie..., fort jolie...»

M. Boublitsine ouvrit les narines et enfonça lentement ses mains dans ses poches.

¹ On fume, en Russie, des pipes à long tuyau de cerisier.

Chose étrange ! Ivan Afanacievitch ressentit un mouvement qui tenait de la jalousie. Il commença à se remuer sur sa chaise, se mit à rire sans motif, rougit subitement, et un mouvement convulsif de sa mâchoire trahit un baillement. Boublitsine fuma encore trois pipes et prit congé de son hôte. Celui-ci s'approcha de la fenêtre, soupira et demanda à boire.

Onicime posa un verre de kvas¹ sur la table, regarda son maître d'un air maussade, s'appuya le dos contre la porte et baissa la tête.

«A quoi penses-tu? lui demanda Pétouchkof avec douceur et non sans une certaine inquiétude.

- A quoi je pense? répondit Onicime. A quoi?... mais toujours à vous...

- A moi ?

- Certainement à vous.

- Et que penses-tu ?

- Voici ce que je pense : vous devriez être honteux, monsieur, oui, honteux.

- Et de quoi ?

- De quoi ?... Ivan Afanacievitch, voyez un peu M.Boublitsine ; qu'est-ce qui lui manque ? il est tout à fait bien.

- Je ne te comprends pas, frère.

- Si fait, vous comprenez.»

Onicime garda un moment le silence.

«M.Boublisine est un véritable monsieur, un monsieur tout à fait comme il faut. Et vous? vous?

- Moi aussi, je suis un monsieur.

- Un monsieur, un monsieur..., répéta Onicime en s'animant de plus en plus.

Un beau monsieur, vraiment ! Vous êtes une vraie poule mouillée, oui, oui. Vous restez planté là toute la journée du bon Dieu... ; ça vous avancera beaucoup. Vous ne jouez pas aux cartes, vous ne fréquentez pas les messieurs ; et quant à...»

Onicime haussa les épaules.

¹ Petite bière.

«Pourtant... je crois vraiment que tu vas un peu trop loin... dit Pétouchkof en prenant sa pipe d'un air embarrassé.

- Trop loin, Ivan Afanaciévitch, trop loin ? Jugez-en vous-même. tenez, par exemple, voilà Vassilissa... ; pourquoi pas ?...

- Ne va pas t'aviser de penser, Onicime, s'écria Pétouchkof avec une sorte d'anxiété...

- Je sais bien ce que je pense... Pourquoi pas ? Eh bien ! à la grâce de Dieu ! Mais vous n'en ferez rien. Avouez-le..., vous êtes...»

Pétouchkof se leva.

«Allons! allons! Tu ferais mieux de te traire, dit-il avec vivacité et en évitant le regard d'Onicime. Moi aussi, je suis..., tu le sais bien..., je..., c'est par trop fort!... Donne-moi plutôt de quoi m'habiller.»

Onicime aida lentement Pétouchkof à se dépouiller de sa robe de chambre tartare couverte de taches, jeta sur lui un regard de compassion paternelle, hocha la tête et se mit à lui fouetter le dos avec une époussette.

Pétouchkof sortit, et, après avoir erré quelque temps au milieu des rues tortueuses de la ville, il se dirigea du côté de la boulangerie. Un sourire errait sur ses lèvres.

A peine avait-il eu le temps de jeter deux ou trois fois les yeux sur cet établissement que la petite porte de la cour s'ouvrit, et Vassilissa sortit en courant dans la rue, une douche greika¹ jetée sur ses épaules, à la manière russe, et coiffée d'un mouchoir jaune. Pétouchkof s'empressa de l'aborder.

«Ou allons-nous comme cela, ma touterelle?»

Vassilissa lui jeta un coup d'oeil rapide, et se mit à rire, détourna la tête et se couvrit la bouche avec sa manche.

«Vous allez sans doute faire une petite emplette? reprit Pétouchkof en souriant.

- Comme nous sommes curieux ! répondit Vassilissa.

¹ Manteau à manches, très-court, et qui se jette ordinairement sur les épaules. Mot à mot «chaufferette de l'ame.»

- Mais non du tout, continua Pétouchkof en remuant les bras avec vivacité. - C'est tout le contraire ; je... en général, vous savez, ajouta-t-il précipitamment, comme si ces derniers mots exprimaient parfaitement sa pensée.

- Avez-vous mangé ma petite boulka ?

- Assurément, répondit Pétouchkof, et avec un plaisir tout particulier.»

Vassilissa continuait à marcher en trotinant.

«Il fait aujourd'hui un temps bien agréable, reprit Pétouchkof, Vous aimez donc à vous promener souvent?

- Assez souvent.

- Ah ! je serais bien heureux, si...

- Comment ? reprit Vassilissa de ce ton clair particulier à nos jeunes filles, et qui rappelle un peu le chant matinal de la perdrix.

- S'il était permis de me promener avec vous., hors de la ville par exemple...

- Impossible !

- Pourquoi donc ?

- Ah ! comme vous êtes !

- Permettez...»

Il s'interrompit pour laisser passer un jeune marchand à la barbe pointue, revêtu d'une longue tunique bleue, dont il retenait les longues manches en écartant les doigts, et portant un bonnet fourré qui avait la forme d'un melon d'eau. Aussitôt que cet importun les eut dépassés, Pétouchkof se rapprocha de Vassilissa.

«Eh bien ! j'en reviens à ma proposition.»

Vassilissa le regarda d'un air malin, et se remit à rire.

«Vous êtes de la ville?

- Oui.»

Vassilissa passa la main sur ses cheveux et ralentit le pas. Ivan Afanaciévitch sourit, et quoiqu'il mourût de peur intérieurement, il se pencha, et enlaça de son bras tremblant la taille de la jeune fille.

Celle-ci poussa un petit cri.

«Comment! n'avez-vous pas honte! dans la rue?

- Ah! bah! laissez donc! laissez! balbutia Pétouchkof.

Finissez ; on vous le répète... Nous sommes dans la rue... Respectez le monde.

- Eh !... mon Dieu, comment pouvez-vous ?... dit Pétouchkof d'un ton de reproche, et il rougit lui même jusqu'aux oreilles.»

Vassilissa s'arrêta.

«Allez-vous-en, monsieur, passez, passez votre chemin...»

Pétouchkof obéit. Il revint à la maison, resta assis sur une chaise durant une heure au moins, immobile, et sans songer même à fumer. Puis il prit une feuille de papier grisâtre, tailla une plume, et, après de longues réflexions, écrivit la lettre suivante:

«Chère mademoiselle Vassilissa Timoféïevna,

«Etant de ma nature un homme inoffensif, comment aurais-je pu vouloir vous occasionner quelques désagréments? Si je suis vraiment coupable à vos yeux, je vous dirai nommément que la faute en est aux propos de M.Boublitsine; c'est ce qui est tout à fait contraire à mes habitudes. Ensuite, je vous prie instamment de me pardonner. Je suis un homme sensible, et me sens toujours très-touché et très-reconnaissant, et très-sensible. Ne m'en voulez pas, Vassilissa Timoféïevna, je vous en supplie.

«Au reste, je suis avec respect,

«Votre très-devoué serviteur.

«Ivan Pétouchkof.»

Onicime porta cette lettre à son adresse.

III

Deux semaines se passèrent... Onicime se rendait chaque matin, comme d'habitude, à la boulangerie. Un jour, Vassilissa courut à sa rencontre.

«Bonjour, Onicime Sergueitch, lui dit-elle.»

Onicime se renfroga, et lui dit d'un ton bourru: «Bonjour.»

- Pourquoi n'entrez-vous donc jamais chez nous, Onicime Sergueitch ?

- A quoi bon ? tu ne me régaleras sans doute pas d'une tasse de thé ?

- Si fait, Onicime Sergueitch, si fait, Venez seulement, vous aurez du thé et du rhum. J'ai tant de respect pour vous !

La figure d'Onicime s'épanouit peu à peu.

«Alors, nous verrons...

- Quand ça, père?

- Quand ca ?... Elle y tient !

- Venez ce soir. Est-ce convenu ? venez.

- Je veux bien, ce soir.» Et il reprit le chemin de la maison du pas lent et grave d'un diplomate qui vient d'entamer une grande négociation.

Dans la soirée du même jour, Onicime et Vassilissa étaient assis en face l'un de l'autre, dans une petite chambre, devant une table boiteuse, auprès de laquelle se trouvait un lit couvert d'un traversin rayé; un énorme samovar¹ d'un jaune terne ronflait et chantait sur la table, un pot de géranium se dressait devant la fenêtre; dans un coin, près de la porte, était placé de travers un coffre cercle de fer, auquel pendait un cadenas de très-petite dimension; sur le coffre se trouvaient entassés de vieux linges; aux murs de la chambre pendaient quelques mauvaises gravures toutes noircies. Onicime et Vassilissa buvaient du thé silencieusement, ils se regardaient fixement en tournant avec lenteur entre leurs doigts de petits morceaux de sucre, auxquels ils donnaient un coup de dent comme à contre-cœur, et aspiraient ensuite, avec un petit sifflement, l'eau chaude et jaunâtre qui était dans leurs tasses. Ayant enfin vidé tout le samovar, ils renversèrent les tasses dans leurs soucoupes; l'une de ces tasses portait ces mots: «Pour la satisfaction;» l'autre: «Elle m'a innocemment

¹ Bouilloire en cuivre.

percé.» Après quoi, ils toussèrent un peu pour s'éclaircir la voix, essuyèrent la sueur qui couvrait leur front, et se mirent à causer.

«Pourquoi votre maître, Onicime Sergueitch?... demanda Vassilissa, et elle s'interrompit.

- Pourquoi mon maître?... répondit Onicime en s'appuyant le menton sur la main. On sait bien pourquoi!... Qu'est-ce que ça peut vous faire?...

- Rien, reprit Vassilissa.

- Mais ne vous a-t-il pas ?... (Onicime se reprit) : Il vous a envoyé une lettre ?

- Oui.»

Onicime secoua la tête d'un air de satisfaction bien marqué.

«Voyez-vous ça! dit-il d'une voix rauque et en ricanant. Et qu'est-ce qu'il vous a écrit?

- Différentes choses : que je suis, mademoiselle Vassilissa, comme ça... qu'il me faudrait bien me garder, mademoiselle, de vous offenser, et beaucoup de ces sortes de choses... - Comment, est-ce qu'il est votre maître ?... ajouta-t-elle un instant après.

- C'est un homme, répondit Onicime avec indifférence.

- A-t-il un mauvais caractère ?

- Lui ? Ah bien oui ! Il vous plaît ?»

Vassilissa baissa les yeux, et se mit à rire dans sa manche.

«Veux-tu répondre? grommela Onicime/

- Pourquoi voulez-vous le savoir, Onicime Serguéitch ?

- Allons ! parle, te dit-on.

- Eh bien... reprit Vasilissa... c'est un maître. Il s'entend bien mieux que moi..., et d'ailleurs lui..., vous savez vous-même...

- Certainement que je le sais, répondit Onicime avec importance.

- Vous savez fort bien, Onicime Serguéitch.»

Vassilissa commençait à paraître émue.

«Dites-lui donc, à votre maître, que je ne suis pas comme ça... fâchée contre lui, mais que pour le reste...»

Elle se troubla tout à fait.

«On comprend, répondit Onicime, et il se leva lentement. -On comprend. Merci pour votre honnêteté de ce soir.

- Vous serez toujours le bienvenu.

- C'est bien ! c'est bien !»

Onicime se dirigea vers la porte. La grosse boulangère parut au moment où il allait sortir.

«Bonjour, Onicime Sergueitch, dit-elle d'une voix traînante.

- Bonjour, Prascovia Ivanovna, lui répondit-il sur le même ton.»

Tous deux se tinrent quelques instants immobiles.

«Allons! adieu, Prascovia Ivanovna, dit Onicime d'une voix traînante.

- Allons, adieu, Onicime Sergueitch, répondit cette dernière sans changer de ton.»

Onicime revint à la maison. Pétouchkof était étendu sur son lit les yeux fixés sur le plafond.

«D'où viens-tu?

- D'où je viens?... (Onicime avait l'habitude de répéter d'un air de blâme les derniers mots de toutes les questions qu'on lui adressait.) Je suis sorti pour votre affaire.

- Pour quelle affaire ?

- Vous ne le savez pas ?... J'ai vu Vassilissa.»

Petouchkof se tourna sur son lit.

«Voilà justement la chose, dit Onicime, en aspirant gravement une prise de tabac. Voilà justement la chose. Vous n'en faites jamais d'autres. Vassilissa vous salue.

- Est-ce possible?

- Est-ce possible ? c'est justement ça. Est-ce possible?... Elle vous fait demander, pourquoi vous n'allez pas la voir. Oui, pourquoi vous n'y allez pas.

- Et qu'as-tu répondu ?

- Ce que j'ai répondu ? je lui ai dit : Tu es bien bête, en vérité ? des massieurs comme lui n'iront pas chez toi. Non, c'est à toi de venir.

- Et qu'elle a répondu ?... elle ?... Rien.

- Comment ça ? rien.

- Certainement, rien.

Pétouchkof se tut.

«Et elle viendra?» reprit-il bientôt après.

Onicime secoua la tête.

«Elle viendra! ... Vous êtes joliment expéditif, monsieur. Elle viendra! ... Non, non, vous êtes par trop... comme ça.

- Mais tu viens de me dire toi-même comme ça...

- On dit bien des choses, comme ça.»

Pétouchkof se tut derechef.

«Comment donc faire? reprit-il.

- Comment faire?... Vous devez le savoir mieux que moi; vous êtes un maître.

- Allons donc, il s'agit bien de cela.»

Onicime se dandina d'un air satisfait.

«Vous connaissez Prascovia Ivanovna? dit-il enfin.

- Non, quelle Prascovia Ivanovna?

- La boulangère.

- Ah ! oui, la boulangère. Je l'ai vue, une grosse femme.

- Une femme conséquente. C'est la propre tante de l'autre. de la votre.

- Sa tante ?

- Vous ne le saviez pas ?

- Non, je ne le savais pas.

- Eh ! eh ! »

Onicime n'en dit pas plus long par respect pour son maître.

«Voilà avec qui vous devriez faire connaissance.

- Pourquoi cela? je le veux bien.»

Onicime regarda Ivan Afanaciévitch d'un oeil approbateur.

«Mais pourquoi ferai-je sa connaissance?»-demanda Pétouchkof.

- En voilà une belle!» lui répondit Onicime.

Ivan Afanaciévitch se leva, marcha un peu dans la chambre, s'arrêta devant la fenêtre, et dit avec un certain embarras, sans tourner la tête :

«Onicime!

- Voilà!

- Est-ce que ça ne sera pas un peu, - tu me comprends, - singulier pour un officier, d'aller trouver cette grosse mère ? hein !

- C'est votre affaire.

- Au reste, je le demande seulement comme une réflexion générale. Les camarades pourraient le savoir ; c'est toujours un peu... Mais j'y penserai. Donne-moi ma pipe... Ainsi donc elle a dit... reprit-il après un moment de silence ; Vassilissa t'a donc dit...»

Mais Onicime, ne se souciant pas de continuer la conversation, avait repris l'air maussade qui lui était habituel.

IV

La connaissance d'Ivan Afanaciévitch et de Prascovia Ivanovna se fit de la manière suivante. Quatre ou cinq jours après la conversation qu'il avait eue avec Onicime, Pétouchkof se rendit le soir à la boulangerie. - Allons ! pensait-il en faisant crier la petite porte de la cour, nous verrons ce qui en arrivera.

Il monta l'escalier et ouvrit la porte de la maison. Une énorme poule huppée passa entre ses jambes en jetant des cris étourdissants, et courut longtemps après dans la cour d'un air agité. La figure étonnée de la grosse boulangère se montra à l'entrée de la chambre voisine. Ivan Afanaciévitch sourit et hocha la tête. La boulangère le salua. Pétouchkof s'approcha d'elle en serrant fortement sa casquette. Prascovia s'attendait évidemment à recevoir une visite honorable ; toutes les agrafes de sa robe étaient accrochées. Pétouchkof s'assit sur une chaise, et Prascovia se plaça en face de lui.

«Je viens vous voir, Prascovia; surtout pour... dit enfin Ivan Afanaciévitch. Et il se tut. Un mouvement convulsif contracta ses lèvres.

- Soyez le bienvenu, père, répondit Prascovia avec un profond salut. On fait bon accueil à tout le monde chez nous.»

Petouchkof reprit un peu ^{d'} courage.

«Il y a longtemps que j'avais le désir de faire votre connaissance, Prascovia Ivanovna.

- Je vous suis bien obligée, Ivan Afanaciévitch.»

Les deux interlocuteurs se turent. Prascovia s'essuyait la figure avec un mouchoir ; Pétouchkof regardait attentivement d'un autre côté. Tous deux se sentaient embarrassés. Au reste, parmi les marchands et les bourgeois il est d'usage même entre anciens amis de se livrer à différentes contorsions cérémonieuses lorsqu'ils se rencontrent, et une certaine roideur d'abord, entre un hôte et son visiteur, paraît non-seulement fort excusable, mais tout à fait convenable, surtout dans une première entrevue. Pétouchkof plut à Prascovia. Il avait à ses yeux une tenue digne et modeste ; d'ailleurs c'était un homme de la classe supérieure.

«J'aime beaucoup vos boulka, Prascovia Ivanovna.

- Oh ! vraiment ? c'est fort bien.

- Elles sont tres-bonnes ; elles sont vraiment excellentes.

- Mangez-en, père ; puissent-elles vous faire du bien ! Nous le souhaitons de bon coeur.

- Je n'en ai même pas mangé d'aussi bonnes à Moscou.

- Ah ! vraiment ? c'est fort bien.»

Une nouvelle pause suivit ces paroles.

«Dites-moi donc, reprit Ivan Afanacievitch, n'est-ce pas une nièce qui demeure chez vous?

- Ma propre nièce, père.

- Et qu'est-ce que... vous en faites ?

- Elle est orpheline, et nous l'avons recueillie.

- C'est donc une ouvrière ?

- Une ouvrière, une excellente ouvrière. Certainement, père, certainement.»

Ivan Afanaciévitch ne jugea pas à propos de pousser plus loin ses questions sur la nièce.

«Quel est donc l'oiseau que vous avez dans cette cage?

- Dieu le sait ! c'est un oiseau.

- Ah c'est très-bien ! Adieu, Prascovia Ivanovna.

- Recevez mes humbles salutations, Votre Honneur. Daignez revenir nous voir pour prendre du thé.

- Avec un sensible plaisir, Praskovia Ivanovna.»

Pétouchkof partit. Il rencontra sur l'escalier Vassilissa, qui se mit à rire.

«D'ou venez-vous donc, ma tourterele? lui demanda Petouchkof d'un ton assez gaillard.

- Allons! finissez, finissez, enjoleur que vous êtes.

- Eh ! eh ! vous avez reçu ma lettre ?»

Vassilissa cacha le bas de sa figure dans sa manche et ne répondit rien.

«Et vous ne m'en voulez plus?

- Vassilissa ! cria la boulangère d'une voix retentissante, Vassilissa !»

La jeune fille entra précipitamment, et Pétouchkof reprit le chemin de la maison.

A partir de ce jour, il se rendit souvent à la boulangerie, et ce ne fut pas inutilement. Ivan Afanacievitch atteignit son but, comme on le dit dans le style élevé. Ordinairement ce resultat refroidit ; mais Pétouchkof, au contraire, s'enflammait de plus en plus. «L'amour est le fruit du hasard, et il existe par lui-même, comme l'art; il n'a pas besoin d'être justifié, pas plus que la nature,» a dit je ne sais quel homme d'esprit allemand, qui, sans avoir jamais aimé lui-même, raisonnait fort bien sur cette question, Pétouchkof s'éprit passionnément de Vassilissa, et il était parfaitement heureux. Il transporta bientôt tout son attirail, ou moins toutes ses pipes chez Prascovia et y passait des journées entières, dans la chambre du fond. Il payait à Prascovia son dîner et son thé; aussi ne se plaignait-elle pas de sa présence. Vassilissa s'était habituée à lui; elle travaillait, chantait, filait à côté de lui, et lui adressait de

temps en temps deux ou trois mots; Petouchkof la regardait, fumait, se balançait sur sa chaise, et jouait avec elle et avec Prascovia aux douraki¹ dans ses moments de loisir. Oui, Petouchkof était heureux... Mais il n'y a rien de parfait en ce monde, et quelque bornes que soient les désirs d'un homme, jamais le sort ne les exauce entièrement; il les trouble même si c'est possible... La cuillerée de goudron finit toujours par tomber dans le tonneau de miel.² C'est ce dont il fut donné à Petouchkof de faire la triste expérience. En premier lieu, depuis le jour de sa liaison avec Vassilissa, ses camarades lui devinrent encore plus étrangers. Il ne les voyait que dans les cas indispensables, et alors, pour éviter les allusions et les plaisanteries, ce qui du reste ne lui réussissait pas toujours, il prenait l'air effaré d'un lièvre jouant du tambour au milieu d'un feu d'artifice. En second lieu, Onicime, qui avait perdu toute considération pour lui, ne le laissait pas en repos ; on pourrait dire qu'il s'acharnait après lui. En troisième lieu, enfin... Hélas ! veuillez continuer ce récit, lecteur bienveillant.

V

Un jour Petouchkof (il ne se trouvait pas à son aise hors de chez Prascovia, pour les raisons que nous venons de rapporter) était assis dans la petite chambre du fond, habitée par Vassilissa, et s'occupait de préparations domestiques, confitures et infusions spiritueuses. La boulangère était sortie, et Vassilissa, qui la remplaçait, chantonnait dans la pièce voisine.

Quelqu'un frappa au vasistas. Vassilissa se leva, s'approcha de la fenêtre, jeta une exclamation de surprise, et se mit à rire et à chochoter avec une personne qui était dans la rue. Ayant repris sa place, elle soupira et se remit à chanter plus haut qu'auparavant.

«Avec qui viens-tu de parler? lui demanda Petouchkof.»

Vassilissa continua à chanter.

«Vassilissa! tu n m'entends donc pas, Vassilissa!

¹ Jeu de cartes.

² Proverbe russe.

- Que voulez-vous?
- Avec qui viens-tu de parler ?
- Qu'est-ce que ça vous fait ?
- Voilà qui est un peu fort !»

Pétouchkof passa dans sa chambre ; il avait un arkalouk¹ de couleur dont les manches étaient retroussées, et tenait un entonnoir à la main.

«Avec un de mes bons amis, dit alors Vassilissa.

- Qui cela?
- Avec Peter Pétrovitch.
- Peter Pétrovitch ?... Quel Peter Pétrovitch ?
- C'est un monsieur comme vous... Il a un drôle de nom...
- Boublitsine ?
- Oui ; Peter Pétrovitch.
- Tu le connais donc ?
- Si je le connais ! s'écria Vassilissa avec un mouvement de tête.»

Pétouchkof fit plus de dix tours dans la chambre sans ouvrir la bouche.

«Ecoute, Vassilissa, dit-il enfin, de quelle façon le connais-tu?

- De quelle façon je le connais?... je le connais...; c'est un monsieur si gentil.

- Gentil ! comment cela ? comment est-il gentil ? hein ?»

Vassilissa regarda Ivan Afanaciévitch.

«Gentil, répète-t-elle lentement et d'un air étonné, ça se comprend.»

Pétouchkof se mordit les lèvres et se remit à marcher dans la chambre.

«Et de quoi avez-vous causé? hein?»

Vassilissa sourit et baissa la tête.

«Parle, parle donc; on te dit de parler!

- Comme vous êtes méchant aujourd'hui !» dit Vassilissa.

Pétouchkof ne répondit pas.

¹ Tunique courte à la mode tartare.

«Eh bien! soit, Vassilissa, reprit-il, je ne me fâcherai pas... mais dis-moi de quoi vous avez causé.»

Vassilissa se mit à rire.

«Il est si plaisant, Peter Pétouchkof! vrai.

- Comment ça?

- Oui, si plaisant !»

Pétouchkof resta de nouveau silencieux.

«Vassilissa, dit-il enfin, m'aimes-tu bien?

- Alons ! vous aussi, vous le demandez !»

Cette dernière réponse fit frémir le pauvre Pétouchkof jusqu'au fond du coeur. Praskovia rentra, et on se mit à table. Après le dîner, la boulangère rentra dans la soupente. Ivan Afanaciévitch s'étendit sur le four et s'endormit. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait avec précaution le réveilla. Il se souleva un peu en s'appuyant sur les coudes, et promena les yeux autour de lui; la porte était entr'ouverte. Il sauta en bas du four; Vassilissa n'était pas là. Il se précipita dans la cour; elle ne s'y trouvait pas non plus; il ouvrit la porte qui donnait sur la rue, et regarda de tous côtés sans apercevoir Vassilissa. Il courut nu-tête jusqu'à la place du marché; rien! Il rentra lentement dans la boulangerie, monta de nouveau sur le four, et s'y coucha la figure contre le mur. Il avait le coeur oppressé. Boublitsine... Boublitsine...¹ ce nom semblait retentir à son oreille.

«Qu'as-tu donc, père? lui demanda Prascovia d'une voix endormie; pourquoi soupire-tu?

- Ce n'est rien, rien. J'étouffe un peu.

- Ce sont les champignons, marmotta Prascovia, les champignons. O Seigneur ! ayez pitié de nous, pauvres pécheurs.»

Une heure, deux heures se passèrent; toujours point de Vassilissa. Pétouchkof fut plus de vingt fois sur le point de se lever, et vingt fois il se blottit tout découragé sous son touloupe¹... Il finit cependant par se décider à retourner chez lui; mais, après avoir fait quelques pas dans la cour, il rentra. Prascovia se leva. Son ouvrier Louka,

¹ Pelisse de peau de mouton.

noir comme un scarabée, quoiqu'il fût boulanger, mettait les pains dans le four. Petouchkof sortit de nouveau sur l'escalier, et se prit à réfléchir. Un bouc qui habitait la cour s'approcha, et lui donna amicalement un petit coup de corne. Petouchkof le regarda et lui dit, Dieu sait à quel propos: «Kiss, kiss¹.» La petite porte de la cour s'ouvrit tout à coup sans bruit, et Vassilissa parut. Ivan Afanaciévitch s'avança à sa rencontre d'un pas délibéré, la prit par la main et lui dit avec calme, mais avec décision:

«Suis-moi.

- Permettez, Ivan Afanaciévitch... je...

- Suis-moi, répéta-t-il.»

Elle lui obéit.

Petouchkof la conduisit dans son logement. Onicime dormait, comme il en avait l'habitude, étendu tout de son long. Ivan Afanaciévitch le réveilla et lui dit de donner une lumière. Vassilissa s'approcha de la fenêtre et s'y assit en silence. Pendant qu'Onicime tournait dans l'antichambre. Petouchkof se tenait immobile près de l'autre fenêtre et regardait dans la rue. Onicime apporta la lumière, et se mit à grogner...

«Va-t'en,» lui dit son maître.

Onicime s'arrêta au milieu de la chambre...

«Va-t'en, et tout de suite,» répéta Petouchkof avec sévérité.

Onicime le regarda et sortit.

«Dehors! lui cria Ivan Afanaciévitch, tout à fait! Tu rentreras dans deux heures.»

Onicime partit immédiatement.

Petouchkof attendit que le bruit de la porte de la cour se fit entendre; puis il s'approcha vivement de Vassilissa.

«Où es-tu allée?»

Vassilissa se troubla.

«Où es-tu allée? veux-tu me répondre?»

¹ C'est ainsi que l'on appelle les chats en Russie.

Vassilissa promena les yeux autour d'elle...

«C'est à toi que je parle... où es-tu allée?»

En achevant ces mots, Petouchkof semblait prêt à lever la main.

«Ne me battez pas, Ivan Afanaciévitch..., ne me battez pas..., balbutia Vassilissa épouvantée.»

Pétouchkof se détourna.

«Te battre... Non; je ne te battrai pas. Te battre? ah! bien oui! ma tourterelle, Que le bon Dieu te bénisse! Lorsque je pensais que tu m'aimais, lorsque... lorsque...»

Ivan Afanaciévitch s'arrêta; il étouffait.

«Ecoute, Vassilissa, lui dit-il enfin, je suis bon; tu le sais, n'est-ce pas?

- Je le sais, répéta-t-elle en hésitant.

- Je ne fais de mal à personne, à personne au monde. Et je ne trompe personne. Pourquoi donc me tromper ?

- Je ne vous trompe pas, Ivan Afanaciévitch.

- Tu ne me trompes pas ! C'est ce que nous allons voir ! Dis-moi, où es-tu allée ?

- J'ai été chez Matrena. Demandez-le-lui, si vous ne le croyez pas.

- Et Boub..., comment déjà... ce diable ! l'as-tu vu ?

- Oui.

- Tu l'as vu ? tu l'as vu ? ah ! tu l'as vu ?»

Pétouchkof pâlit.

«C'est donc le rendez-vous que vous avez arrange ce matin à la fenêtre?

Hein?

- Il m'a priée de venir.

- Et tu n'y as pas manque... Bien obligé, ma petite mère, bien obligé.»

Pétouchkof salua profondément Vassilissa.

«Vous croyez peut-être, Ivan Afanaciévitch...

- Tu ferais mieux de te taire! Au reste, je suis bien bête aussi. Tu peux voir qui te plaît. Je ne tiens pas à toi! Ah! par exemple! Je ne veux plus te connaître.»

Vassilissa se leva.

«Comme il vous plaira, Ivan Afanaciévitch...

- Où vas-tu ?

- Ne m'avez-vous pas...

- Je ne te chasse pas, reprit Pétouchkof.

- Non, il vaut mieux m'en aller..., pourquoi resterais-je ici ?»

Pétouchkof la laissa faire quelques pas.

«Tu t'en vas donc, Vassilissa?

- Vous me faites toujours de la peine...

- De la peine ? Tu ne crains pas Dieu, Vassilissa ? Quand est-ce que je t'ai fait de la peine ? dis-le donc ? quand cela ?

- Vous avez manqué me battre tout à l'heure...

- Vassilissa, tu devrais avoir honte ! c'est un péché ce que tu dis là.

- Et vous m'avez dit que vous ne vouliez plus me connaître. Je suis un maître, moi, et toi, tu es une servante, m'avez-vous dit.»

Ivan Afanaciévitch se mit à se torde les doigts en silence. Vassilissa se trouvait déjà au milieu de la chambre.

«Eh bien ! que Dieu vous accompagne, Ivan Afanaciévitch ! Allons chacun de notre côté...

- Tais-toi, Vassilissa, tais-toi ! s'écria Pétouchkof. Regarde-moi plutôt. Je ne suis pas reconnaissable ; je ne sais plus ce que je dis... Tu devrais au moins avoir pitié de moi...

- Vous me grondez toujours...

- Ah ! Vassilissa ! que celui qui rappellera le passé perde un oeil ! Est-ce dit ! Voyons, tu ne m'en veux plus ?

- Vous m'offensez toujours...

- Je ne le ferai plus, ma chérie, je ne le ferai plus ! Pardonne à un ancien, à un pauvre diable, cela ne m'arrivera plus jamais ! Me pardonnes-tu ?

- Dieu vous pardonnera, Ivan Afanaciévitch...

- Allons, ris un peu, ris donc.»

Vassilissa se détourna.

«Elle a ri, ma colombe! elle a ri!» s'écria Pétouchkof; et il se mit à sauter comme un enfant.

VI

Le lendemain Pétouchkof se rendit comme d'habitude à la boulangerie et reprit son train de vie accoutumé; mais il avait une épine dans le coeur. Il ne riait plus autant et prenait parfois un air pensif. Le dimanche suivant, Prascovia avait mal aux reins; elle se trafna avec beaucoup de peine à la messe et regagna aussitôt sa chère soupente. Après le dîner, Pétouchkof conduisit Vassilissa dans la chambre du fond; elle se plaignait depuis le matin de s'ennuyer. A l'expression qui se lisait sur la figure de Pétouchkof, il était facile de voir qu'il roulait dans sa tête une pensée tout à fait extraordinaire de sa part.

«Assieds-toi un peu là, Vassilissa, lui dit-il, et moi, je me mettrai là. J'ai quelque chose à te dire.»

Vassilissa s'assit.

«Sais-tu écrire, Vassilissa?

- Ecrire ?

- Oui, écrire.

- Non, je ne le sais pas.

- Et sais-tu lire ?

- Non plus.

- Qui t'a donc lu ma lettre ?

- Le diatchok¹.»

Pétouchkof resta un moment silencieux.

«Et voudrais-tu savoir lire?

- A quoi ça peut-il nous servir, Ivan Afanaciévitch ?

- Comment, à quoi ? On peut lire des livres.

- Et qu'est-ce qu'il y a dans les livres ?

¹ Sasristait.

- Toutes sortes de bonnes choses... Ecoute ; veux-tu que je t'apporte un livre ?

- Mais puisque je ne sais pas lire, Ivan Afanaciévitch !

- Je te ferai la lecture.

- Ca doit être ennuyeux.

- Dieu préserve ! ennuyeux ! Au contraire, cela desennuie.

- Vous lirez donc des contes ?

- Tu verras ca demain.»

Pétouchkof rentra le soir à la maison, et se mit à fouiller dans ses tiroirs. Il finit par trouver plusieurs volumes de la Bibliothèque pour la lecture¹, cinq ou six volumes de romans imprimés à Moscou, une arithmétique de Nazarov, une géographie pour les enfants, avec un globe terrestre sur la première page, le second volume de l'histoire de Kaidanov, deux traités des songes, un almanach pour l'année 1809, deux numéros de la Galathee², la Nathalie Dolgoroukoff de Kozlov, et la première partie de Roslavlev.³ Il réfléchit longtemps avant de faire un choix, et se décida à prendre le poème de Kozlov et Roslavlev.

Le lendemain, Pétouchkof s'habilla à la hâte, fourra les deux volumes sous les pans de sa capote, se rendit à la boulangerie, et des qu'il trouva un moment favorable, il fit asseoir Vassilissa et se mit à lire le roman de Zagoskine. Vassilissa se tenait immobile ; elle commença par sourire et devint peu à peu pensive... ; puis elle se pencha légèrement en avant ; ses paupières s'appesantirent, sa bouche s'entr'ouvrit, ses mains tombèrent sur ses genoux ; elle s'endormit. Pétouchkof lisait vite, d'une voix sourde et inintelligible ; il leva les yeux.

«Vassilissa, tu dors?»

Elle tressaillit, se frotta la figure, et s'étira les bras. Pétouchkof lui en voulait et s'en voulait à lui-même...

«C'est ennuyeux, dit paresseusement Vassilissa.

- Attends ; je vais te lire des vers ; veux-tu ?

¹ Revue périodique.

² Journal périodique.

³ Roman de Zagoskine.

- Comment dites-vous?

- Des vers... de bons vers.

- Non, j'en ai assez comme ça, vraiment.»

Pétouchkof saisit le poème de Kozlof, sauta de sa chaise, fit quelques pas dans la chambre, rebroussa ses cheveux, et se plaçant inopinément en face de Vassilissa, il commença à lire avec feu. Vassilissa jeta la tête en arrière, ouvrit les mains, regarda fixement Pétouchkof et se mit tout à coup à rire aux éclats.

Ivan Afanaciévitch jeta le livre par terre avec dépit. Vassilissa continuait à rire.

«Pourquoi ris-tu, sotté?»

Vassilissa redoubla ses éclats de rire...

«Ris, ris, grommelait Pétouchkof entre les dents.»

Vassilissa se tenait les côtes; elle n'en pouvait plus.

«Qu'est-ce qui te fait rire, folle?»

Mais Vassilissa étouffait et se bornait à remuer les mains. Ivan Afanaciévitch saisit sa casquette et sortit précipitamment de la maison. Il allait d'un pas rapide et inégal, et après avoir longtemps marché, il se trouva tout à coup à la barrière. Le bruit d'une voiture se fit entendre;... quelqu'un l'appela par son nom. Il leva les yeux aperçut en face de lui, dans un grand char à bancs ^{de} façon antique M. Boublitsine, assis entre deux jeunes personnes, filles de M. Tuturef. Les deux soeurs avaient le même costume, comme pour symboliser la tendre amitié qui les unissait; toutes deux souriaient pensivement, mais avec grâce, et tenaient la tête un peu inclinée, avec grâce aussi. Sur le banc opposé se voyaient le large chapeau de paille et la nuque épaisse et ronde du respectable M. Tuturef; à côté se dressait le bonnet de madame. La place qu'occupaient les deux époux témoignait suffisamment de l'entière confiance et de l'estime qu'ils portaient au jeune Boublitsine. Au reste, celui-ci appréciait visiblement cette flatteuse distinction. Il est vrai que son attitude, sa conversation et son rire étaient fort dégagés; mais ce laisser-aller ne l'empêchait pas de manifester pour ses voisines un sentiment de respect et de déférence. Et les jeunes Tuturef donc? Il serait difficile d'exprimer tout ce que l'oeil de l'observateur

découvrait dans leurs traits. La douceur, la timidité naturelles au beau sexe, et une gaieté modeste, une triste expérience de la vie, et une inébranlable confiance en soi, ainsi que dans la noble destinée qui nous attend sur cette terre, une attention délicate pour le jeune Boublitsine, moins heureusement doué qu'elles, peut-être, du côté de l'intelligence, mais digne de la plus grande estime par les qualités de son cœur: tels étaient les traits de caractère et les sentiments qui se lisaient sur la figure des demoiselles Tuturef. Boublitsine appela Ivan Afanaciévitch sans aucun motif; il y fut poussé par l'exubérance de son contentement intérieur. Ce fut avec une politesse et une amabilité parfaites qu'il le salua; les demoiselles Tuturef le regardèrent aussi d'un air affable et prévenant, comme une personne dont il leur serait agréable de faire la connaissance. Les petits chevaux replets et paisibles qui traînaient la voiture passèrent en trotinant devant Ivan Afanaciévitch; le char à bancs roula avec lenteur sur la large chaussée, emportant avec lui un doux rire de jeunes filles; le chapeau de M. Tuturef se montra encore une fois; les chevaux de volée courbèrent la tête en sautant avec grâce sur l'herbe courte et verte..., le cocher jeta un sifflement contenu, et tout disparut tranquillement derrière les arbres.

Le pauvre Pétouchkof resta longtemps sans bouger de place.

«Je suis un orphelin, un orphelin de Kazan¹..., murmura-t-il enfin.»

Un enfant leguenillé s'arrêta devant lui, le regarda d'un air timide et lui tendit la main...

«La charité, mon bon maître.»

Pétouchkof tira un groche.²

«Tiens, pauvre orphelin, lui dit-il avec effort;» et il reprit le chemin de la boulangerie. Arrivé sur le seuil de la chambre de Vassilissa, Ivan Afanaciévitch s'arrêta.

«Voilà, se dit-il, voilà qui je fréquente! voilà ma famille, à moi! la voilà!...

Là-bas Boublitsine..., et ici Boublitsine...»

¹ Locution populaire dont le sens est perdu. Peut-être remonte-t-elle à l'époque de la conquête de Kazan par Ivan le Terrible.

² Petite pièce de monnaie en cuivre.

Vassilissa, revêtue d'une robe d'indienne déteinte et les cheveux mal peignés, lui tournait le dos ; elle devait un écheveau de fil en chantant avec insouciance. La température de la chambre était étouffante, et on y sentait une odeur de lit de plumes ; des blattes rousses couraient rapidement ça et là sur les murs, un soulier de femme éculé se trouvait, à côté d'une fiole cassée, sur une vieille commode dont les serrures étaient remplacées par des trous... ; le poème de Kozlof gisait par terre... Pétouchkof croisa les bras et sortit : il se sentait offensé.

Revenu à la maison, il se mit en devoir de faire sa toilette. Onicime alla nonchalamment lui chercher sa capote. Pétouchkof aurait bien voulu causer avec lui, mais Onicime gardait un silence obstiné. A bout de patience, Ivan Afanacievitch finit par lui adresser la parole.

«Pourquoi ne me demandes-tu pas où je vais?

- Et qu'est-ce que ça me fait?

- Ce que ça te fait ? Mais si quelqu'un venait me demander pour une affaire importante, tu pourrais lui répondre : Ivan Afanacievitch est allé à tel endroit.

- Pour une affaire importante... Qui vient vous trouver des affaires importantes ?

- Voilà que tu recommences tes grossieretés !»

Onicime se détournait et se mit à brosser la capote

«Tu es vraiment un homme fort désagréable Onicime!»

Onicime le regarda en dessous.

«Tu es toujours le même, positivement le même.»

Onicime sourit.

«Qu'ai-je besoin de vous demander : Où allez-vous, Ivan Afanacievitch? comme si je ne le savais pas! Vous allez à la boulangerie.

- Ah! vraiment? Eh bien, tu ne sais ce que tu dis; tu radotes, Je n'y vais pas; je n'irai plus à la boulangerie.»

Onicime fit la grimace et continua à brosser. Pétouchkof s'attendait à une approbation ; mais son domestique gardait le silence.

«Cela n'est pas bien. reprit Pétouchkof d'une voix sévère; cela n'est pas convenable... Allons, veux-tu me dire ce que tu penses?

- Qu'est ce que j'ai à penser? Faites comme vous voulez. Je suis un homme subordonné. Qu'est-ce que j'ai à penser?»

Pétouchkof mit sa capote. «Il ne me croit pas, l'animal.», pensa-il en sortant.

Il marcha quelque temps sans but, sans entrer nulle part; puis il se prit à regarder le coucher du soleil; il revint enfin à la maison vers neuf heures. Il souriait et haussait continuellement les épaules, comme étonné de sa folie passée. «Voilà pourtant, se disait-il, ce que c'est que d'avoir une volonté ferme.»

Le lendemain, Pétouchkof se leva assez tard. Il avait passé une assez mauvaise nuit; il ne sortit pas de la journée et s'ennuya à mourir. Tout en feuilletant ses livres, il avait vanté à haute voix «les beautés de style» qu'offrait une nouvelle de la Bibliothèque pour la lecture. Au moment de se coucher, il dit à Onicime de lui apporter une pipe, et celui-ci lui en apporta une qui était presque hors de service. Pétouchkof se mit à fumer; la pipe rendait un son pareil au souffle d'un cheval poussif.

«Quelle horreur! s'écria Ivan Afanaciévitch; où est donc ma pipe de merisier?

- A la boulangerie, répondit tranquillement Onicime.»

Pétouchkof cligna les yeux.

«Ordonnez-vous d'aller la chercher? j'irai tout de suite.

- Non, c'est inutile; n'y va pas... m'entends-tu?

- C'est bien.»

La nuit se passa tant bien que mal. Le matin, à l'heure du déjeuner, Onicime présente, suivant l'ordinaire, à Pétouchkof une boullka blanche et fraîche posée sur la même assiette à petits fleurs bleues. Ivan Afanaciévitch se mit à la fenêtre et dit à son domestique:

«C'est toi qui as été à la boulangerie?

- Si je n'y allais pas, qui donc pourrait y aller?»

Pétouchkof parut rester quelque temps plongé dans une profonde méditation.

«As-tu vu quelqu'un la-bas, hein?

- Certainement, que j'ai vu quelqu'un.

- Et qui ça, entre autres ?

- Mais naturellement Vassilissa.»

Ivan Afanaciévitch se tut. Onicime desservit la table ; il se disposait à quitter la chambre...

«Onicime, dit Pétouchkof d'une voix faible.

- Plaît-il?

- Et... elle n'a pas parlé de moi ?

- Naturellement.»

Pétouchkof serra les dents. «Voilà, se dit-il, voilà l'amour!» Il baissa la tête. «Au reste, j'étais vraiment plaisant, reprit-il. Quelle idée de lui lire de la poésie? Elle est bête; dormir sur le four et manger des flans, voilà tout ce qu'il lui faut. C'est une petite campagnarde, une vraie campagnarde, une petite fille sans l'ombre d'instruction!»

«Elle n'est pas venue! murmurait-il deux heures après, toujours assis à la même place; elle n'est pas venue! cependant elle a dû voir que je m'en allais fâché; elle a dû comprendre que je me trouvais offensé. En voilà un amour! Elle n'a même pas demandé si je me portais bien. Ivan Afanaciévitch se porte-t-il bien? elle ne l'a pas dit; je ne l'ai pas vue depuis deux jours... elle ne demande rien. Peut-être ce Boublitsine a-t-il été plus favorisé... L'heureux coquin! Ah! que diable m'emporte si je ne suis pas un imbécile!»

Pétouchkof se leva, fit quelques tours dans la chambre. fronça un peu les sourcils et se gratta la nuque. «Après tout, dit-il à haute voix, je ferais peut-être bien de l'aller voir. Je serais bien aise de savoir ce qu'elle devient. Il faut lui faire honte de sa conduite. C'est décidé, je vais y aller. Onka¹ je vais m'habiller.»

«Allons! dit-il tout en faisant sa toilette, nous verrons ce qu'il en sera/ Il est fort possible qu'elle se fâche contre moi. On ne peut répondre de rien! Ce ne serait pas étonnant d'ailleurs..., car enfin j'y étais toujours fourré et puis voilà que tout à coup je cesse mes visites! Nous allons voir.»

¹ Diminutif d'Onicime; il est méprisant.

Ivan Afanaciévitch sortit et arriva bientôt à la boulangerie. Il s'arrêta devant la petite porte de la cour, afin de s'arranger un peu. Après avoir tiré les pans de sa capote avec tant de force qu'ils faillirent lui rester dans la main, il tourna le cou, défit l'agrafe supérieure de son col et soupira.

«Qu'attendez-vous la? lui cria Prascovia; entrez donc!»

Pétouchkof s'avança tout ému. Prascovia le reçut sur le seuil de la maison.

«Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir hier?

Est-ce que vous avez été malade?

- Oui, j'avais un peu de migraine...

- Vous auriez dû appliquer sur vos tempes un concombre coupé, père. Cela vous aurait enlevé votre mal comme avec la main.

- Non; c'est passé.

- Dieu soit loué!

Pétouchkof se dirigea vers la chambre du fond. Vassilissa l'aperçut.

«Eh! bonjour, Ivan Afanaciévitch.

- Bonjour, Vassilissa Timoféïévna.

- Qu'avez-vous? quel entonnoir?

- L'entonnoir ? quel entonnoir ?

- L'entonnoir..., notre entonnoir. Vous l'avez sans doute emporté chez vous.»

Pétouchkof prit un air froid et digne.

«Je recommanderai à mon domestique de le chercher. Comme je ne suis pas venu ici hier... ajouta-t-il en appuyant sur ces mots.

- Ah! c'est juste; vous n'êtes pas venu hier,» répondit Vassilissa; et s'étant assise sur ses talons, elle se mit à fouiller dans ses coffres. «Tante! Eh! tante!

- Que veux-tu ? cria celle-ci d'une voix traînante.

- Est-ce toi qui as pris mon fichu ?

- Quel fichu ?

- Le jaune.

- Le jaune ?

- Oui, le jaune avec des dessins.

- Non ; je ne l'ai pas pris.»

Pétouchkof se baissa vers Vassilissa.

«Ecoute, Vassilissa, j'ai quelque chose à te dire. Il ne s'agit pas maintenant d'entonnoir ni de fichu jaune; tu pourras t'occuper de ces bêtises-là plus tard.»

Vassilissa resta accroupie, et leva seulement la tête.

«Dis-moi, la main sur la conscience, si tu m'aimes ou non? voilà enfin ce que je voudrais savoir.

- Ah ! comme vous êtes, Ivan Afanaciévitch... Mais oui, cetrainement.

- Si tu m'aimes, comment n'es-tu pas venue hier ? Est-ce que tu n'en as pas eu le temps ? Mais tu aurais bien pu envoyer savoir si je n'étais pas venu pour cause de maladie. Cela ne t'inquiète guère, à ce qu'il paraît ! Si je venais à mourir, tu serais bientôt consolée.

- Ah ! Ivan Afanasiévitch, et l'ouvrage ? Il faut pourtant y penser aussi.

- Sans doute, répondit Pétouchkof, et pourtant... Il n'est pas convenable aussi de se moquer des hommes d'âge... Ce n'est pas bien. D'ailleurs, il y a des circonstances particulières qui permettent... Où est danc ma pipe ?...

- La voilà.»

Pétouchkof se mit à fumer.

VII

Plusieurs jours se passèrent assez pacifiquement en apparence. Mais l'orage approchait. Pétouchkof s'inquiétait, ne quittait pas Vassilissa des yeux, la suivait partout, et l'ennuyait au delà de toute expression. Un soir, Vassilissa s'habilla avec plus de soin que d'ordinaire, et, saisissant un moment favorable, elle s'esquiva. La nuit ; elle n'était pas revenue. Pétouchkof rentra chez lui fort tard, et à huit heures du matin il courut à la boulangerie... Vassilissa n'était toujours pas revenue. Il l'attendit dans les plus cruelles angoisses jusqu'à l'heure du dîner... ; on se mit à table sans elle.

«Où peut-elle etre fourrée? dit Prascovia avec insouciance.

- Vous la gêtez ; vous la perdrez tout à fait ! répondit Pétouchkof d'un ton désespéré.

- Eh ! père, est-ce qu'on peut surveiller une jeunesse ? Que le bon Dieu la bénisse ! Pourvu qu'elle fasse son travail... Pourquoi ne pas s'amuser un peu ?»

De pareilles paroles donnaient le frisson à Ivan Afanaciévitch. Enfin, sur le soir, Vassilissa parut. Pétouchkof se leva, croisa les bras et fronça les sourcils d'un air menaçant... Mais Vassilissa le regarda avec hardiesse, partit d'un éclat de rire effronté, passa dans sa chambre et s'y enferma, sans lui avoir laissé le temps de dire un mot. Ivan Afanaciévitch ouvrit la bouche et regarda avec étonnement Prascovia... qui baissa les yeux. Au bout de quelques instants, il prit sa casquette à tâtons, la plaça de travers sur sa tête, et sortit comme un hébété.

Arrivé à la maison, il saisit un coussin de cuir, et se jeta sur son divan, la figure contre le mur. Onicime l'aperçut de l'antichambre ; il entra, s'appuya le dos à la porte, aspira une pincée de tabac, et croisa les jambes.

«Êtes-vous malade, Ivan Afanaciévitch?» demanda-t-il à son maître.

Pétouchkof ne répondit pas...

«Faut-il aller chercher le docteur? reprit Onicime après un moment de silence.

- Je suis bien portant... Va-t'en, répliqua Pétouchkof d'une voix sourde.

- Bien portant, non ; vous êtes malade... Ça ne s'appelle pas bien portant.»

Pétouchkof se taisait.

«Regardez-vous plutôt. Vous êtes si maigre qu'on ne vous reconnaît plus... Et tout cela, pourquoi? Quand on y pense, c'est vraiment drôle. Un monsieur!»

Onicime s'interrompt... Pétouchkof ne bougeait pas.

«Est-ce comme ça que les messieurs se conduisent? On s'amuse un peu... il n'y a pas de mal à ça... on s'amuse un peu, et puis on n'y pense plus. Mais vous, c'est bien une autre affaire! On a raison de dire que la nuit tous les chats...»

Ivan Afanaciévitch s'agita un peu.

«Vrai, Ivan Afanaciévitch. Un autre m'aurait dit de vous: Voilà ce qu'il fait... Je lui aurais répondu: Imbécile, va-t'en; pour qui me prends-tu? Jamais je ne l'aurais cru; maintenant que je le vois, je ne peux pas encore y croire! En voilà une

sévère! Est-ce qu'elle vous aurait fait boire quelques herbes? car enfin lorsqu'on examine la chose de sang-froid, c'est une pure bêtise. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle ne sait même pas parler convenablement... C'est une fille comme tant d'autres, et il y en a encore qui sont beaucoup mieux.

- Va-t'en, dit Pétouchkof d'une voix gémissante, et en se pressant la figure contre son coussin.

- Non, je ne m'en irai pas, Ivan Afanaciévitch. Qui est-ce qui vous parlerait, si ce n'est moi? En vérité, je n'y comprends rien. Vous voilà à vous désoler... et pourquoi? Pourquoi, je vous le demande? Répondez-moi.

- Va-t'en donc! » répéta Pétouchkof sur le même ton.

Onicime resta un moment sans parler, par égard pour son maître.

«C'est tout de même étonnant, reprit-il bientôt; elle n'est pas du tout reconnaissante! Une autre se serait mise en quatre pour vous être agréable; mais elle... elle ne pense seulement pas à vous. C'est joli! si vous saviez tout ce qu'on débite sur votre compte. C'est à ce point qu'on me fait des reproches, à moi!... Ah! si j'avais pu me douter de cela, je lui aurais appris...

- T'en iras-tu, diable! s'écria Pétouchkof, toujours sans bouger de place et sans lever la tête.

Ivan Afanaciévitch, y pensez-vous? continua l'impitoyable Onicime; c'est pour votre bien. Laissez ça là, crachez; laissez ça là, c'est moi qui vous le dis; suivez mon conseil. Voulez-vous que j'amène une devineresse? Elle vous desensorcelera comme rien. Vous en rirez vous-même après; vous me direz comme ça: «Onicime, il arrive vraiment des choses étranges!» Car je vous le dis, on trouve des femmes de son espèce tant qu'on veut, comme des chiens; il n'y a qu'à siffler...

Pétouchkof se leva du divan comme un forcené... mais au grand étonnement d'Onicime, qui avait déjà porté ses deux mains à la hauteur de ses joues, il se rassit aussitôt; on eût dit qu'il avait reçu un coup de feu dans les jambes... Des larmes coulaient sur sa figure pâle, une mèche de cheveux se dressait sur son front, ses yeux étaient troubles... ses lèvres tremblaient...; il inclina sa tête sur sa poitrine.

Onicime le regarda et tomba lourdement à ses pieds.

«Père Ivan Afanaciévitch, s'écria-t-il. Votre Honneur! punissez-moi, imbécile que je suis! Je vous ai offensé... Oh! comment ai-je osé? Punissez-moi, Votre Honneur!... Faut-il que mes sottises vous fassent pleurer, père Ivan Afanaciévitch!...»

Mais Pétouchkof ne fit aucune attention aux paroles de son serviteur, il se détourna, et se cacha de nouveau la figure dans le coin du divan.

Onicime se releva, resta quelques instants immobile, se prit deux ou trois fois par les cheveux...

«Ne voulez-vous pas vous coucher, père? dit-il à son maître, vous serez mieux dans votre lit;... il faudrait bien un peu de framboise¹... Ne vous chagrinez pas comme ça. C'est un moment à passer..... ce n'est rien... tout ira bien ensuite...» Onicime laissait écouler une ou deux minutes entre chacune de ses phrases.

Mais Pétouchkof ne se relevait toujours pas ; il serrait de temps en temps les épaules, et approchait ses genoux de son ventre.

Onicime ne le quitta pas de la nuit. Pétouchkof ne s'endormit qu'au point du jour, et pour peu de temps. Il se leva vers sept heures, pâle, les habits en désordre, et demanda du thé.

Onicime s'empressa d'allumer le samovar.

«Ivan Afanaciévitch, se hasarda-t-il à dire avec timidité, vous ne m'en voulez pas?

- Pourquoi t'en voudrais-je, Onicime ? lui répondit le pauvre Pétouchkof ; tu m'as parlé raison hier soir, et je suis du même avis que toi.

- C'est par dévouement pour vous, Ivan Afanaciévitch...

- Je le sais bien.»

Pétouchkof se tut et baissa la tête.

Onicime comprit que c'était un mauvais signe.

«Ivan Afanaciévitch, s'écria-t-il à coup.

- Quoi ?

- Voulez-vous que je dise à Vassilissa de venir ?»

¹ Infusion de framboises.

Pétouchkof rougit.

«Non, Onicime, je ne le veux pas. (Ah! bien oui! se dit-il, elle viendrait drôlement.) Il faut montrer de la fermeté. Sottise que tout cela! Niais que j'étais... c'est une honte! tu as raison. Il faut terminer tout cela d'un coup, comme on dit, n'est-ce pas?

- C'est la pure vérité, Ivan Afanaciévitch.»

Pétouchkof redevint pensif. Il s'étonnait de ce qu'il venait dire, et ne se reconnaissait plus, en quelque sorte. Il était assis, immobile, les yeux arrêtés sur le plancher. Une foule de pensées s'entremêlaient dans son esprit, comme de la fumée ou du brouillard, et il se sentait le cœur à la fois vide et pesant.

«Qu'est-ce que tout cela, au bout du compte? pensait il par moments. Folie! enfantillage!» disait-il à haute voix, et il se passait la main sur la figure, se redressait; puis sa main retombait de nouveau sur ses genoux, et ses yeux s'arrêtaient de nouveau sur le plancher.

Onicime suivait avec anxiété tous les mouvements de son maître.

«Dis-moi donc, Onicime. lui demanda tout à coup Pétouchkof, il y a donc vraiment des herbes qui vous ensorcellent comme ça?

- Certainement, Votre Honneur, pour sur, répondit Onicime en faisant un pas avant. Vous connaissez bien le sous-officier Kroupovatoï? On a jeté un sort sur son propre frère, et cela pour une vieille paysanne, une cuisinière. avez-vous jamais rien vu de pareil? On lui a fait manger un morceau de pain noir, encorcelé, bien entendu. Et voilà le frère Kroupovatoï qui se prend à aimer comme un fou la vieille cuisinière; il courait partout après elle, il ne pouvait pas se lasser de la voir. Des qu'elle lui ordonnait quelque chose, il obéissait. Même devant les autres, devant les étrangers, elle le faisait tourner, tant elle était fière. En fin de compte, il finit par devenir poitrinaire. Et voilà comment le frère Kroupovatoï est mort. C'est pourtant une cuisinière, et une vieille femme encore, une femme très-vieille. (Onicime aspira une prise.) Ah! puissent-elles... toutes ces filles et ces femmes...

- Elle ne m'aime pas du tout ; c'est évident, c'est maintenant tout à fait sûr, murmurait Pétouchkof en faisant des mouvements de tête et de main, comme s'il expliquait à quelqu'un des choses qui ne le concernaient nullement.

- Oui, reprit Onicime, il y a des femmes comme ça.

- Il y a des femmes comme ça,» répéta Pétouchkof d'une voix plaintive. On n'aurait pu dire s'il faisait une question ou s'il exprimait son étonnement.

Onicime jeta un regard scrutateur sur son maître.

«Ivan Afanaciévitch, fit-il, vous feriez bien de manger quelque chose.

- Manger quelque chose ? répéta Pétouchkof d'un même ton plaintif.

- Ou peut-être, voudriez-vous fumer une pipe ?

- Fumer une pipe ? répéta Pétouchkof.

- Eh ! eh ! voilà la tournure que cela prend, grommela Onicime... Il est accroché, c'est clair.»

VIII

Un bruit de pas se fit entendre dans l'antichambre et bientôt après quelqu'un y toussa avec précaution pour annoncer, suivant l'usage, sa présence ceans. Onicime entra dans l'antichambre, et reparut presque aussitôt avec un soldat du corps des garnisons ; c'était un homme de très-petite taille, au visage de vieille femme, revêtu d'une capote usée et rapiecée, sans pantalon et sans cravate. Pétouchkof tressaillit ; le soldat se redressa, lui souhaila le bonjour d'une voix sonore, et lui tendit une lettre d'un grand format, portant le cachet du gouvernement. C'était une missive du major commandant le bataillon ; il mandait par devant lui Pétouchkof «Immédiatement et sans délai.»

Après avoir tourné la lettre dans ses mains, Pétouchkof ne put s'empêcher de demander au planton «s'il ne savait pas pourquoi le major voulait le voir,» quoiqu'il sût fort bien lui-même que cette question était parfaitement inutile.

«On ne peut pas le savoir, lui répondit péniblement le soldat, comme s'il venait d'être soudainement réveillé.

- Et il n'a pas fait appeler les autres officiers ?-reprit Pétouchkof.

- On ne peut pas le savoir, répéta le soldat sur le même ton.

- C'est bon ! va-t'en, lui dit Pétouchkof.

Le soldat fit demi-tour à droite, en frappant les planches du talon, et en portant la paume de la main à la place qu'aurait dû occuper sa giberne (mouvement prescrit aux hommes sans armes il y a une vingtaine d'années), et s'éloigna.

Pétouchkof échangea silencieusement un regard avec Onicime, qui paraissait inquiet, et il se rendit chez son supérieur.

Le major était un homme replet et mal bâti, à la figure rouge et gonflée, au cou gros et court, aux doigts tremblants par suite du trop fréquent usage de l'eau-de-vie. Il appartenait à la classe des militaires russes que l'on nomme «bourbons,» et qui se compose de soldats parvenus au grade d'officier; il n'avait appris à lire qu'à l'âge de trente ans, et parlait difficilement, tant parce qu'il avait la respiration courte, que parce qu'il avait peine à suivre le fil de ses propres idées. Son tempérament présentait toutes les variétés définies par la science; le matin, avant boire, il était mélancolique, au milieu de la journée colérique, et flegmatique vers le soir, c'est-à-dire qu'il grognait et soupirait jusqu'à ce qu'on le couchât dans son lit. Lorsque Pétouchkof parut, le major se trouvait dans sa période colérique; il était assis sur son divan, sa robe de chambre jetée sur les épaules, et une pipe à la main. Un gros chat, aux oreilles coupées, se tenait à ses côtés.

«Ah! vous voilà, vous! grommela le major, en fixant sur Pétouchkof ses petits yeux d'un gris clair. Hum! asseyez-vous! que je vous arrange. Il y a longtemps que je cherchais à vous pincer... Oui!»

Pétouchkof se posa lentement sur une chaise.

«Pourquoi? reprit le major, avec une subite agitation de tous ses membres. Vous êtes pourtant un officier, il faut conséquemment se conduire selon l'ordonnance. Si vous aviez été soldat, je vous aurais tout bonnement fait rosser, et tout serait dit. Mais vous êtes officier. A quoi ça ressemble-t-il? Se couvrir de honte! C'est du propre?

- Permettez-moi de vous demander à quoi se rapportent ces allusions ? dit Pétouchkof.

- Pas de raisonnements ! je n'aime pas ça ! Je vous dis que je ne l'aime pas, et voilà tout... Pourquoi les agrafes de votre collet ne sont-elles pas suivant l'ordonnance ? C'est honteux de se tenir toute la journée dans une boulangerie ! et ça s'appelle un gentilhomme ! Il reste la sous un jupon, voilà la chose. Passe encore pour ces diables de jupons, mais on dit qu'il met lui-même les pains dans le four. Vous salissez l'uniforme. Comprenez vous ça ?

- Permettez-moi de vous faire observer, reprit Pétouchkof avec émotion, que tout ceci a rapport, comme je crois le comprendre, à ma vie privée...

- Pas de raisonnements ! je le répète. Il me parle de vie privée ! Si c'avait été pour affaire de service, je vous aurais tout bonnement flanqué au corps de garde : allo marchir ! comme on dit en France ! C'est que j'ai prêté serment, moi ! J'ai été soldat ! On a usé sur mon dos tout un bois de bouleaux, de sorte que je connais bien le service. Entendez-vous ? Je vous parle dans ce moment de l'uniforme ; vous salissez l'uniforme. Oui, je suis comme un père, et tout ça me regarde... Et vous osez encore raisonner... » vocifera tout à coup le major dans un tel excès de colère que sa figure en devint pourpre, et ses lèvres se couvrirent d'écume. Le chat leva sa queue et sauta à terre. « Est-ce que vous ne savez pas que je peux tout... Savez-vous bien à qui vous parlez ? L'autorité ordonne, et vous raisonnez !... L'autorité... l'autorité... » Le major fut pris d'un accès de toux, et la voix lui manqua. Le pauvre Pétouchkof se tenait toujours pâle et immobile sur le bord de sa chaise.

« Il faut avec moi..., reprit le major en agitant ses bras, il faut que vous... marchiez droit. »

Ici le major fit un geste impérieux. « Fréquente qui bon te semble, je m'en moque, mais tu es gentilhomme, par conséquent il faut se conduire... comment dirai-je?... d'une manière conforme. Ne pas mettre le pain dans le four, ne pas appeler sa tante une vieille ordure, ne pas salir l'uniforme, ne pas repliquer, ne pas raisonner surtout ! »

Le major s'interrompt de nouveau. Il reprit haleine, et se tournant du côté de l'antichambre, il cria : «Frolka! vaurien! des harengs!» Pétouchkof se leva vivement et s'esquiva; il faillit renverser le petit cosaque qui entrait dans la chambre, portant des harengs et une grande carafe d'eau-de-vie sur un plateau d'étain.

«Ne pas raisonner,» ces paroles continuaient à retentir encore avec force pendant que le malheureux Pétouchkof descendait l'escalier.

IX

Ivan Afanaciévitch éprouva un sentiment étrange lorsqu'il se vit dans la rue.

«Il me semble vraiment que je marche en rêve, se dit-il. Est-ce que je serais devenu fou? Non, ce n'est pas probable. Allons! que le diable l'emporte! Elle a cessé de m'aimer, et moi aussi, je m'en suis lassé. Eh bien!... y a-t-il la rien d'extraordinaire?»

Pétouchkof fronça les sourcils.

«Il faut décidément en finir, ajouta-t-il presque à haute voix. Je vais m'expliquer décidément pour la dernière fois, pour qu'il n'en soit plus question.»

Pétouchkof se dirigea d'un pas rapide vers la boulangerie. Le neveu de l'ouvrier Louka, petit garçon qui était le compagnon et l'ami du bouc domicile dans la cour, courut vivement à la maison en apercevant Ivan Afanaciévitch, et Prascovia vint aussitôt à la rencontre du visiteur.

«Votre nièce n'est pas à la maison?-demanda Pétouchkof.

- Elle est sortie.»

Pétouchkof se réjouit intérieurement de l'absence de Vassilissa.

«Je suis venu pour m'expliquer avec vous, Prascovia Ivanovna.

- Sur quoi donc, père ?

- Voici. Vous comprenez qu'après tout... ce qui s'est passé..., après un pareil procédé... en un mot... Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas.

- C'est entendu.

- Comprenez bien la position dans laquelle je me trouve, Prascovia Ivanovna.

- J'entends bien.
- Vous êtes une femme de sens, vous comprendrez que..., qu'il m'est impossible de venir chez vous désormais.
- J'entends bien, répondit Prascovia d'une voix traînante.
- Croyez bien que je le regrette sincèrement ; j'avoue même que cela me peine, m'affecte beaucoup...
- Ça vous regarde, répondit tranquillement Prascovia. Comme il vous plaira. Mais, si vous le permettez, je vais faire votre petite note.»

Pétouchkof ne s'attendait nullement à une aussi prompte conclusion de l'affaire qui l'avait amené. Il ne souhaitait même pas de conclusion, à vrai dire ; il voulait seulement effrayer Prascovia Ivanovna, et surtout Vassilissa. Il se sentait fort mal à son aise.

«Je sais, reprit-il, que Vassilissa ne le trouvera pas mauvais ; elle en sera même probablement très-contente.»

Prascovia tira son abaque, et se mit à en faire glisser les boules.

«D'un autre côté, continua Pétouchkof en s'animant de plus en plus, si Vassilissa m'expliquait sa conduite... peut-être que... je... quoique cependant... je ne sais pas, mais il est fort possible que je ne trouve rien à blâmer dans sa conduite.

- Vous restez devoir, père, trente-sept roubles quarante kopeks assignats, lui dit Prascovia. Tenez, je vais vous détailler la somme. —Dix-huit diners à sept grivnas¹ chaque, soit douze roubles six grivnas.

- Ainsi, Prascovia Ivanovna, nous allons nous quitter ?
- Qu'y faire ? On voit toutes sortes de choses en ce monde, père... Douze samovars à un grivennik.
- Mais ne pourriez-vous pas me dire, Prascovia Ivanovna, où Vassilissa est allée... et pourquoi...
- Je ne le lui ai pas demandé, père... Un rouble douze kopeks argent.»

Ivan Afanaciévitch devint pensif.

¹ Pièce d'argent qui vaut cinquante centimes.

«Pour kvas², continua Prascovia, en poussant les boules de l'abaque, un rouble et demi. Pour sucre et boulka, un rouble et demi. Pour quatre paquets de tabac achetés à votre demande, huit grivnas argent. Au tailleur, Cyprien Apollonof...»

Ivan Afanaciévitch leva tout à coup la tête, étendit le bras et mêla les boules.

«Qu'avez-vous fait, père? dit Prascovia. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas confiance en moi?

- Prascovia Ivanovna, - reprit Pétouchkof avec un sourire, j'ai changé d'avis, c'était seulement comme ça..., une plaisanterie. Restons plutôt amis comme auparavant. Quelle bêtise ! Est-ce que je peux vous quitter ?»

Prascovia baissa la tête et ne répondit pas.

«On s'est un peu chamaillé, et voilà tout, continua Ivan Afanaciévitch, et il marchait dans la chambre en se frottant les mains, comme s'il était rentré dans ses anciens droits. Amen! Et sur cela, je vais fumer une pipe.»

Prascovia se tenait toujours à la même place.

-Je vois que vous m'en voulez, reprit Pétouchkof; je vous ai peut-être offensée ? Eh bien! pardonnez moi généreusement.

- Offensée, père ? allons donc !... Seulement, père, je vous en prie, ajouta Prascovia en faisant la révérence, ne revenez plus chez nous.

- Comment ?

Il ne convient pas à de petites gens comme nous de recevoir des personnes comme Votre Honneur. Je vous en prie, faites-nous cette grâce.»

Prascovia continuait ses révérences.

-Pourquoi cela?-demanda Pétouchkof avec stupefaction.

- Comme ça, père. Montrez-vous miséricordieux.

- Cependant, Prascovia Ivanovna, il faudrait s'expliquer...

- Vassilissa vous en prie, père. Elle dit : «Je suis reconnaissante, très-reconnaissante;» mais en voilà assez, Votre Honneur.»

Prascovia salua Pétouchkof presque jusqu'à terre.

«Vous dites que Vassilissa me prie de ne plus revenir?

² Petite bière.

- Positivement, père, Votre Honneur. Lorsque vous avez daigné me dire tout à l'heure que vous ne vouliez plus revenir, cela m'a bien réjoui; je me disais: «Grâce à Dieu, tout va à souhait.» Jamais je n'aurais osé vous en parler... Faites-nous cette grâce, père!»

Pétouchkof pâlit et rougit presque au même instant. Prascovia Ivanovna continuait toujours ses révérences.

«C'est bien, répondit brusquement Ivan Afanaciévitch; adieu.»

Il se détourna vivement et mit sa casquette.

«Et la petite note, père?...

- Envoyez-la-moi.»

Pétouchkof sortit de la boulangerie d'un pas ferme, et sans regarder en arrière.

X

Quinze jours se passèrent. Pétouchkof fit d'abord le brave; il sortait, rendait visite à ses camarades, à l'exception de Boublitsine, bien entendu; mais, malgré les louanges exagérées que lui donnait Onicime, l'ennui et la jalousie faillirent lui faire perdre l'esprit. Il n'avait d'autre consolation que de parler de Vassilissa avec Onicime. C'était toujours lui qui engageait la conversation; Onicime ne lui répondait que de mauvaise grâce.

-C'est pourtant une chose bien étrange, disait Pétouchkof, couché sur son *divan*, pendant qu'Onicime se tenait, suivant son habitude, appuyé contre la porte, les bras croisés derrière le dos. Qu'est-ce qui a pu m'attacher à cette fille? Il semble qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Il est vrai qu'on ne peut lui refuser la bonté; c'est positif.

- Bonne ? allons donc ! disait Onicime avec indignation.

- Non, Onicime, continuait Pétouchkof; il faut dire la vérité. C'est maintenant une affaire terminée; je n'y tiens plus maintenant; mais ce qui est juste est juste. Tu ne la connais pas. Elle est vraiment bonne. Jamais elle ne laisse passer un mendiant

san lui donner au moins une croûte de pain. Et puis, elle est gaie ; il ne faut pas non plus lui refuser cela.

- Peut-on dire une chose pareille ! Ou avez-vous pris qu'elle était gaie ?

- Je le répète... ; tu ne la connais pas. Elle est aussi très désintéressée. C'est positif. Est-ce que je lui ai jamais... ti sais bien toi-même que je ne lui ai rien donné.

- C'est pour cela qu'elle vous a planté là.

- Non, ce n'est pas pour cela, répondit Petouchkof avec un soupir.

- Vous en tenez encore à présent, dit Onicime d'un ton ironique. vous seriez prêt à recommencer.

- Ce que tu dis là est pour le coup tout à fait faux. Il paraît que tu ne me connais pas non plus, frère. On m'a chassé, et tu crois que j'irais leur faire mes très-humbles excuses ! Non ; tu n'y es pas. Non, je te prie de croire que c'est une affaire finie, et bien finie.

- Dieu veuille ! Dieu veuille !

- Pourquoi ne lui rendrais-je pas justice en définitive ? Si j'allais dire, par exemple, qu'elle n'est pas jolie, qui est-ce qui le croirait ?

- Vous êtes bon de la trouver jolie !

- Voyons, nomme-moi une femme..., cite-moi une femme plus jolie qu'elle ?...

- Si c'est comme ça, allez la revoir.

- Bon ! Est-ce pour cela que je le dis ? Comprends moi donc...

- Oh ! je vous comprends,» répondit Onicime avec un profond soupir.

Une autre semaine s'écoula. Petouchkof avait cessé de causer avec son Onicime, il ne sortait plus. Il restait couché sur le divan depuis le matin jusqu'au soir, les bras passés derrière la tête. Il pâlisait et maigrissait à vue d'oeil, mangeait vite et sans appétit, et ne fumait plus. Onicime ne pouvait s'empêcher de branler la tête en le regardant.

«Vous n'êtes pas bien portant, Ivan Afanaciévitch, lui dit-il plus d'une fois.

- Non, ce n'est rien,» lui répondait invariablement Petouchkof.

Enfin, un beau jour (Onicime était sotri), il se leva, fouilla dans sa commode, mit son manteau, quoiqu'il fit passablement chaud, sortit avec précaution dans la rue, et rentra au bout d'un quart d'heure... Il avait quelque chose de caché sous son manteau.

Onicime n'était pas encore revenu. Il avait passé toute la matinée dans son petit cabinet, s'entretenant avec lui-même, grognant et jurant à demi-voix, et décidé à aller voir Vassilissa.

Il l'avait trouvée dans la boulangerie. Prascovia Ivanovna dormait sur le four, avec des ronflements sonores et cadencés.

«Ah! bonjour, Onicime Sergueitch, dit Vassilissa en souriant; il y a longtemos qu'on ne vous a vu.

- Bonjour...

- Comme vous paraissez triste ? Voulez-vous du thé ?

- Il ne s'agit pas de moi. répondit Onicime avec humeur.

- Comment ça ?

- Comment ça ! Est-ce que tu ne me comprends pas ? Comment ça ! Qu'as-tu fait de mon maître ? Voilà ce que je voudrais savoir.

- Ce que j'en ai fait ?

- Qu'en as-tu fait ?... Va un peu le voir. Il est bien près de tomber malade, et peut-être de mourir entièrement.

- En quoi suis-je coupable, Onicime Sergueitch ?

- En quoi ? Dieu le sait. Tu vois qu'il t'aime à la folie ; et tu le traites comme un des autres, Dieu me pardonne ! «Ne viens plus, lui as-tu dit; tu m'ennuies.» Je veux bien qu'il ne soit pas grand'chose; mais enfin, c'est un maître. Tu sais qu'il est gentilhomme, comprends-tu ça?

- Il est si ennuyeux, Onicime Sergueitch.

- Ennuyeux ! Il ne t'en faut donc que d'amusants ?

- Avec ça qu'il est colère, jaloux comme tout.

- Ah ! reine Milikitrisa d'Astrakan que tu es ! Il t'a manqué de respect !

Voyez-vous ça !

- Mais vous-même, Onicime Serguéitch, il me semble que vous vous êtes fâché contre lui, parce qu'il venait toujours me voir.

- Eh bien ! il aurait donc fallu lui faire des compliments ? qu'en penses-tu ?

- Si c'est comme ça, pourquoi m'en voulez-vous maintenant ? Il a cessé de venir ; voilà tout.

- Mais puisqu'il en tient toujours, te dis-je !

- Que voulez-vous que j'y fasse, Onicime Serguéitch ?

- Ce que je veux ? Viens un peu avec moi chez lui.

- Dieu m'en préserve ! Aller le voir ! Quelle idée avez-vous là !

- Quelle idée ! c'est qu'il dit que tu es bonne ; nous saurons bien si c'est vrai.

- Quel bien voulez-vous que je lui fasse ?

- Quant à ça, c'est mon affaire. Il paraît que la chose est sérieuse, puisque je suis venu te voir ; il paraît que je n'ai pas trouvé d'autre moyen.»

Onicime se tut pendant quelques instants.

«Allons, viens, Vassilissa, je t'en prie, viens.

- Mais je ne me soucie plus, Onicime Serguéitch, de le voir comme auparavant...

- C'est inutile ; est-ce qu'on t'en parle ? Dis-lui seulement deux ou trois mots. Tu lui diras : Pourquoi, monsieur, vous chagriner comme ça ?... Il ne faut pas se chagriner. Voilà tout !

- En vérité, Onicime Serguéitch, je...

- Faut-il donc que je me prosterne devant toi ? Tiens, voilà un salut... tiens, en voilà un autre...

- Vraiment, je...

- Diable de femme ! elle ne se laisse même pas prendre par les bonnes façons qu'on a avec elle !»

Vassilissa finit par consentir ; elle jeta un mouchoir sur sa tête, et suivit Onicime.

«Attends-moi ici, dans l'antichambre, lui dit-il, lorsqu'ils furent dans le logement de Petouchfouf, je vais aller t'annoncer au maître...»

Il entra dans la chambre d'Ivan Afanaciévitch. Ce-lui-ci se tenait au milieu de la place, les deux mains dans ses poches, les jambes écartées outre mesure, et il se balançait un peu en avant et en arrière. Il avait le teint enflammé, les yeux brillants.

« Bonjour! Onicime, balbutia-t-il d'un ton amical, et en prononçant les consonnes d'une manière fort peu intelligible; bonjour, frère. Eh bien! frère, j'ai profité de ton absence... Ah! ah! ah!» Il se mit à rire et chancela en avant. «Me voilà bien... ah! ah! ah!... Au reste, ajouta-t-il en essayant de prendre un air sérieux, ce n'est rien.» Il tenta de lever la jambe, et faillit tomber; mais il ajouta aussitôt d'une voix de basse: «Hola! quelqu'un; qu'on me donne une pipe!»

Onicime regarda son maître avec stupéfaction et jeta les yeux autour de lui... Il aperçut sur la fenêtre une bouteille vide, d'une couleur foncée et avec cette inscription : Rhum de la Jamaïque, première qualité.

«Oui! oui! j'ai bu un coup de trop, frère, et voilà tout, dit Pétouchkof; j'ai joliment flûté ça. J'ai bu un copu de trop, et voilà tout. Et toi, où as-tu été? Raconte-moi ça... Pas de fausse honte... Parle. Tu racontes bien.

- Ivan Afanaciévitch, miséricorde ! s'écria Onicime avec désespoir !

- Fort bien, je ne demande pas mieux ; je vous pardonne et vous prends tous en miséricorde, reprit Pétouchkof avec un geste majestueux. Je te pardonne... toi et Vassilissa..., tout le monde, tout le monde. J'ai bu un coup de trop, frère ; un fameux coup... Qui est la ? s'écria-t-il tout à coup en montrant la porte de l'antichambre ; qui est là ?

- Personne, répondit précipitamment Onicime ; qui voulez-vous que soit ? Où allez-vous ?

- Non, non, répéta Pétouchkof en repoussant Onicime. Laisse-moi, j'ai vu. Ne me soutiens pas le contraire... J'ai vu la-bas ; laisse-moi... Valississa !» cria-t-il tout à coup.

Pétouchkof pâlit.

«Eh bien! pourquoi n'entres-tu pas? dit-il un instant après. Entre, Vassilissa, entre. Je suis très-content de te voir, Vassilissa.»

Vassilissa échangea un coup d'oeil avec Onicime et entra timidement dans la chambre. Pétouchkof s'approcha d'elle... Il avait la respiration oppressée. Onicime veillait sur tous ses mouvements. Vassilissa les regardait l'un et l'autre successivement et d'un air craintif.

«Assieds-toi, Vassilissa, lui dit Ivan Afanaciévitch. Je te remercie d'être venue. Excuse-moi si je suis... comment dirai-je bien cela?... dans un état peu présentable. Je ne pouvais pas prévoir, je ne devais pas m'attendre du tout, tu en conviendras toi-même.. Assieds-toi donc là, sur le divan, par exemple... Il me semble que je m'exprime convenablement.»

Vassilissa s'assit.

«Eh bien! bonjour, continua Pétouchkof. Comment va la santé? Qu'as-tu fait de bon?

- Je me porte bien, grâce a Dieu, Ivan Afanaciévitch. Et vous ?

- Comme tu vois. Je suis tué. Et par qui ? c'est toi qui m'as tué, Vassilissa. Mais je ne t'en veux pas. Seulement, je suis tué. Demande-lui si tu veux (il montre Onicime). Je suis ivre, cela ne m'empêche pas d'être tué. Je suis ivre parce que je suis tué.

- Que Dieu vous en préserve, Ivan Afanaciévitch !

- Oui, Vassilissa, je te le répète, crois-moi, je ne t'ai jamais trompée. Et ta tante, comment vâ-t-elle ?

- Elle va bien, Ivan Afanaciévitch. Nous vous remercions bien.»

Pétouchkof commençait à chanceler de plus en plus.

«C'est vous qui n'êtes pas bien portant aujourd'hui, Ivan Afanaciévitch. Vous devriez vous coucher.

- Non, je vais bien, Vassilissa ; non, ne dis pas que je suis malade ; tu devrais dire plutôt que je me suis livré à la débauche, que je suis tombé dans la crapule. C'est vrai, je ne te contredirais pas.»

Ivan Afanaciévitch allait tomber à la renverse. Onicime courut à lui et le soutint.

«A qui la faute? Veux-tu que je te l'apprenne? C'est moi qui suis le coupable; moi le premier. Sais tu ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû te dire: Vassilissa, je t'aime. C'est fort bien; veux-tu que je t'épouse? veux-tu? Il est vrai que tu es de la bourgeoisie. Soit; mais cela n'y fait rien. Cela se voit tous les jours. J'avais dans le temps un ami, qui a fait un mariage pareil. Il a pris une Finnoise; il l'a prise et il l'a épousée. Tu aurais été heureuse avec moi. Je suis un brave homme. Oui; ne fais pas attention à mon état, mais vois le fond de mon coeur. Demande plutôt à ce domestique. C'est donc bien moi qui ai fait la faute. Mais je n'en suis pas moins tuez, maintenant.»

L'assistance d'Onicime devenait de plus en plus nécessaire à Ivan Afanaciévitch pour se soutenir.

«Cependant tu as de grands reproches à te faire. Je t'aimais; je te respectais; que dirai-je de plus? Je serais prêt encore maintenant à te conduire à l'église. Veux-tu? Si tu y consentais, nous pourrions tout de suite... Mais tu m'as porté un coup... un rude coup. Si tu m'avais du moins congédié toi-même, au lieu d'en charger ta grosse tante. Je n'avais pas d'autre bonheur, tu étais ma seule joie. Je suis sans famille, un orphelin! Qui pourra maintenant me donner une caresse? Qui me fera entendre une bonne parole? Je suis seul au monde, et nu comme un ver. Demande le plutôt à ce... (Il se mit à pleurer.) – Vassilissa, écoute-moi; je veux te dire quelque chose; permets moi d'aller te voir, comme je le faisais dans le temps. Ne crains rien... je serai tranquille. Tu pourras fréquenter qui bon te semble; je ne soufflerai mot; je ne m'opposerai à rien absolument. Est-ce accordé? Veux-tu que je me mette à tes genoux? (Il avait déjà fléchi les genoux, mais Onicime le retint). Laisse moi, s'écria-t-il, cela ne te regarde pas! Il s'agit du bonheur de ma vie, de toute ma vie, et tu m'empêches...»

Vassilissa ne savait que répondre.

«Tu ne veux pas... Eh bien, soit! que Dieu t'accompagne. Alors je te fais mes adieux! Adieu, Vassilissa je te souhaite toutes les prospérités possibles... et moi... et moi....»

Pétouchkof fondit en larmes. Onicime, qui avait beaucoup de peine à le soutenir, tordit la bouche comme un enfant qu'on chagrine et finit par se mettre à pleurer aussi. Vassilissa en fit autant.

Une dizaine d'années après ces événements, on rencontrait dans les rues de la ville de B... un petit homme maigre, au nez rouge, portant une vieille capote verte, avec un collet de peluche grasseux. Il occupait un cabinet dans la boulangerie dont nous venons de parler. Prascovia Ivanovna n'était plus de ce monde. Sa nièce, Vassilissa, l'avait remplacée avec son mari, un bourgeois de la ville. L'homme à la capote verte n'avait qu'une faiblesse, il aimait à boire un petit verre ; mais il vivait du reste très-paisiblement. Les lecteurs ont sans doute déjà reconnu en lui Ivan Afanacievitch

Une étrange histoire

Il y a environ quinze ans, nous raconta M.C..., les devoirs de mon service m'amènèrent au chef-lieu du gouvernement de T..., où je dus passer quelques jours. Je trouvai un assez bon hôtel, établi depuis six mois seulement par un tailleur juif qui s'était enrichi. A ce que j'ai ouï dire, la maison ne garda pas longtemps sa renommée, accident assez ordinaire chez nous. Alors elle était dans tout son éclat. Les meubles neufs jouaient et craquaient la nuit; on eut dit un feu de file. Les draps, les nappes, les serviettes sentaient le savon; les planchers peints avaient une forte odeur d'huile de chanvre, ce qui, au dire du premier garçon, gaillard, fort deluré, mais médiocrement propre, était souverain contre propagation des insectes. Le garçon susdit, jadis valet de chambre du prince G..., se distinguait par l'aisance de ses manières et par son assurance. Portant un habit qui n'avait pas été fait pour lui, des souliers éculés, une serviette sous le bras, la face bourgeonnée, les mains en sueur, il gesticulait sans cesse en lançant quelques petites phrases insinuantes. Tout d'abord il m'avait honoré de sa protection, me jugeant capable d'apprécier son mérite et son usage du monde. Quant à son avenir, c'était une âme désenchantée.

«Voulez-vous savoir notre position, me dit-il un jour, représentez-vous des harengs pendus au séchoir.»

Il s'appelait Ardalion.

J'eus des visites à faire aux fonctionnaires de la ville. Grâce à Ardalion, je me procurai une calèche et un valet de pied, dépourvus de fraîcheur et fort rapés l'un et l'autre; en revanche, le valet avait une livrée et la voiture des armoiries. Après mes visites officielles, j'allai chez un ancien ami de mon père, établi à T... depuis longtemps. Il y avait bien vingt ans que je l'avais vu. Il s'était marié, il était devenu père de famille, veuf et fort riche par suite de spéculations sur les fermages; c'est-à-dire qu'il prêtait aux fermiers sur hypothèque et à gros intérêt. «Courir des risques, c'est, dit-on, faire acte de noblesse.¹» Au fond, il ne courait guère de risques. Tandis que j'étais à causer avec lui, une jeune personne d'environ seize ans, petite, fluette,

¹ Proverbe russe.

entra dans le salon, s'avancant sur la pointe du pied, d'un pas léger, mais un peu incertain.

«C'est ma fille ainée, me dit mon ami, ma Sophie, que je vous présente. Elle a remplacé ma pauvre femme; elle tient la maison et a soin de ses frères et de ses soeurs.»

En la saluant, tandis qu'elle se glissait sur une chaise, je pensais à part moi qu'elle ne ressemblait guère à une maîtresse de maison et à une institutrice. Elle avait une figure tout enfantine, rondelette, avec de petits traits agréables, mais immobiles. Ses yeux bleus, sous des sourcils singulièrement dessinés et également immobiles, regardaient avec une attention étonnée, comme s'ils apercevaient quelque chose d'inattendu. Sa bouche un peu gonflée, - la lèvre supérieure légèrement saillante, - ne souriait pas, et semblait n'avoir jamais souri. Deux tâches roses allongées se dessinaient sur ses joues délicates roses allongées se dessinaient sur ses joues délicates. De chaque côté de son front étroit pendaient en boucles des cheveux blonds et fins. Sa poitrine se soulevait à peine, et ses bras se pressaient contre sa taille avec une sorte de gaucherie rigide. Elle avait une robe tombant sans plis, comme celle d'un enfant, jusqu'à ses pieds. L'impression que produisait cette jeune personne n'était pas celle d'une nature malade: c'était une énigme à deviner. Pour moi, je ne la pris pas pour une petite provinciale timide, mais je crus trouver un caractère singulier, que je ne m'expliquais pas, qui ne m'inspirait ni attraction ni repulsion; seulement il me sembla que jamais je n'avais rencontré une âme plus sincère. Une sorte de pitié, - oui, de pitié, s'éveillait en moi en pensant à cette jeune vie déjà si sérieuse et si préoccupée, Dieu sait pourquoi!

Elle n'est pas de ce monde, me disais-je, bien que dans l'expression de sa figure il n'y eut rien d'idéal. Evidemment M^{lle} Sophie entrait au salon uniquement pour remplir son devoir de maîtresse de maison que son père lui avait attribué.

Il se mit à me parler de la vie qu'on menait à T..., de ses plaisirs et de ses agréments.

«On y est bien tranquille, le gouverneur est un peu mélancolique, le maréchal de la noblesse... est garçon. Mais, à ce propos, après-demain il y a grand bal à

l'assemblée de la noblesse. Je vous engage à y aller. Vous y verrez de jolies personnes et aussi toutes nos intelligences.»

Mon ami, en homme qui avait étudié à l'université, aimait à se servir d'expressions savantes. Il les employait avec une apparence d'ironie sous laquelle on sentait son respect pour le style élevé. D'ailleurs il est reconnu que les spéculations sur les fermages développent chez les gens, avec la solidité des principes, une tendance à la profondeur.

«Oserai-je vous demander si vous irez à ce bal? dis-je à M^{lle} Sophie. — J'avais envie d'entendre le son de sa voix.

- Papa doit y aller, et je l'accompagne. — Sa voix était douce, lente, elle prononçait les mots comme si elle n'avait pas complètement compris.

- Permettez-moi, en ce cas, de vous inviter pour la première contredanse.»

Elle baissa la tête en signe de consentement, mais sans m'honorer du moindre sourire.

Je pris congé un instant après, et je me rappelle l'effet singulier que produisit sur moi son regard attentif qui me suivait; involontairement je me retournai, croyant qu'il y avait derrière moi quelqu'un ou quelque chose.

De retour à l'hôtel, où m'attendaient l'éternelle julienne, les cotelettes aux petits pois et une gelinotte brûlée, je dînai à la hâte; puis, assis sur mon divan, je m'abandonnai à mes pensées. Elles roulaient sur l'enigmatique Sophie, mais Ardalion, qui venait de desservir, s'expliqua ma méditation à sa manière.

«Il y a bien peu de distractions dans cette ville-ci pour messieurs les voyageurs qui passent, dit-il de son air dégagé en époussetant le dos des fauteuils avec une serviette sale, occupation, comme on sait, ordinaire aux domestiques civilisés; - bien peu de distractions!» Et une grosse pendule à cadran blanc et chiffres violets semblait appuyer de son tintement monotone la remarque d'Ardalion et répéter après lui: «Bien peu! bien peu!» - Pas de concerts, continua-t-il, pas de théâtres... (il avait voyagé hors de son pays avec son maître, peut être même était-il allé à Paris; c'est pourquoi il savait bien qu'il ne faut pas dire kiatr comme les paysans).

- Pas de bals ni de soirées parmi messieurs de la noblesse; rien de tout cela! (Il s'arrêta un moment, probablement pour me permettre de remarquer la pureté de son style). On ne se voit guère, chacun reste sur son perchoir comme une chouette. Ou peuvent aller messieurs les voyageurs? Nulle part en vérité.»

Ardalion me jeta un regard oblique.

«Ecoutez donc, reprit-il après un instant de silence, si par hasard vous vous trouviez en disposition de...» Il me regarda de nouveau en dessous, mais probablement il ne me trouva pas dans la disposition qu'il fallait. Le garçon civilisé se dirigea vers la porte, fit mine de réfléchir, puis, se retournant, s'approcha de moi, et penché à mon oreille, il me dit avec un sourire enjoué:

«Si Monsieur voulait voir des morts?»

Je le regardai avec stupefaction.

«Oui, continua-t-il à voix basse, nous avons ici un homme pour cela. Mon Dieu, c'est un pauvre garçon, sans lettres, et pourtant il fait des choses extraordinaires, Si par exemple on se présente à lui et qu'on veuille n'importe quel defunt de sa connaissance, il vous montre tel quel.

- Comment cela?

- C'est son secret, car bien que ce soit un homme qui n'a pas étudié, à vrai dire, qui ne sait pas dire deux..., il a la foi, il est fort dans les choses divines. Les marchands ont beaucoup de respect pour lui.

- Est-ce qu'on sait cela dans la ville?

- Ceux qui en ont besoin le savent; mais pourtant, à cause de la police, on y fait des façons, parce que, on a beau faire, ces choses-la sont défendues, et pour les gens du peuple... cela fait du scandale. Les gens du peuple, la populace... vous savez, cela finit toujours par des coups de poing.

- Vous a-t-il fait voir des morts?» demandai-je à Ardalion. Je n'aurais pas osé tutoyer un mortel aussi distingué.

Ardalion baissa la tête.

«Oui, il m'en a fait voir. Il m'a montré mon père comme s'il eut été vivant.»

Je le regardai avec attention. Il souriait et jouait de sa serviette; il soutenait mon regard avec condescendance, mais aussi avec fermeté.

«Cela est fort curieux, m'écriai-je enfin. Est-ce que je pourrais faire la connaissance de cet homme-la?

- Ce n'est pas impossible, mais il faut d'abord commencer par la maman. C'est une vieille femme respectable, qui vend des pommes en plein air sur le pont. Si vous voulez, je la prévenirai.

- Oui, faites-moi ce plaisir.»

Ardalion toussa dans sa main.

«Et vous lui ferez un petit cadeau, peu de chose s'entend, car c'est à elle, à la vieille qu'il faut donner. Moi, de mon côté, je lui expliquerai qu'elle n'a rien à craindre, que vous êtes un voyageur comme il faut, qui comprend bien que tout cela doit rester secret, et qui ne voudrait pas qu'il lui arrivât de la peine.»

Ardalion prit son plateau d'une main et, imprimant un balancement gracieux à la fois à son epine dorsale et à ce plateau qu'il tenait en équilibre sur le bout de ses doigts, il se dirigea vers la porte.

«Ainsi je puis compter sur vous? lui dis-je comme il se retirait.

- Ayez bon espoir, répondit-il d'une voix assurée. Voyons d'abord la vieille, et nous vous rendrons réponse bien exactement.»

Je vous fais grâce de toutes les pensées que me suggéra la révélation du garçon d'hôtel, j'avouerai seulement que j'attendis la réponse avec impatience. Le soir, assez tard, Ardalion, tout penaud, m'annonça qu'il n'avait pas trouvé la vieille. Pour l'encourager, je lui donnai un assignat de trois roubles. Aussi, le matin suivant, il entra dans ma chambre le sourire aux lèvres. La vieille consentait à me voir.

«Eh! petit, cria-t-il dans le corridor. Eh! jeune artisan, arrive ici!»

Sur quoi entra un enfant de six ans, tout barbouillé de suie comme un chat de mars, la tête tondue, sans cheveux même par places, portant une robe de chambre à raies, toute déchirée, et des galoches à ses pieds nus.

«Vois-tu, tu vas mener monsieur où tu sais, dit Ardalion en se tournant vers le gamin et me désignant à lui. Quand vous serez arrivé, Monsieur, vous n'avez qu'à demander Mastridia Karpovna.»

L'enfant fit entendre un petit grognement, et nous nous mîmes en route.

Après avoir marché assez longtemps par les rues non pavées de la ville de T..., nous nous trouvâmes dans une des plus désertes et des plus misérables. Mon guide s'arrêta devant une vieille maisonnette de bois à deux étages, et, s'essuyant le nez à la manche de sa souquenille, il me dit :

«C'est ici, la porte à droite.»

Je montai le perron, j'entrai dans un petit vestibule, et je frappai à droite. Une porte basse avec des ferrures rouillées s'entr'ouvrit, et je me trouvai en présence d'une grosse vieille femme en casaque de couleur cannelle doublée de peau de lièvre, un mouchoir de couleur sur la tête.

«Mastridia Karpovna? Lui demandai-je.- A vous servir, monsieur, répondit-elle d'une voix glapissante. Soyez le bienvenu. Monsieur veut-il s'asseoir?»

La chambre était encombrée d'une quantité de vieilles nippes, de chiffons, de coussins, de matelas, de sacs, si bien qu'il n'était pas facile de s'y retourner. Le soleil y entrait à peine par deux petites fenêtres couvertes de poussière. Dans un coin, derrière un tas de paniers posés les uns sur les autres, sortait un bruit étrange. On soupirait, on geignait. Était-ce un enfant malade, un petit chien?... Je m'assis, et la vieille se tint debout devant moi. Son visage était jaune, presque diaphane et comme de cire. Ses lèvres avaient disparu, et l'on ne reconnaissait sa bouche, perdue au milieu de ses rides, qu'à une fente transversale. Quoique profondément enfoncés sous son front proéminent, ses yeux gris, bordés de rouge, brillaient comme des charbons. Son nez, plus pointu qu'une alène, flairait l'air sournoisement.

«Oh! oh! ma commère, me dis-je à moi-même, tu es une fine mouche, toi!»

Elle sentait légèrement l'eau-de-vie.

Je lui exposai le but de ma visite, dont elle devait d'ailleurs être déjà prévenue. Elle m'écouta en clignotant des yeux, tandis que son nez semblait s'allonger comme le bec d'une poule qui va picorer un grain de blé.

«Oui, oui, me dit-elle enfin, Ardalion Matveitch nous a dit comme cela... que Monsieur aimerait à voir ce que sait faire notre enfant... Seulement c'est que nous craignons...

- Quant à cela, lui dis-je en l'interrompant, vous pouvez être bien tranquille... Je ne suis pas un mouchard.

- Oh! mon petit père, que nous dites-vous là? s'écria la vieille. Qui est-ce qui oserait penser pareille chose d'un monsieur comme vous? Et puis à propos de quoi nous moucharder? Est-ce que nous faisons quelque chose de mal Mon pauvre enfant, Monsieur, n'est pas de ceux qui voudraient faire ce qu'il ne faudrait pas... ni se mêler de vilaines sorcelleries... Ah! Dieu garde, et la très-sainte mère de Dieu! (Ici la vieille se signa trois fois). Dans tout le gouvernement, il n'y en a pas un pour jeuner et prier comme lui, Monsieur. Même c'est pour cela qu'il a obtenu cette grâce-la... Que voulez-vous? ce n'est pas oeuvre de ses mains; cela vient d'en haut, mon doux Monsieur... Oui...

- Eh bien! lui dis-je, c'est affaire conclue. Quand pourrai-je voir votre fils?»

La vieille se remit à clignoter des yeux, et deux fois tira d'une de ses manches son mouchoir de poche pour le remettre dans l'autre manche. «C'est que, Monsieur, nous avons peur...

- Mastridia Karpovna, veuillez prendre ceci», lui dis-je en lui donnant un assignat de dix roubles.

De ses doigts tordus et gonflés, pareils aux serres charnues d'un hibou, la vieille saisit le billet et le fourra dans sa manche; puis, après avoir fait mine de réfléchir, elle se frappa les genoux de ses mains, comme si elle prenait une résolution soudaine.

«Viens-t'en ici ce soir, mon cher Monsieur, me dit-elle, non plus de sa voix ordinaire, mais d'un ton plus grave et plus solennel. Pas dans cette chambreci, mais tu auras la bonté de monter au second. A gauche, il y a une porte, ouvre-la, et tu entreras, mon bon Monsieur, dans une chambre vide, et dans cette chambre tu verras une chaise. Assieds-toi sur cette chaise et attends, et, quoi que tu voies, ne dis pas un mot et ne fais rien. Et ne t'avise pas de causer avec mon fils, parce que... il tombe du

haut mal. Il est facile de l'effrayer... Il tremble, il tremble comme un poulet..., pauvre petit!»

Je regardais Mastridia.

«Vous dites qu'il est tout jeune; mais s'il est votre fils...

«Fils de l'âme. mon petit père, fils de l'âme! J'en ai beaucoup d'orphelins, moi, ajouta-t-elle, faisant un signe de tête dans la direction du coin où j'avais entendu geindre. Helas! seigneur mon Dieu, très-sainte mère de Dieu! Et vous, mon petit père, mon bon Monsieur, je vous en prie, avant de venir, ayez la bonté de penser un petit peu fortement à n'importe qui de vos defunts, parens ou amis, qu'ils puissent avoir le royaume des cieux! Repassez un peu, à part vous, vos defunts, et celui que vous aurez choisi, ayez-le bien dans la tête, tenez-le bien, pour quand mon petit garçon viendra.

- Faudra-t-il dire à votre fils la personne que...?

- Du tout, du tout, mon petit père, pas un mot! Il saura bien découvrir dans vos pensées ce qu'il lui faudra. Seulement, mettez-vous bien dans l'esprit la personne défunte, et puis à votre dîner, buvez un petit peu de vin..., un verre, deux, trois verres. Le vin ne gâte jamais rien.»

La vieille sourit, se lécha les lèvres, et, portant la main devant sa bouche, laissa échapper un soupir.

«Ainsi à sept heures et demie? lui dis-je en me levant.

- Sept heures et demie, mon petit père, Monsieur,» me répondit avec assurance Mastridia Karpovna.

Je rentraï à mon hôtel. Je ne doutais pas qu'on ne me préparât quelque mystification ; mais comment s'y prendrait-on, voilà ce qui excitait ma curiosité. Je n'échangeai que quelques mots avec Ardalion.

«A-t-elle consenti? me demanda-t-il en fronçant le sourcil, et sur ma réponse affirmative, il s'écria: «C'est un ministre que cette vieille!» Selon le conseil du ministre, je me mis à passer en revue les morts de ma connaissance et, après une assez longue méditation, mon choix s'arrêta sur un viellard mort depuis longtemps, un Français qui avait été mon précepteur. Ce n'était pas une attraction particulière pour le personnage qui me le fit choisir; mais c'était une figure originale, n'ayant

aucun rapport avec celles de ce temps-ci, et qu'il était impossible de contrefaire. Il avait une tête énorme, entourée de cheveux touffus, blancs, peignés en arrière, avec d'épais sourcils noirs, un nez crochu et deux verrues lilas au milieu du front. Il portait un habit vert à boutons de métal poli, un gilet rayé à revers droits, un jabot et des manchettes.

«S'il me montre mon vieux Deserre, me disais-je, je conviendrai qu'il est réellement sorcier.»

A dîner, selon le conseil de la vieille, je bus une bouteille de Lafitte, premier choix, au dire d'Ardalion, ayant un fort goût de liège brûlé et laissant au fond du verre un épais précipité de bois de campêche.

Exactement à sept heures et demie je me trouvais devant la maison de l'honorable Mastridia Karpovna. Tous les volets étaient fermés, mais la porte était ouverte. J'entrai dans la maison, je grimpai un escalier branlant, et au second étage, ayant ouvert la porte à gauche, comme la vieille me l'avait recommandé, je me trouvai dans une chambre assez grande, mais démeublée, faiblement éclairée par une chandelle posée sur l'enseuillage de la fenêtre. En face de la porte, contre la muraille, était une chaise de paille. Je mouchai la chandelle, je m'assis sur la chaise et j'attendis.

Les dix premières minutes passèrent assez vite. Dans cette chambre, il n'y avait absolument rien pour attirer l'attention ; mais au moindre petit bruit que j'entendais, je regardais la porte. Le cœur me battait. Après les dix premières minutes, dix autres encore, puis une demi-heure, trois quarts d'heure..., rien ne bougeait. De temps en temps je toussais, afin d'avertir de ma présence. Je commençai à frapper du pied ; l'impatience me gagnait. Être mystifié de cette manière n'était pas mon compte. L'envie me vint de me lever, de prendre la chandelle et de descendre... Je regardai la chandelle dont la mèche allongée s'était recouverte d'un gros champignon, et en tournant mes regards vers la porte je frissonnai involontairement... Un homme debout s'appuyait contre cette même porte. Il était entré si vite et si doucement que je n'avais rien entendu.

Il avait une simple capote bleue ; il était de taille moyenne et assez robuste en apparence. Les mains derrière le dos et avançant la tête, il me regardait fixement. La faible lumière de la chandelle ne me permettait pas de bien distinguer ses traits ; je n'apercevais qu'une masse de cheveux en désordre, retombant sur son front, de grosses lèvres tordues et des yeux presque blancs. J'allais lui adresser la parole quand je me rappelai l'injonction de Mastridia, et je n'ouvris pas la bouche. L'homme me regardait toujours fixement, et moi je le regardais de même, quand, chose étrange, tout d'un coup, je me sentis saisi par un mouvement de peur, et involontairement docile à la leçon qui m'avait été faite, je me mis à penser à mon vieux précepteur. Toujours mon homme était devant la porte, respirant péniblement comme celui qui gravit une montagne ou qui porte un fardeau ; mais ses yeux semblaient s'élargir et se rapprocher de moi, et je me sentais mal à l'aise sous ce regard inflexible, lourd et menaçant. Par moments, ses yeux s'allumaient intérieurement d'un feu sinistre, tel que j'en avais remarqué dans l'oeil d'un levrier prêt à piller un lièvre, et tel qu'un levrier, mon homme s'attachait à suivre mon regard lorsque j'essayais un crochet, c'est-à-dire quand je détournais les yeux.

Je ne saurais dire combien de temps cela dura ; une minute, peut-être un quart d'heure ; lui toujours me regardant fixement, moi toujours plus mal à l'aise, effrayé et pensant à mon Français. Deux ou trois fois j'essayai de me dire : Quelle bêtise, quelle comédie ! Je voulais rire, hausser les épaules... Non, ma volonté s'arrêtait comme figée, je ne trouve pas d'autre terme pour exprimer ce qui se passait en moi. Je me sentais captive, enchaîné. Tout à coup mon homme quitta la porte et fit un pas ou deux vers moi, puis il me sembla qu'il sautait à pieds joints et se rapprochait encore... puis encore, puis encore... Ses yeux menaçants restaient obstinément fixés sur les miens, tandis que ses mains demeuraient croisées derrière son dos et qu'il respirait toujours plus fortement. Ces sauts me semblaient ridicules ; mais ma terreur n'en devenait pas moindre, et en même temps, ce que je ne puis m'expliquer, je me sentais pris de somnolence. Mes paupières se fermaient... Cette figure aux cheveux ébouriffés, aux yeux blanchâtres, parut se dédoubler devant moi... et aussitôt disparut... Je frissonnai. Il était de nouveau entre la porte et moi, et toujours plus près... Puis

encore il disparut... comme dans un brouillard... Un instant après, je le revoyais... Plus rien... Encore, le voilà, et plus près, toujours plus près !... et sa respiration étranglée, devenue une espèce de râlement, tombait sur moi. De nouveau un brouillard confondit tout, et de ce brouillard je vois sortir des cheveux blancs peignés en arrière et la tête de mon vieux précepteur. Oui, voilà ses verrues, ses sourcils noirs, son nez crochu; voilà son habit vert, ses boutons de métal, son gilet rayé et son jabot !... Je poussai un cri, et me levai de ma chaise... Le vieillard avait disparu, et à sa place je voyais l'homme à la redingote bleue. Il se dirigeait en chancelant vers la muraille, s'y appuya de la tête et des deux mains, et râlant comme un cheval qui corne, il s'écria d'une voix sourde :

«Du thé!»

Aussitôt Mastridia, venue je ne sais d'où, courut à lui.

«Vasinka, Vasinka!» lui dit-elle en essuyant précipitamment la sueur qui coulait à flots de son front et de ses cheveux. J'allais m'approcher quand d'une voix déchirante elle s'écria:

«Mon cher Monsieur, mon père chéri, ne le tuez pas! allez-vous en pour l'amour du Christ!»

J'obéis. Elle, se tournant vers son fils :

«Mon père nourricier, ma petite colombe, lui disait-elle pour le calmer, tout de suite. Et vous, mon petit père, allez chez vous prendre aussi une petite tasse de thé.»

Je sortis.

De retour à l'hôtel, je suivis le conseil de Mastridia et me fis apporter du thé. J'étais fatigué, abattu.

«Eh bien, me demanda Ardalion, vous y êtes allé? vous avez vu?

- On m'a montré quelque chose, répondis-je, qui..., je l'avoue, je n'attendais pas.

- C'est un homme d'une grande sagesse, dit Ardalion en posant le samovar...

Les marchands ont pour lui la plus grande considération.»

Dans mon lit, en méditant mon aventure, je m'imaginai y trouver une explication. Cet homme sans doute possédait un pouvoir magnétique considérable. Agissant sur mes nerfs par des moyens à moi inconnus, il avait reveillé l'image de mon précepteur d'une manière si vive et si précise que j'avais cru qu'elle s'offrait à moi, que je l'avais devant les yeux... La science connaît ces metastases, ces dépalacements de sensations. Fort bien; mais la force qui produit de pareils effets demeure toujours un mystère inexplicable. «J'ai beau faire, pensai-je, j'ai vu de mes yeux mon vieux précepteur qui est mort.»

Le lendemain était le jour du bal à l'assemblée de la noblesse. Le père de Sophie passa chez moi, et me rappela l'invitation que j'avais faite à sa fille. A dix heures du soir, j'étais à mon poste avec elle au milieu d'une salle bien éclairée, dansant des contredanses françaises au grondement terrible d'une musique militaire. Il y avait énormément de monde, beaucoup de dames, et d'assez jolies femmes; mais la palme entre toutes appartenait à ma compagne, bien qu'il y eut dans sa physionomie quelque chose de bizarre. Je remarquai que ses paupières ne s'abaissaient que très rarement, et que l'expression de franchise de ses yeux rachetait à peine ce qu'ils avaient d'étrange; mais elle était bien faite, et tous ses mouvements étaient gracieux, quelque timides. Lorsqu'en valsant sa taille se cambrait et qu'elle penchait son col délicat sur son épaule droite, comme pour s'éloigner de son cavalier, on n'aurait pu imaginer rien de plus jeune et de plus chaste. Elle était tout en blanc, avec une croix de turquoises attachée par un ruban noir.

Je l'invitai pour la mazurka et j'essayai de causer avec elle, mais elle me répondait par monosyllabes et comme à regret; en revanche, elle écoutait avec attention et ses traits exprimaient cet étonnement pensif qui m'avait intrigué la première fois que je l'avais vue. Pas l'ombre de coquetterie dans toute sa personne. jamais un sourire, et ces yeux fixes imperturbablement sur ceux de son interlocuteur, - ces yeux qui, dans ce moment même, semblaient voir autre chose que ce que tout le monde voyait... Etrange créature! A la fin, ne sachant comment l'intéresser, l'idée me vint de lui raconter mon aventure de la veille.

Elle m'écouta avec une curiosité évidente ; mais, contre mon attente, elle ne montra aucune surprise à mon récit, et me demanda seulement si l'homme ne se nommait pas Vassili. Je me rappelai que la vieille l'avait appelé devant moi Vasinka. «Oui, répondis-je, il s'appelle Vassili; le connaissiez-vous?

- Il y a ici un saint homme nommé Vassili, dit-elle. Je pensais que ce devait être lui.

- La sainteté n'a rien à voir ici, répliquai-je, c'est un effet de magnétisme, un fait intéressant pour les docteurs et les naturalistes.»

J'essayai de lui exposer ce que c'est que cette force particulière qu'on appelle le magnétisme, au moyen de laquelle la volonté d'un individu est soumise à celle d'un autre individu, etc. ; mais, à dire la vérité, mes arguments un peu confus ne parurent faire aucune impression sur elle. Sophie m'écoutait, laissant tomber sur ses genoux ses mains croisées, qui tenaient un éventail. Elle était absolument immobile, aucun de ses doigts ne remuait, et il me semblait que toutes mes paroles rejaillissaient loin d'elle comme si elles fussent tombées sur une statue de marbre. Elle les comprenait, mais il était évident qu'elle avait ses idées à elle, bien arrêtées et inébranlables.

«Vous n'admettez pourtant pas les miracles? m'écriai-je à la fin.

«Assurément je les admet, répondit-elle tranquillement. Comment ne pas admettre les miracles? Est-ce que l'Evangile ne nous dit pas qu'avec de la foi, autant qu'un grain de sénévé, on peut remuer les montagnes? Qu'on ait de la foi, et on fera des miracles.

- Il faut qu'il y ait peu de foi dans ce temps-ci, répondis-je, car on n'entend pas parler de miracles.

- Il y en a pourtant, vous même en avez vu. Non, la foi n'a pas disparu aujourd'hui, mais le commencement de la foi...

- Le commencement de la sagesse, interrompis-je, c'est la crainte de Dieu.

- Le commencement de la foi, continua-t-elle sans se troubler, c'est l'abnégation, l'humilité...

- L'humilité aussi ? lui demandai-je.

- Oui, l'humilité ! L'orgueil, l'arrogance, la présomption, voilà ce qu'il faut détruire, ce qu'il faut déraciner. Vous parliez tout à l'heure de la volonté..., il faut aussi qu'elle soit brisée.»

J'enveloppais de mon regard toute la figure de cette jeune fille qui prêchait ainsi. «La petite ne badine pas, me disais-je a moi-même. Je regardai nos voisins de la mazurka: ils m'observaient, et il me sembla que mon étonnement les amusait. Un d'eux me souriait d'un air sympathique, et semblait me dire: «Eh bien! n'avons nous pas notre demoiselle phénomène? Nous la connaissons, allez.»

«Et vous, Mademoiselle, repris-je, avez-vous essayé de briser votre volonté?

- Chacun est tenu de faire ce qui lui paraît la vérité, répondit-elle d'un ton un peu dogmatique.

- Permettez-moi de vous demander, repris-je après un moment de silence, si vous croyez possible d'évoquer les morts ?»

Sophie secoua doucement la tête.

«Il n'y a pas de morts!

- Comment, il n'y en a pas ?

- Il n'y a pas d'âmes mortes. Elles sont immortelles et peuvent toujours paraître, si elles veulent. Elles sont sans cesse autour de nous.

- Comment? Supposez-vous, par exemple, qu'à côté de ce major de garnison au nez rouge il peut se trouver une âme immortelle ?

- Pourquoi pas ? La lumière du soleil éclaire bien son nez, et la lumière du soleil, de même que toute lumière, vient de Dieu. Et-que signifient les apparences ? Pour celui qui est pur, il n'y a rien d'impur. Seulement il faut trouver un maître, trouver un guide.

- Permettez, permettez, dis-je, non sans un peu de méchanceté ; vous voulez un guide... Votre confesseur, à quoi vous sert-il donc ?»

Sophie me regarda froidement.

«Je craîs que vous ne veuillez vous amuser à mes dépens. Mon confesseur me diit ce que je dois faire, et moi, j'ai besoin d'un guide qui me montre lui-même, par son exemple, comment on se sacrifie.»

Elle leva les yeux au plafond. Ce visage^{de} jeune fille, avec cette expression de rêverie immobile, d'extase profonde et continuelle, me rappelait les madones de Raphaël..., pas celles de sa dernière manière, qui ont toutes mes préférences.

«J'ai lu quelque part, continua-t-elle sans se tourner vers moi et presque sans remuer les lèvres, qu'un grand seigneur voulut être enterré sous le seuil d'une église, afin que tous ceux qui entreraient le foulassent aux pieds... Voilà ce qu'il faut faire de son vivant...»

Boum! boum! tararara! Les instruments de cuivre retentirent.

J'avoue que notre conversation au milieu d'un bal était fort excentrique. Involontairement elle éveillait en moi des pensées... d'une nature entièrement opposée à la dévotion. Je profitai d'une invitation faire à ma dame dans une des figures de la mazurka pour laisser tomber notre discussion quasi théologique. Un quart d'heure après, je ramenais M^{lle} Sophie à son père, et le surlendemain je partis. Bientôt l'image de cette jeune personne au visage enfantin, à l'âme impénétrable comme le marbre, s'effaca de ma mémoire.

Deux ans se passèrent, et cette image se reproduisit encore, voici comment. Je causais avec un de mes camarades qui revenait d'une tournée dans la Russie méridionale. Il avait passé quelques jours à T... et me donnait des nouvelles de ce pays.

«A propos, s'écria-t-il, tu connais sans doute V... G... B...

- Parfaitement.

- Et sa fille Sophie, tu la connais aussi ?

- Je l'ai vue deux fois.

- Figure-toi qu'elle a pris la clef des champs.

- Comment cela ?

- Oui. Voilà trois m^{as} qu'elle a disparu et qu'on n'a plus de ses nouvelles. Et le plus drôle, c'est que personne ne peut dire avec qui elle s'est enfuie. Impossible de rien découvrir! Pas le moindre soupçon. Elle avait refusé tous les partis. C'était la modestie, la réserve personnifiée. Voilà mes prudes et mes dévotes ! C'a été un scandale diabolique dans tout le gouvernement de T... Son père est au désespoir... Et

quel besoin avait-elle de se faire enlever ? Son pere aurait fait tout ce qu'elle aurait voulu. Ce qui est surtout incompréhensible, c'est que de tous les lovelaces du gouvernement..., pas un ne manque a l'appel !

- Et on ne l'a pas encore rattrapée ?

- Comme si elle etait tombee à l'eau. Une jolie fille a marier de moins, voilà qui est triste !»

Cette nouvelle me surprit fort ; elle bouleversait toutes les idées que je m'étais faites sur Sophie B... : mais il arrive tant de choses singulières !

Pendant l'automne de cette même année, mon service m'obligea d'aller dans le gouvernement de S..., sur la route de T..., comme on sait. Par un temps pluvieux et froid, les rosses de la poste tiraient à grand'peine mon léger tarantas dans la boue d'une route effondrée. La journée avait été, il m'en souvient, des plus malheureuses. Trois fois nous nous étions embourbés jusqu'au moyeu. Mon cocher, a chaque pas, me jetait dans une ornière, et quand, à force de crier et de jurer, il en était dehors, il retombait aussitôt dans une autre plus profonde, si bien que le soir, arrivant harassé au relais, je résolus de passer la nuit dans la maison de poste. On me conduisit dans une chambre où je trouvai un vieux divan de bois, un parquet tout de travers, une tenture en papier toute déchirée. Cela sentait le quas, la vieille natte, l'oignon et même la térébenthine. Les mouches s'y ébattaient en immenses essaims ; pourtant on y était à l'abri de la pluie, qui pour lors tombait à seaux. Je dis qu'on m'apportat un samovar, et, assis sur le divan, je m'abandonnai à ces pensées, couleur... non de rose, familières à tous ceux qui voyagent en Russie. Elles furent interrompues par un grand bruit dans la salle commune, dont ma chambre n'était séparée que par une mince cloison. C'était un grincement aigu de ferrailles, semblable au frottement d'une chaîne, mais il était dominé par une rude voix d'homme criant à tue-tête :

«Dieu benisse tous les habitants de ce logis! Dieu benisse! Dieu benisse! Amen! amen! Arrière, Satan!»

La voix trainait la dernière syllabe de chaque mot d'une façon presque sauvage ; puis j'entendis un profond soupir et comme un corps très-pesant qui tombait sur un banc en faisant résonner la chaîne.

«Akoulina! Servante de Dieu, viens-t'en, reprit la voix. Regarde: misère et bénédiction! Ha, ha, ha! Pouah! Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu! (On eût dit un diacre au chœur.) Seigneur Dieu, souverain de mon cœur! pardonne à mes méfaits. Oh! oh! oh! Pouah! Fi! et benis cette maison à la septième heure!»

«Qu'est-ce que cela ? demandai-je à l'hôtesse, qui m'apportait le samovar.

- Ah ! mon Dieu, répondit-elle en chuchotant avec empressement, c'est un saint homme de Dieu. Il n'y a pas longtemps qu'il est venu dans notre pays! il a bien voulu visiter ma maison, et par un temps comme celui-ci ! Il ruisse!le, mon bon Monsieur, c'est comme une rivière..., et les chafnes qu'il porte..., c'est une pitié !»

«Bénis Dieu, bénis Dieu, recommença la voix. Akoulina, Akoulina-Akoulinouchka, mon amie! où est notre paradis?.... notre doux paradis...? Que cette demeure, pour éternité de ce siècle, reçoive la paix!... Oh! oh! oh!»

La voix murmura quelques mots incompréhensibles, et tout d'un coup, après un baillement prolongé, j'entendis comme un rire enroué. Ce rire semblait involontaire, et chaque fois qu'il s'était produit, l'homme crachait avec indignation¹/ comme s'il se reprochait son accès de gaieté.

«Helas! mon Dieu! dit l'hôtesse en se parlant à elle-même avec beaucoup d'émotion, Etienne, mon mari, n'est pas ici. Voilà un malheur! Il dit des choses si consolantes, et moi, pauvre femme je n'y comprends rien.»

Elle sortit en hâte.

Il y avait une fente à la cloison, j'y mis l'oeil et je vis un «innocent²» assis sur un banc et me tournant le dos. Je ne voyais qu'une tête énorme, grosse comme un chaudron à bière, des cheveux hérissés, un large dos voûté, couvert de haillons rapicécés et ruisselant d'eau. A genoux en face de lui, sur l'aire de terre battue, était une femme d'apparence malade, portant une casaque mouillée, et sur la tête un mouchoir foncé qui lui retombait sur les yeux. Elle faisait tous ses efforts pour ôter

¹ Coutume superstitieuse des Slaves. Après son rire involontaire, le fou crache, comme indigne contre lui-même pour avoir cédé à une insinuation du diable.

² Youroudivui, un fou par dévotion, qui mène une vie errante en s'imposant de rudes penitences. Le peuple accorde un respect religieux à ces êtres que Dieu a touchés, et qui méprisent tous les biens terrestres.

les bottes de l'innocent; mais ses doigts glissaient sur le cuir détrem pé et couvert de boue. La maîtresse de la maison, les mains croisées sur sa poitrine, contemplait avec béatitude le saint homme, qui continuait à grommeler des phrases inintelligibles.

Enfin la femme parvint à lui ôter ses bottes, mais peu s'en fallut qu'elle ne tombât à la renverse. Sans s'arrêter, elle se mit à défaire les bandes de toile qui couvraient, au lieu de bas, les pieds de l'innocent. Il avait une plaie sur le cou-de-pied... Je quittai ma fente avec dégoût.

«Est-ce que vous ne prendriez pas une petite tasse de thé, mon bon pere? lui demanda humblement la maîtresse de poste.

- De quoi s'avise-t-elle? répondit l'innocent; choyer une guenille pécheresse..., oh! oh! oh! j'en voudrais briser tous les os, et elle... du thé!... Oh! oh! ma respectable bonne dame, Satan est fort chez nous... Sur lui tombe le froid sur lui la famine, et les cataractes du ciel, les pluies qui transpercent; mais il vit toujours... Souviens-toi du jour de l'intercession de la mère de Dieu! Tu verras ce qui t'arrivera... Tu verras!...

L'hotesse poussa un léger soupir d'étonnement.

«Seulement écoute-moi. Donne tout, donne ta tête, donne ta chemise... On ne demande pas: donne toujours! parce que Dieu te voit. Lui faut-il beaucoup de temps pour éparpiller ton toit. Il t'a donné, le bienfaiteur t'a donné du pain... Mets-le dans le poêle... Oui, il voit tout, tout... Tu sais bien, l'oeil dans le triangle¹. A qui?»

L'hôtesse se signa à la derobée sous son fichu.

«Vieil ennemi, dur comme dia-mant! s'écria tout à coup l'innocent: diamant!»

Et il grinçait des dents avec fureur.

«Vieux serpent! Mais Dieu ressuscitera, oui, il ressuscitera et il dispersera ses ennemis... Je reveillerais les morts... je marcherais sur son ennemi... Ah! ah! ah! Pouah!

- N'auriez-vous pas un peu d'huile, demanda une autre voix que j'entendais à peine. Je voudrais en mettre sur sa plaie... J'ai sur moi un linge propre.»

¹ L'oeil celeste qui se trouve dans un tringle sur la plupart des images grecques.

Je regardai de nouveau à la fente. La femme était toujours occupée de la jambe de l'innocent. «C'est la Madeleine,» me dis-je.

«Tout de suite, tout de suite, ma colombe. dit l'hôtesse, et elle courut à ma chambre prendre avec une cuiller l'huile de la lampe allumée devant les images.

«Quelle est la femme qui l'accompagne? lui demandai-je.

- Nous ne savons pas, mon petit père, qui elle est ; mais elle fait son salut... Peut-être que c'est pour ses péchés ; mais lui, quel saint homme que c'est !

- Akoulinouchka, ma chère enfant, ma fille bienaimée... reprit l'innocent, et tout à coup il fondit en larmes. Sa compagne, toujours à genoux devant lui, leva les yeux...

«O ciel! me dis-je, où donc ai-je vu ces yeux-là?»

L'hôtesse rentra avec huile. La femme acheva le pansement, et, se relevant, demanda s'il serait possible d'avoir place dans un grenier avec un peu de foin... «Vassili Nikititch aime beaucoup à coucher sur le foin.

- Comment donc ! certainement, répondit l'hôtesse. Venez-vous, reposez-vous.»

Le fou en geignant se leva lentement du banc où il était assis. La chaîne qu'il portait se mit à tinter, et comme il se retournait pour chercher les saintes images, je vis sa figure en plein, tandis qu'il faisait de grands signes de croix du revers de sa main.

Je le reconnus à l'instant ; c'était ce Vassili qui m'avait fait voir mon défunt précepteur. Ses traits avaient peu changé, mais son expression était encore plus sauvage, encore plus farouche. Ses joues pendantes étaient couvertes d'une barbe hérissée. Ses haillons pleins de fange, sa mine hideuse inspiraient plus de dégoût que de terreur. Il continuait ses signes de croix tout en promenant un regard stupide sur le sol, dans les coins de la chambre ; il avait l'air d'attendre quelque chose.

«Vassile Nikititch!» dit sa compagne en le saluant humblement. Il releva la tête, et, essayant de faire un pas, chancela et faillit tomber. Elle s'avança aussitôt et le soutint en lui prenant le bras. La voix, la taille de cette femme indiquaient qu'elle était jeune; mais il était impossible de voir son visage.

«Akoulinouchka, mon amie!...» dit l'insensé en traînant la voix et en ouvrant une bouche énorme en même temps il se frappait la poitrine et faisait entendre un long gémissement qui semblait venir du fond de l'âme. Tous les deux sortirent en suivant l'hôtesse.

Je demeurai quelque temps encore sur mon dur canape à réfléchir sur ce que je venais de voir. Mon magnétiseur avait fini par devenir un «innocent». Voilà où l'avait conduit ce pouvoir qu'il était impossible de méconnaître en lui.

Le matin, je voulus me mettre en route; la pluie n'avait pas cessé, mais je ne pouvais m'arrêter plus longtemps. Sur le visage de mon domestique, qui m'apportait de quoi faire la barbe, je remarquai une sorte de sourire sardonique contenu, dont je savais bien la cause. A coup sûr, il venait d'apprendre quelque chose d'extraordinaire et qui n'était pas à la gloire des maîtres. Evidemment il était impatient de m'en faire part.

«Eh bien! lui dis-je enfin, qu'y a-t-il?»

- Monsieur a vu l'innocent hier ?...
- Oui, eh bien ?
- Et sa compagne, Monsieur l'a vue aussi ?
- Oui.
- C'est une dame... de la noblesse.
- Allons donc !

- Comme j'ai l'honneur de vous le dire. Des marchands de T... ont passé par ici et l'ont reconnue. Ils ont nommé sa famille ; seulement j'ai oublié comment ils l'appellent.»

Il me sembla qu'un éclair passait devant mes yeux.

«L'innocent est-il encore ici? lui demandai-je.

- Oui, il n'est pas encore parti. Mon gaillard est là, sous la porte qui leur sert un plat de son métier, Il leur en conte de belles, il sait ce que cela lui rapporte.»

Mon domestique appartenait à cette classe de serviteurs éclairés dont Ardalion faisait partie.

«Et la demoiselle est avec lui?»

- Oui, elle fait aussi son service.»

Je sortis sur le perron et vis l'innocent. Il était assis au-dessous de la porte sur un banc qu'il tenait à deux mains, dandinant à droite et à gauche sa tête baissée comme une bête féroce en cage. Les touffes épaisses et crépues de ses cheveux allaient et venaient ainsi que ses grosses lèvres pendantes, d'où sortait un murmure étrange et qui ne ressemblait pas à la voix humaine. Sa compagne cependant se lavait la figure à un seau suspendu pres du puits. Elle n'avait pas encore remis son mouchoir de tête, et achevait sa besogne à quelques pas de la porte, se tenant sur une petite planche audessus de la mare au fumier. Je la regardai, et, maintenant qu'elle était tête nue, je frappai des mains d'étonnement. Sophie B... était devant moi ! Au bruit, elle se retourna et fixa sur moi ses yeux bleus immobiles comme autrefois. Elle était bien changée. Le hâle avait donné à son teint une nuance uniforme de jaune rougeâtre, son nez s'était effilé, ses lèvres s'étaient rétrécies. Cependant elle n'était pas devenue laide, mais à son ancienne expression de rêverie et d'étonnement s'en joignait une nouvelle : c'était un air de résolution, presque de hardiesse et d'enthousiasme concentré. Sur ce visage, plus la moindre trace de grace enfantine.

Je m'approchai.

«Sophie Vladimirovna, m'écriai-je, est-ce vous dans ce costume et dans cette compagnie?...»

Elle frissonna, me regarda encore plus fixement, comme pour reconnaître qui adressait la parole ; mais, sans me répondre un mot, elle courut à son compagnon.

«Akoulinouchka, bégaya l'innocent avec un profond soupir, nos péchés, nos péchés...

- Vassili Nikititch, partons tout de suite, tout de suite, entendez-vous? lui dit-elle, tout en jetant d'une main son mouchoir sur sa tête, tandis que de l'autre elle soulevait le coude de l'insensé. Allons, Vassili Nikititch, ici il y a du danger!

- Je viens, je viens, ma petite mère, répondit l'innocent avec soumission, et, portant tout son corps en avant, il se souleva de son siège ; seulement il faudrait quelque chose pour attacher la bonne petite chaîne.»

Je courus après Sophie, je me nommai, je la suppliai de m'écouter, d'entendre un mot seulement. Je cherchai à la retenir en lui disant que la pluie qui tombait à flots pourrait lui faire le plus grand mal, ainsi qu'à son compagnon. Vainement je lui parlai de son père... Une animation méchante, impitoyable, s'était emparée d'elle. Sans faire la moindre attention à mes paroles, ses lèvres serrées, la respiration entrecoupée, elle pressait son compagnon tout ahuri, lui adressait à voix basse quelques mots d'un ton impérieux, l'entourait d'un bras et de l'autre soutenait sa chaîne. En un instant, elle lui avait enfoncé sur les yeux une mauvaist casquette d'enfant, lui avait mis son bâton à la main, elle-même avait jeté la besace sur son épaule..., et déjà ils étaient sur la route. Je n'avais pas de droit pour l'arrêter, et d'ailleurs qu'aurais-je pu faire ? Elle entendit mon dernier appel désespéré et ne tourna pas la tête. Soutenant son saint homme, elle s'avancait à grands pas sous une pluie battante, au milieu de la boue noire qui couvrait la route. Un instant, je suivis les deux figures de Sophie et du fou au milieu du brouillard ; à un tournant ils disparurent, et je ne les revis plus.

Je rentrai dans ma chambre consterné, abasourdi. Je ne pouvais comprendre qu'une jeune fille bien élevée, riche, abandonnât ainsi sa maison, sa famille, ses amis, renonçât à toutes ses habitudes, à tout le bien-être de l'existence. Pourquoi ? pour courir après un vagabond imbécile et s'en faire la servante ! Impossible de s'arrêter un instant à l'idée qu'une passion capricieuse, un amour dénaturé eût été le mobile de sa résolution. Il suffisait de regarder l'ignoble figure de son saint homme pour rejeter une pareille supposition. Non, Sophie était restée pure, et, comme elle me l'avait dit une fois, pour elle, il n'y avait rien d'impur. Je ne comprenais pas son coup de tête, mais je ne la condamnais pas, de même que je ne condamne pas d'autres jeunes âmes qui se sont sacrifiées à ce qu'elles croyaient la vérité, à ce qu'elles croyaient leur vocation. Je regrette sa fuite insensée, mais je ne puis lui refuser ni une certaine admiration, ni même mon respect. Elle était sincère quand elle me parlait d'abnégation et d'humilité... et, pour elle, penser et agir c'était même chose. Elle avait cherché un directeur, un guide, et elle l'avait trouvé..., mais où, grand Dieu !

Elle avait voulu subir l'humiliation, elle avait voulu être foulée aux pieds... Plus tard, j'ai entendu dire que sa famille l'avait enfin retrouvée et que la brebis perdue était rentrée au bercail ; mais elle n'y demeura pas longtemps et mourut bientôt en silence, avec son secret.

Paix à ton coeur, pauvre être incompréhensible ! Vassili Nilitich probablement promène encore sa foie. Ces gens-la ont une santé de fer.

Но искусство?... красота?... Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права или принципов 89-го года. Мне могут возразить - и сколько раз уже слышались эти возражения! - что и сама красота дело условное, что китайцу она представляется совсем иначе, чем европейцу... Но не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах - вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство, в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте, - и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе; но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек ее дитя; но человеческое - искусственное - ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизменным и бессмертным. Человек дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: все, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому - она создает, разрушая, и ей все равно: что она создает, что она разрушает - лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... А потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогают ей в ее истребительной работе; но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказались в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апеллеса? Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая? Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно надвигающихся волн, как поверить наконец в значение и достоинство тех бранных образов, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг?

Собака

(т.7, стр.48-49)

- Это удивительно! Как вы полагаете, господа? - Антон Степаныч потщился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял. - Не потрудитесь ли вы, милостливый государь, - продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, - передать нам подробности такого любопытного события?

- Отчего же? Можно! - отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так:

- У меня, господа, как вам, вероятно, известно - а может быть, и неизвестно - небольшое имение в Козельском уезде. Прежде я извлекал из него некоторую пользу - но теперь, разумеется, ничего кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако побоку политику! Ну-с, в этом самом имении у меня усадьба «махенькая»: огород, как водится, прудишко с карасишками; строения кой-какие - ну, и флигелек для собственного грешного тела... Дело холостое. Вот-с, однажды - годов этак шесть тому назад - вернулся я к себе домой довольно поздно: у соседа в картишки перекинул, - но притом, прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазе; разделся, лег, задул свечку. И представьте вы себе, господа: только что я задул свечку, завозилось у меня под кроватью! Думаю - крыса? Нет, не крыса: скребет, возится, чешется... Наконец ушами захлопало!

Понятное дело: собака. Но откуда собака взялась? Сам я не держу; разве, думаю, забежала какая-нибудь «заболтушая»? Я кликнул своего слугу; Филькой он у меня прозывается. Вошел слуга со свечкой. «Что это, - я говорю, - братец Филька, какие у тебя беспорядки! Ко мне собака под кровать затесалась». - «Какая, говорит, собака?» - «А я почему знаю? - говорю я, - это твое дело - барина до беспокойства не допускать». Нагнулся мой Филька, стал свечкой под кроватью водить. «Да тут, говорит, никакой собаки нету». Нагнулся и я: точно, нет собаки. - Что за притча! - Вскинул я глазами на Фильку, а он улыбается. «Дурак, - говорю я ему, - что ты зубы-то скалишь?

Собака-то, вероятно, как ты стал отворять дверь, взяла да и шмыгнула в переднюю. А ты, ротозей, ничего не заметил, потому что ты вечно спишь. Уж не воображаешь ли ты, что я пьян?» Он захотел было возражать, но я его прогнал, свернулся калачиком и в ту ночь уже ничего не слышал.

Но на следующую ночь - вообразите! - то же самое повторилось. Как только я свечку задул, опять скребет, ушами хлопает. Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью - опять ничего! Услал я его, задул свечку - тьфу ты черт! собака тут как тут. И как есть собака: Так вот и слышно, как она дышит, как зубами по шерсти перебирает, блох ищет... Явственно таково! «Филька! - говорю я, - войди-ка сюда без свечки!» Тот вошел. «Ну, что говорю, слышишь?» - «Слышу», - говорит. Самого-то мне его не видать, но чувствуя я, что струхнул малый. «Как, говорю, ты это понимаешь?» - «А как мне это понимать прикажете, Порфирий Капитоныч? - Наваждение!» - «Ты, - я говорю, - беспутный человек, молчи с наваждением-то с своим.....» А у обоих-то у нас голоса словно птичьи, и дрожим-то мы как в лихорадке - в темноте-то. Зажег я свечку: ни собаки нет, ни шума никакого - а только оба мы с Филькой - белые, как глина. Так свечка у меня до утра и горела. И доложу я вам, господа, - верьте вы мне или нет - а только с самой той ночи в течение шести недель та же история со мной повторялась. Под конец я даже привык и свечку гасить стал, потому мне при свете не спится. Пусть, мол, возится! Ведь зла она мне не делает.

Жид (Еврей)

(т.5, стр.106-107)

Он начал вертеться передо мной и униженно кланяться.

- Ну, что тебе надобно? - спросил я его, наконец.

- А так-с, пришел узнать-с, что не могу ли их благородию чем-нибудь-с....

- Не нужен ты мне; ступай.

- Как прикажете-с, как угодно-с... Я думал, что, может быть-с, чем-нибудь-с...

- Ты мне надоел; ступай, говорят тебе.

- Извольте, извольте-с. А позвольте их благородие поздравить с выигрышем...

- А ты почему знаешь?

- Уж как мне не знать-с... Большой выигрыш... большой... У! какой большой...

Гиршель растопырил пальцы и покачал головой.

- Да что толку, - сказал я с досадой, - на какой дьявол здесь и деньги?

- О! не говорите, ваше благородие; ай, ай, не говорите такое. Деньги - хорошая вещь; всегда нужны, все можно за деньги достать, ваше благородие, все! все! Прикажите только фактору, он вам все достанет, ваше благородие, все! все!

- Полно врать, жид.

- Ай! ай! - повторил Гиршель, встряхивая пейсиками. - Их благородие мне не верит... ай... ай... ай... - Жид закрыл глаза и медленно покачал направо и налево... - А я знаю, что господину офицеру угодно... знаю... уж я знаю!

Жид принял весьма плутовской вид...

- В самом деле?

Жид взглянул боязливо, потом нагнулся ко мне.

- Такая красавица, ваше благородие, такая!.. - Гиршель опять закрыл глаза и вытянул губы. - Ваше благородие, прикажите... увидите сами... что

теперь я буду говорить, вы будете слушать... вы не будете верить... а лучше прикажите показать... вот как, вот что!

Я молчал и глядел на жида.

- Ну, так хорошо; ну, вот хорошо; ну вот я вам покажу... - тут Гиршель засмеялся и слегка потрепал меня по плечу, но тотчас же отскочил, как обожженный.

- А что ж, ваше благородие, задаточек?

- Да ты обманешь меня или покажешь мне какое-нибудь чучело.

- Ай, вай, что вы такое говорите? - проговорил жид с необыкновенным жаром и размахивая руками. - Как можно? Да вы... ваше благородие, прикажите тогда дать мне пятьсот... четыреста пятьдесят палок, - прибавил он поспешно... - Да вы прикажите...

В это время один из моих товарищей приподнял край палатки и назвал меня по имени. Я поспешно встал и бросил жиду червонец.

- Вечером, вечером, - пробормотал он мне вслед.

Признаюсь вам, господа, я дожидался вечера с некоторым нетерпением. В этот самый день французы сделали вылазку; наш полк ходил в атаку. Наступил вечер; мы все уселись вокруг огней... солдаты заварили кашу. Пошли толки. Я лежал на бурке, пил чай и слушал рассказы товарищей. Мне предложили играть в карты, - я отказался. Я был в волнении. Понемногу офицеры разошлись по палаткам; огни стали гаснуть; солдаты также разбрелись или заснули тут же; все затихло. Я не вставал. Денщик мой сидел на корточках перед огнем и, как говорится, «удил рыбу». Я прогнал его. Скоро весь лагерь утих. Прошла рунда. Сменили часовых. Я все лежал и ждал чего-то. Звезды выступили. Настала ночь. Долго глядел я на замиравшее пламя... последний огонек потух наконец. Обмаравшее пламя... последний огонек потух наконец. Обманул меня проклятый жид», - подумал я с досадой и хотел было приподняться...

- Ваше благородие... - пролепетал над самым моим ухом трепетный голос.

Я оглянулся: Гиршель. Он был очень бледен, заикался и пришепetyвал.

Петушков

(т.5, стр.132-133)

Знакомство Ивана Афанасьича с Прасковьей Ивановной началось следующим образом. Дней через пять после разговора с Онисимом Петушков отправился вечером в булочную. «Ну, - думал он, отпирая скрипучую калитку, - не знаю, что-то будет...»

Он взошел на крыльцо, отворил дверь. Пребольшая хохлатая курица с оглушительным криком бросилась ему прямо под ноги и долго потом в волнении бегала по двору. Из соседней комнаты выглянуло изумленное лицо толстой бабы. Иван Афанасьич улыбнулся и закивал головой. Баба ему поклонилась. Крепко стиснув шляпу, Петушков подошел к ней. Прасковья Ивановна, по-видимому, ожидала почетного посещения: платье ее было застегнуто на все крючки. Петушков сел на стул; Прасковья Ивановна села против него.

- Я к вам, Прасковья Ивановна, более насчет... - проговорил, наконец, Иван Афанасьич - и замолк, судороги подергивали его губы.

- Милости просим, батюшка, - отвечала Прасковья Ивановна нараспев и с поклоном. - Всякому гостю рады.

Петушков немного приободрился.

- Я давно, знаете, желал иметь удовольствие с вами познакомиться, Прасковья Ивановна.

- Много благодарны, Иван Афанасьич.

Настало молчанье. Прасковья Ивановна утирала себе лицо пестрым платком; Иван Афанасьевич с большим вниманием глядел куда-то вбок. Обоим было довольно неловко. Впрочем, в купеческом и мещанском быту, где даже старинные приятели не сходятся без особенных угловатых ужимок, некоторая напряженность в обращении гостей и хозяина не только не кажется никому странной, но, напротив, почитается совершенно приличной и необходимой, в особенности при первом свиданье. Прасковье Ивановне понравился Петушков.

Он держал себя чинно и добропорядочно, и притом все же был человек не бесчиновный!

- Я, матушка Прасковья Ивановна, очень люблю ваши булки, - сказал он ей.

- Тэк-с, тэк-с.

- Очень хороши, знаете, очень даже.

- Кушайте, батюшка, на здоровье, кушайте. С нашим удовольствием.

- Я и в Москве не едал таких.

- Тэк-с, тэк-с.

Опять настало молчанье.

- А скажите, Прасковья Ивановна, - начал Иван Афанасьич, - это у вас ведь, кажется, племянница живет?

- Родная племянница, батюшка.

- Что ж она, как... у вас?..

- Сирота, так и держим-с.

- И что ж она, работница?

- Ра-аботница, батюшка, ра-аботница. Такая работница, что и...и...и!..

Как же-с, как же-с.

Иван Афанасьевич почел за приличное не распространяться более насчет племянницы.

- Это у вас в клетке какая птица, Прасковья Ивановна?

- А бог ее знает. Птица.

- Гм! Ну, а впрочем, прощайте, Прасковья Ивановна.

- Просим прощения вашему благородию. В другой раз милости просим.

Чайку откусать.

- С особенным удовольствием, Прасковья Ивановна.

Странная история

(т.7, стр.212-213)

Я вышел на крыльцо и увидел юродивого. Он сидел на лавочке под воротами и, упершись в нее обеими ладонями, раскачивал направо и налево понуренную голову, - ни дать ни взять дикий зверь в клетке. Густые космы курчавых волос закрывали ему глаза и мотались из стороны в сторону так же, как и отвисшие губы. Странное, почти нечеловеческое бормотание вырвалось из них. Спутница его только что умылась из висевшего на жердочке кувшинчика и, не успев еще накинуть платок себе на голову, пробиралась назад к воротам по узкой дощечке, положенной через темные лужицы навозного двора. Я взглянул на эту, теперь со всех сторон открытую, голову и невольно всплеснул руками от изумления: предо мной была Софи Б.!

Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза. Она очень похудела, кожа загубела и приняла изжелта-красный оттенок загара, нос заострился, и губы обозначились резче. Но она не подурнела; только к прежнему задумчиво-изумленному выражению присоединилось другое, решительное, почти смелое, сосредоточенно-восторженное выражение. Детского в этом лице уже не оставалось ни следа.

Я приблизился к ней.

- Софья Владимировна, - воскликнул я, - неужели это вы? В этом платье... в этом обществе...

Она вздрогнула, еще пристальнее взглянула на меня, как бы желая узнать, кто с ней заговаривает, и, не ответив мне ни слова, так и бросилась к своему товарищу.

- Акулинушка, - залепетал он, тяжело вздохнув, - грехи наши, грехи...

- Василий Никитич, идемте сейчас! Слышите, сейчас, сейчас, - промолвила одна, оной рукой надергивая платок себе на лоб; а другой подхватывая юродивого под локоть, - идемте, Василий Никитич. Здесь опасно.

- Иду, матушка, иду, - покорно ответил юродивый и, перегнувшись всем телом вперед, приподнялся с лавочки. - Вот только цепочечку-то подвязать...

Я еще раз подошел к Софье и назвал себя, я начал умолять ее выслушать меня, сказать мне одно слово, указывал ей на дождь, который полил как из ведра, я попросил ее пощадить собственное здоровье, здоровье ее товарища, я упомянул об ее отце... Но ею овладело какое-то злое, какое-то беспощадное одушевление. Не обращая на меня никакого внимания, стиснув зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, повелительными словами понукала растерявшегося юродивого, подпоясала его, подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный детский картуз с изломанным козырьком, всунула ему палку в руку, накинула самой себе на плечи котомку и вышла с ним за ворота, на улицу.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	2
Глава первая. Фантастическое в творчестве Тургенева и Мериме	12
Глава вторая. Проблемы художественного перевода	22
Глава третья. Неумолимые законы вечности в переводе Мериме тургеневских «Призраков»	32
Глава четвертая. Природа бессознательного («Собака» Тургенева)	46
Глава пятая. Романтизация перевода Мериме тургеневского произведения «Жид (Еврей)»	59
Глава шестая. К вопросу об особенностях стилистики перевода Мериме рассказа «Петушков»	71
Глава седьмая. Гипнотизм «Странной истории» в переводческом контексте Мериме	83
Заключение	94
Практические занятия. Вопросы для обсуждения	105
Список литературы	108
Произведения Тургенева, переведенные Мериме на французский язык:	
«Призраки» (Apparitions)	113
«Собака» (Le chien)	153
«Жид (Еврей)» (Le juif)	168
«Петушков» (Petouchkof)	186
«Странная история» (Une etrange histoire)	235
Отрывки из произведений И.С.Тургенева	258

Золотарев Игорь Леонардович
Произведения Тургенева в переводах Мериме

Отпечатано с готового оригинала-макета в типографии «Статистика»

Редакция и корректура - автора.
Технический редактор - Н.В.Ветров.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Орловского областного комитета государственной статистики.
3.04.2002г. Объем 12 усл.п.л. Заказ №33. Тираж 500 экз.

[60-00]

